

Арчибалд Кромвелл КЛЮЧИ ЦАРСТВА



Арчибалд Кромвелл
КЛЮЧИ ЦАРСТВА

Annotation

Жизнеописание католического священника Френсиса Чизхолма, направленного миссионером в Китай.

- [Ключи Царства](#)

- [I.](#)
- [II.](#)
- [III.](#)
- [IV.](#)
- [V.](#)
- [VI.](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)

- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)

- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)



Ключи Царства

I.

Начало конца

*И дам тебе ключи
царства небесного.*

*/Христос — Петру.
Еванг. от Матвея, гл.
16./*

Ранним сентябрьским вечером 1938 г. отец Френсис Чисхолм, прихрамывая, поднимался по крутой тропинке от церкви св. Колумба к своему дому на холме. Несмотря на увечье, он предпочитал этот путь более пологому подъему по Меркет Уинд. Добравшись до маленькой калитки в садовой ограде, он с каким-то наивным торжеством остановился, чтобы перевести дух и, как всегда, полюбоваться открывшимся пейзажем.

Внизу широкой серебряной лентой, слегка подкрашенной шафраном осеннего заката, спокойно текла река Твид. По склону северного, шотландского, берега к реке в беспорядке спускались дома Твидсайда; их черепичные, похожие на одеяло из розовых и желтых лоскутов крыши скрывали лабиринт вымощенных булыжником улиц. Высокие каменные укрепления все еще украшали, как в старину, этот город на границе между Англией и Шотландией. Пушки, захваченные в Крымской войне, служили приютом для чаек, которые клевали мертвых крабов. Туманная дымка над песчаной отмелью в устье реки скрадывала очертания сохнувших сетей и мачт рыбачьих судов в гавани — тонкими недвижимыми нитями тянулись они вверх. Вдалеке от моря, над бронзовыми в это время года лесами Дерхэма, уже сгущались сумерки. Одинокая цапля медленно летела к лесу. Отец Чисхолм долго провожал ее глазами. Воздух был чист и прозрачен, напоен запахом дыма и опавших яблок, предчувствием ранних холодов.

Со вздохом удовлетворения отец Чисхолм повернулся к калитке и вошел в сад. По сравнению с тем садом, который был у него когда-то на Холме Блестящего Зеленого Нефрита, этот мог показаться просто жалким клочком земли. Но все же он был красив и, как все шотландские сады, плодороден: несколько прекрасных фруктовых деревьев росло у ограды, а груши-скороспелки в южном уголке сада были просто великолепны. Убедившись, что тирана Дугала поблизости нет, отец Чисхолм украдкой взглянул на окно кухни, сорвал лучшую грушу с дерева и сунул под сутану.

Его желтые морщинистые щеки даже покраснели от удовольствия, и он с торжеством победителя заковылял по усыпанной гравием дорожке, опираясь на свой новый зонтик из шотландки. Этот зонтик — замена прежнего, потрепанного, служившего ему в Байтане — был единственной поблажкой, которую он себе позволил. У двери дома стоял незнакомый автомобиль. Отец Чисхолм растерянно остановился. При всей своей забывчивости и рассеянности, часто ставивших его в неловкое положение, сейчас старый священник внезапно вспомнил неприятное письмо епископа, который извещал его о скором приезде своего секретаря монсеньора Слита. Отец Чисхолм поспешил к дому.

Монсеньор Слит ожидал его в гостиной, стоя спиной к холодному камину. Темная сутана придавала его тонкой фигуре особую элегантность. Ему было явно не по себе от жалкой обстановки дома, как бы принижавшей достоинство его сана, а длительное ожидание и вовсе истощило его терпение. Тщетно старался он найти в этой гостиной хоть какой-то след индивидуальности: может быть, фарфоровую или лакированную безделушку, что-нибудь, напоминающее о Востоке. Но комната была почти пуста и совершенно безлика: потертый линолеум, стулья, набитые конским волосом, треснувшая каминная доска, на которой монсеньор с неодобрением заметил катушку от спиннинга и кучу беспорядочно раскиданных пенсов, очевидно, собранных в церкви.

И все-таки он решил быть обходительным. Приняв благожелательный вид, монсеньор Слит любезным жестом прервал извинения отца Чисхолма.

— Ваша экономка уже показала мне мою комнату. Надеюсь, я не стесню вас, если пробуду здесь несколько дней? Какой чудесный день был сегодня! Какие краски! Когда я ехал сюда из Тайнкасла, то чуть было не вообразил, что нахожусь в милом Сан-Моралесе.

С задумчивым видом он поглядел в темнеющее окно. Старик едва удержался от улыбки: уж очень явным был отпечаток отца Терранта и семинарии на его госте. Элегантность, острый взгляд, даже легкий оттенок жестокости, который угадывался в его резко очерченных ноздрях, делали Слита прямо-таки копией отца Терранта.

— Надеюсь, вам будет удобно, — пробормотал отец Чисхолм. — Сейчас мы закусим. Простите, я не могу предложить Вам обеда. Мы тут как-то привыкли к ужину и чаю по-шотландски.

Слит, полуотвернувшись, равнодушно кивнул. Действительно, в этот момент вошла мисс Моффат и, задернув тускло-коричневые занавески из шенили^[1], стала бесшумно накрывать на стол. Слит с иронией подумал, что это бесцветное создание, кинувшее на него испуганный взгляд,

удивительно гармонирует с комнатой. Он заметил, что она поставила на стол три прибора, и это вызвало у него мимолетное раздражение, но ее присутствие помогло Слиту сдержаться и продолжить ничего не значащий разговор. Во время трапезы гость с похвалой отозвался о каррарском мраморе, который епископ специально привез для нефа нового собора в Тайн-касле.

Положив себе с большого блюда щедрую порцию ветчины, яиц и почек, Слит уже благосклоннее принял чашку чая, налитого из металлического чайника. Занятый намазыванием масла на подрумяненный тост, он не сразу услышал негромкий вопрос отца Чисхолма:

— Вы ничего не будете иметь против, чтобы Эндрью ел свою овсянку вместе с нами? Эндрью! Это монсиньор Слит.

Слит резко поднял голову. Мальчик лет девяти неслышно вошел в комнату и стоял, смущенно теребя свою голубую фуфайку. По его худенькому бледному лицу видно было, что он очень нервничает. Замявшись, мальчик скользнул на свое место и машинально потянулся за кувшином с молоком. Когда он наклонился над тарелкой, влажная каштановая прядь упала на его некрасивый костистый лоб (очевидно, была пущена в ход губка мисс Моффат). В глазах Эндрью, необычайно голубых, застыло детское предчувствие беды — они выражали такую тревогу, что мальчик не осмеливался поднять взгляд. Секретарь епископа удобнее уселся за столом и не спеша продолжил прерванный ужин. В конце концов, сейчас еще неподходящий момент... Однако время от времени он незаметно посматривал на мальчика.

— Так ты и ешь Эндрью? — приличие требовало, чтобы он что-то сказал. Слиту даже удалось придать своим словам некоторую благожелательность. — И ты ходишь здесь в школу?

— Да...

— Ну-ка, расскажи, что ты знаешь.

Довольно добродушно он задал несколько простых вопросов. Мальчик вспыхнул. От смущения он совсем растерялся и пробормотал что-то нечленораздельное, выдававшее его явное невежество. Брови монсеньора Слита поползли вверх.

«Ужасно, — подумал он. — Совершенный беспризорник!» Слит положил себе вторую порцию почек, и внезапно до него дошло, что, пока он небрежно поглощал всякие вкусные блюда, те двое ограничивались овсянкой. Слит покраснел: старик выставлял напоказ свой аскетизм. Какая невыносимая аффектация!.. Наверное, отец Чисхолм угадал его мысль. Он покачал головой.

— Я столько лет был лишен моей милой шотландской овсянки, что теперь никогда не упускаю случая отведать ее.

Монсеньор Слит ничего не ответил. Вскоре Эндрью, робко взглянув на обоих священников и преодолевая немоту, попросил позволения выйти из-за стола. Когда он вставал, чтобы прочесть после еды молитву, то неловко задел локтем ложку и уронил ее. Неуклюже волоча ноги в грубых башмаках, мальчик направился к двери. Снова наступило молчание.

Закончив ужин, Слит легко поднялся и без всякой видимой цели, опять занял свое место на тощем коврикe у камина. Широко расставив ноги и заложив руки за спину, он разглядывал, впрочем незаметно, своего престарелого собрата Отец Чисхолм все еще сидел за столом с видом терпеливого ожидания.

«Боже милосердный, — думал монсеньор Слит, — что за жалкий представитель нашего сословия этот обтрепанный старик в грязной сутане с засаленным воротником. Какая у него желтая высохшая кожа!»

Одну щеку отца Чисхолма обезобразил шрам, вроде рубца от удара кнутом, который выворачивал нижнее веко. Он, казалось, тянул его голову вниз и вбок, а шея была постоянно искривлена усилием как-то восполнить хромоту — он припадал на одну ногу. Из-за этого наклона головы в тех редких случаях, когда отец Чисхолм поднимал глаза, обычно опущенные, его взгляд был как-то неприятно пронизателен, и это приводило других в замешательство. Слит откашлялся. Он решил, что теперь настала пора заговорить и, придав своему голосу нотку сердечности, спросил:

— Давно ли вы здесь, отец Чисхолм?

— Двенадцать месяцев.

— Ах да! Со стороны Его Милости было очень любезно послать вас сюда, в ваш родной приход, после вашего возвращения.

— Это и его родной приход тоже! Слит учтиво склонил голову.

— Да, да! Я знаю, что Его Милость разделяет с вами честь быть здешним уроженцем. Постойте-ка... Сколько же вам лет, отец Чисхолм? Почти семьдесят, не правда ли?

Отец Чисхолм кивнул и со стариковской гордостью мягко добавил:

— Я не старше, чем Ансельм Мили.

Такая фамильярность заставила Слита нахмуриться, но он тут же снисходительно с оттенком сочувствия улыбнулся.

— Несомненно. Но жизнь обошлась с вами несколько иначе. Короче говоря, — он выпрямился, твердый, но отнюдь не жестокий, — епископ и я, мы оба считаем, что вы должны быть вознаграждены за долгие годы вашей преданной службы; словом, что вам пора уйти на покой.

С минуту длилась полная тишина.

— Но у меня нет никакого желания уходить на покой.

— Тяжкий долг заставил меня приехать сюда, чтобы произвести расследование и сообщить о результатах Его Милости. Но есть некоторые факты, на которые нельзя смотреть сквозь пальцы, — Слит благоразумно смотрел в потолок.

— Какие именно?

— Шесть... десять... дюжина фактов! Не мне перечислять ваши... ваши эксцентричности, — Слит уже не скрывал своего раздражения.

— Мне очень жаль, — слабая искра зажглась в глазах старика. — Вам не следует забывать, что я провел тридцать пять лет в Китае.

— Дела вашего прихода безнадежно запутаны.

— Уж не наделал ли я долгов?

— Откуда нам знать! Вы уже полгода не шлете отчетов о церковных сборах, — Слит повысил голос и заговорил быстрее. — Все у вас так... так... не по-деловому... Например, в прошлом месяце вам был представлен счет агентом фирмы Бленда — три фунта за свечи и прочее, и вы всю эту сумму оплатили медяками!

— Но я ведь и получаю медяки, — отец Чисхолм задумчиво взглянул на своего гостя. Слиту казалось, будто он смотрит сквозь него. — Вообще-то я никогда не умел обращаться с деньгами. У меня никогда их не было, понимаете... Но, в конце концов... Вы думаете, что деньги так страшно важны?

К своей досаде, монсеньор Слит почувствовал, что краснеет.

— Все это порождает сплетни, отец. — Он поспешно продолжал: — Ходят и другие слухи... Некоторые ваши проповеди... советы, которые вы даете... толкование некоторых догматических вопросов... — он заглянул в сафьяновую записную книжку, которая уже была наготове в его руке, — выглядят опасно своеобразными.

— Быть этого не может!

— На Троицу вы сказали прихожанам: «Не думайте, что небеса на небе... они здесь, у вас в ладони... они везде и всюду», — Слит осуждающе нахмурился, переворачивая страницы. — Вот опять... вот ваше невероятное высказывание на Страстной неделе: «Необязательно все атеисты попадут в ад. Я знал одного, который не попал туда. Ад предназначен только для тех, кто плюет Богу в лицо». — А вот... Господи, какая грубая бестактность! — «Христос был совершенным человеком, но у Конфуция было сильнее развито чувство юмора!» — Он с негодованием перевернул другую страницу. — А этот совершенно неправдоподобный

инцидент!.. К вам пришла одна из ваших лучших прихожанок, миссис Гленденнинг. Не виновата же она в том, что так толста. Она пришла к вам, чтобы получить духовное руководство, а вы посмотрели на нее и сказали: «Ешьте поменьше. Врата рая узки». — Но к чему продолжать?

Монсеньор Слит решительно закрыл свою книжку с золотым обрезом.

— Мягко выражаясь, вы, по-видимому, утратили способность управлять душами.

— Но!.. — начал было отец Чисхолм взволнованно, однако затем спокойно продолжил: — Я вовсе не хочу управлять ничьими душами.

Слит покраснел еще сильнее. Он совсем не собирался вступать в богословскую дискуссию с этим выжившим из ума стариком.

— Кроме того, остается нерешенным вопрос об этом мальчике, которого вы так неосмотрительно усыновили.

— Кто же позаботится о нем, если не я?

— Наши сестры-монахини в Рэлстоуне. Это лучший приют для сирот во всем приходе.

Отец Чисхолм опять поднял глаза, приводившие монсеньора в замешательство.

— А Вы хотели бы провести свое детство в этом приюте?

— Зачем переходить на личности, отец! Я уже сказал... даже, если принять во внимание все обстоятельства... и в этом случае положение является крайне ненормальным и ему надо положить конец. Кроме того, — он развел руками, — если вы уедете отсюда, то его все равно придется поместить куда-нибудь.

— Вы, по-видимому, твердо решили избавиться от нас. А меня тоже отдадут на попечение монахинь?

— Конечно, нет. Вы можете поехать в приют для престарелых священников в Клинтоне. Это идеальное пристанище для отдыха.

Старик даже рассмеялся сухим отрывистым смехом.

— У меня будет достаточно времени для идеального отдыха, когда я умру. А пока я жив, я не желаю очутиться в обществе целой массы престарелых священников. Может быть, вам это покажется странным, но я никогда не мог выносить духовенство в больших дозах.

Слит улыбнулся обиженной кривой улыбкой.

— Мне ничто не покажется странным в вас, отец. Простите меня, но ваша репутация еще до вашего отъезда в Китай... вся Ваша жизнь... была своеобразной, чтобы не сказать большее.

Наступило молчание. Отец Чисхолм тихо сказал:

— Я дам отчет за свою жизнь Богу.

Слит опустил глаза. Он был огорчен своей неучтивостью. Он зашел слишком далеко. Будучи холодным по природе, Слит, однако, старался быть всегда справедливым, даже деликатным. У него было достаточно такта, чтобы почувствовать себя неловко.

— Естественно, я не беру на себя смелость судить или допрашивать вас. Ничего еще и не решено. Поэтому-то я и приехал сюда. Посмотрим, что покажут ближайшие дни, — он шагнул к двери. — Теперь я пойду в церковь. Не беспокойтесь, пожалуйста, я знаю дорогу, — Слит принужденно улыбнулся и вышел.

Отец Чисхолм остался сидеть у стола, не двигаясь, прикрыв глаза рукой и погрузившись в свои мысли. Он чувствовал себя раздавленным угрозой, так внезапно нависшей над его тихим пристанищем, которое столь трудно досталось ему. При всей своей безропотности (давно, впрочем, подвергавшейся тяжким испытаниям) старый священник отказывался принять этот удар. Он вдруг ощутил себя опустошенным и совершенно обессиленным, не нужным ни Богу, ни людям. Жгучее отчаяние охватило его. Такая мелочь, но как много это для него значит! Ему хотелось закричать: «Господи, Господи! Зачем Ты меня оставил?!» Отец Чисхолм тяжело встал и пошел наверх.

На чердаке, над комнатой для гостей, Эндрью уже спал в своей кровати. Он лежал на боку, согнув на подушке худенькую руку, словно пытался защититься от кого-то. Внимательно всматриваясь в мальчика, старик вынул из кармана грушу и положил ее на одежду Эндрью, сложенную на плетеном стуле возле кровати. Больше он, очевидно, ничего не мог сделать. Легкий ветерок шевелил муслиновые занавески. Он подошел к окну и раздвинул их. В морозном небе мерцали звезды. При свете этих звезд он увидел всю свою жизнь, со всеми ее ошибками и неудачами, со всеми неосуществившимися стремлениями и бесплодными усилиями, лишенную стройности, красоты и величия. Ведь, кажется, совсем недавно он сам был мальчуганом, бегал и смеялся здесь, в Твидсайте. Его мысли унеслись в прошлое. Если сравнить его жизнь с рисунком, то первый, все определяющий штрих был, несомненно, нанесен в ту апрельскую субботу, шестьдесят лет назад... А он в своем безмятежном счастье, не понял этого...

II.

Призвание

1

В то весеннее утро, за ранним завтраком в темной уютной кухне, он был счастлив. Огонь грел его ноги в одних чулках, запах щепок, которыми разжигали очаг, и горячих овсяных лепешек возбуждал аппетит. Пусть идет дождь, все равно сегодня суббота и прилив как раз такой, при каком хорошо ловится семга. Мать проворно взбила деревянной мешалкой гороховую похлебку и поставила на выскобленный стол миску с голубым ободком. Он достал свою роговую ложку и сначала погрузил ее в миску, а потом в стоявшую перед ним чашку с пахтаньем. Он перекатывал языком гладкую золотистую похлебку, сваренную на славу, без всяких комочков неразмешанной муки.

Отец, в поношенной голубой фуфайке и штопаных рыбацких чулках, сидел напротив. Наклонив к столу свое крупное тело, он молча ел; его большие красные руки двигались медленно и спокойно. Мать вытрясла со сковороды последнюю порцию овсяных лепешек, разложила их вокруг миски с похлебкой и присела к столу выпить чаю. Желтое масло таяло на разломанной лепешке, которую она взяла. В маленькой кухне царили тишина и дух товарищества. Отсветы пламени прыгали по блестящей каминной решетке и беленому белой трубочной глиной камину. Ему было девять лет, и он шел с отцом к рыбакам в их барак. Там его знали — он был мальчуганом Алекса Чисхолма. Люди в шерстяных фуфайках и кожаных сапогах до бедер принимали его в свою среду спокойным кивком головы или, что было еще лучше, просто дружелюбным молчанием. Он весь светился от тайной гордости, когда выходил с ними в море.

Кто-то из рыбаков, пригибаясь на ветру, суетливо делал последние приготовления к ловле, другие сидели на корточках, укрыв плечи пожелтевшей парусиной, некоторые пытались высосать хоть немного тепла из своих коротких почерневших глиняных трубок. Они с отцом остановились поодаль. Алекс Чисхолм был старшим на Твидской рыболовецкой станции № 3. Молча стоя рядом под пронизывающим ветром, они следили за далеким кругом поплавков, танцующих там, где

река сливалась с морем. У мальчика часто кружилась голова от ослепительного солнечного блеска на водной ряби. Но он не хотел, не мог моргнуть и отвести взгляд хоть на мгновение: пропустив одну секунду, можно было упустить добрую дюжину рыб, а в те дни улов доставался с огромным трудом, и в Биллингсгейте рыболовецкая компания получала лишь полкроны дохода с фунта рыбы. Высокая фигура отца застыла в таком же напряжении — голова слегка втянута в плечи, острый профиль четко обрисовывается под старой кепкой, на выдающихся скулах выступил румянец. Иногда на воспаленные глаза мальчика навертывались слезы счастья; его давало ощущение тайного товарищества с отцом, соединяясь в его сознании каким-то неуловимым образом с запахом водорослей, выброшенных морем, с отдаленным боем городских часов, с карканьем дерхэмских ворон.

Вдруг отец издавал крик. Как Фрэнсис ни старался, он никогда не мог уловить этот первый момент погружения поплавка — не того покачивания, которое производит прилив и которое порой заставляло его, как дурака, бросаться вперед, а того медленного ухода поплавка вниз, указывающего наметанному глазу, что пришла рыба. Короткий резкий вскрик отца мгновенно заглушался топотом ног — команда бросалась к лебедке, чтобы вытащить сеть. Привычка никогда не притупляла остроты этого мига: хотя люди получали процентную премию с улова, в тот момент никто не думал о деньгах — глубокое волнение, охватывавшее рыбаков, уходило корнями в далекие первобытные времена.

И вот, стекая ручьями, таща за собой водоросли, появляются сети; скрипит наматывающийся на деревянный барабан трос. Последнее усилие — и в кошеле вздымающегося невода вспыхивает расплавленным блеском, полным силы и прелести, семга!

Однажды — то была незабываемая суббота — они поймали сразу сорок рыбин. Большие сверкающие существа, изгибаясь дугой, бились, стараясь прорваться сквозь сеть и уйти в реку. Фрэнсис бросился вперед вместе с другими, отчаянно хватая драгоценную ускользящую рыбу. Рыбаки подняли мальчика, всего в блесках чешуи и вымокшего до костей, — он сжимал в своих объятьях великолепное чудовище.

Вечером, когда они с отцом шли домой, держась за руки, и звук их шагов гулко раздавался в дымке сумерек, не сговариваясь, оба остановились у лавки Берли на Хай-стрит, чтобы купить на пенни его любимых мятных лепешечек. Их товарищество приносило ему и другие радости. По воскресеньям после мессы они брали удочки и тайком, чтобы не вызвать неодобрение благочестивых прихожан, пробирались

окраинными улицами погруженного в воскресное оцепенение города, в зеленую долину Уайтэддера. В жестянке Фрэнсиса копошились в опилках жирные личинки мух, собранные накануне вечером на дворе у Мили. День пьянил его шумом реки, запахом таволги... Отец показывал ему места, где могли быть водовороты... форель, вся в темно-красных пятнышках, извивалась по побелевшей гальке... отец склонялся над костром... потом они ели чудесную хрустящую жареную рыбу...

А иногда они отправлялись за черникой, земляникой или дикой желтой малиной, из которой выходил такой вкусный джем. Если с ними шла и мать, то получался настоящий праздник. Отец знал все лучшие места и заводил их далеко в лес, к нетронутым ягодным зарослям.

Когда выпадал снег и зима сковывала землю, они крались между заиндевевшими деревьями дерхэмского парка. Дыханье клубилось перед ними морозным паром, по коже бегали мурашки — а вдруг сейчас раздастся свисток сторожа!? Он слышал стук своего сердца, когда они опорожняли силки почти под самыми окнами барского дома. И вот они уже торопятся домой! Домой! С сумками полными дичи! Он улыбался, и у него уже текли слюнки при мысли о паштете из кролика...

Его мать была великолепной кухаркой. Своей бережливостью, умением хозяйничать и ловкостью в домашней работе она заслужила одобрение скупой на похвалы шотландской общины. О ней говорили: «Элизабет Чисхолм — добродетельная женщина!»

Сейчас, прикончив похлебку, он услышал, как мать говорит что-то отцу, глядя на него через стол.

— Ты постарайся сегодня быть дома пораньше, Алекс, сегодня ведь праздник в муниципалитете.

Наступила тишина. Фрэнсис заметил, что отец чем-то озабочен, может быть, он думал о поднявшейся от дождей реке и о том, что семга ловится неважно, и его застало врасплох напоминание о ежегодном концерте в муниципалитете, на который им предстояло идти вечером.

— Ты твердо решила пойти, женщина? — спросил он с легкой улыбкой.

Мать слегка покраснела; Фрэнсиса изумил ее совершенно необычный вид.

— Ты же знаешь, как я всегда жду этого концерта. Да и ты, в конце концов, принадлежишь к муниципалитету. Ты просто... ты просто обязан присутствовать там со своей семьей и друзьями.

Теперь отец расплылся в улыбке, вокруг его глаз собралось множество добрых морщинок... Чтобы заслужить такую улыбку отца Фрэнсис готов

был бы умереть.

— Ну, тогда похоже, что нам придется идти, Лизбет. Отец никогда не любил эти торжества, как не любил пить чай из чашек, носить жесткие воротнички и надевать скрипучие ботинки по воскресеньям. Но он любил эту женщину, которая хотела, чтобы он пошел туда.

— Так я рассчитываю на тебя, Алекс! Понимаешь, — в голосе матери, которому она изо всех сил старалась придать оттенок небрежности, прозвучала нотка облегчения, — я пригласила Полли и Нору из Тайнкасла; к сожалению, Нэд, кажется, не сможет отлучиться... — Она помолчала. — Так что тебе придется послать с квитанциями в Эттл кого-нибудь другого.

Отец выпрямился и бросил на нее быстрый взгляд, он, казалось, видел ее насквозь, проникая в самую глубину ее незамысловатой хитрости. Сначала, в своей радости, Фрэнсис ничего не заметил. Сестра его отца (ныне уже умершая) вышла замуж за Нэда Бэннона, владельца «Юнион-таверны» в Тайнкасле — шумном городе милях в шестидесяти к югу. Полли, сестра Нэда, и Нора, его десятилетняя племянница-сиротка, не были по существу их близкими родственниками. Однако их посещения всегда приносили в дом радость. Вдруг он услышал спокойный голос отца:

— Все равно мне придется самому идти в Эттл.

Наступило напряженное, полное скрытого значения молчание. Фрэнсис увидел, как побелела мать.

— Совсем необязательно идти самому... Сэм Мирлис, да и любой из твоих людей с радостью сделает это за тебя.

Отец ничего не ответил, продолжая спокойно смотреть на нее, — была задета его гордость, его мужское самолюбие. Ее волнение все возрастало. Она отбросила всякое притворство и, не скрывая больше своего страха, наклонилась над столом и положила дрожащую руку ему на рукав.

— Ну, для меня, Алекс! Ты же знаешь, что случилось в прошлый раз. Там опять очень скверно, ужасно скверно, я слыхала разговоры об этом.

Отец успокаивающе положил свою большую ладонь на руку матери.

— Ты же не хочешь, чтобы я сбежал, не так ли, жена? — он улыбнулся и порывисто встал. — Я выйду сейчас... и рано вернусь... у меня будет еще уйма времени для тебя, для наших друзей и для твоего драгоценного концерта в придачу.

Побежденная, с напряженно застывшим лицом, она смотрела, как он натягивает свои высокие сапоги. Фрэнсис, унылый и подавленный, был охвачен ужасным предчувствием того, что должно произойти. И действительно, выпрямившись, отец повернулся к нему и мягко сказал, с необычной для него ноткой раскаяния:

— Я подумал сейчас, мальчик, что тебе сегодня лучше остаться дома. Ты поможешь матери по хозяйству, ей ведь еще много надо сделать до прихода гостей.

Ослепленный слезами разочарования, Фрэнсис не протестовал. Он почувствовал, что мать крепко, словно удерживая, обняла его за плечи. Отец постоял минутку около двери, со сдержанной, но глубокой любовью глядя на них, потом молча вышел.

Хотя к полудню дождь перестал, время, казалось, еле-еле уныло ползло вперед. Мальчик прекрасно все понимал и мучился этим пониманием, но притворялся, что не видит хмурой озабоченности матери. Здесь, в этом тихом городке, их все знали, их не трогали и даже уважали. Но в Этгле, торговом городе в четырех милях отсюда, где находилось правление рыбных промыслов, куда отец должен был ежемесячно сдавать отчет об улове, к ним относились иначе. Сто лет назад вересковые пустоши около Этгла обагрились кровью ковенанторов^[2]; теперь маятник неумолимо вернулся назад. Снова возникло жестокое преследование из-за веры, во главе которого встал новый мэр.

Открывались сектантские молельни, на главной площади собирались массовые сборища, народ был возбужден до неистовства. Когда ярость толпы вырвалась на свободу, немногочисленные католики города были изгнаны из своих домов, всех же остальных, живших в округе, торжественно предупредили, чтобы они не вздумали показываться на улицах Этгла.

Спокойное пренебрежение отца к этой угрозе возбудило особую ненависть сектантов. В драке, разыгравшейся в прошлом месяце, сильный рыбак сумел хорошо постоять за себя. А теперь, несмотря на новые угрозы и старания матери удержать его, он снова пошел туда... Фрэнсис вздрогнул от своих мыслей, и его маленькие кулачки сжались. Почему люди не могут оставить друг друга в покое? Его отец и мать были разной веры, но это не мешало им жить вместе, в полном мире и согласии, уважая друг друга. Его отец — хороший человек, самый лучший во всем мире... почему же они хотят причинить ему зло? Острый, как лезвие ножа, страх пронзил его до глубины души... самое слово «религия» заставляло его отпрянуть, холодея от растерянности при мысли, что люди могут так ненавидеть друг друга за поклонение одному и тому же Богу, только выражаемое по-разному. В четыре часа они возвращались со станции. Весело подзадориваемый Норой, он угрюмо перепрыгивал через лужи. Мать шла сзади со степенной тетей Полли, которая нарядилась по случаю субботнего чаепития и концерта. Приближение несчастья витало в воздухе и давило его. Ни

резвость Норы, ни ее красивое новое коричневое платье с тесьмой, ни ее откровенная радость оттого, что она видит его, почти не могли отвлечь мальчика. Крепясь изо всех сил, он подошел к дому. Это был низкий чистенький коттедж из серого камня, выходящий на Кэннелгейт; сзади зеленела аккуратная лужайка, там летом отец выращивал астры и бегонии. Сверкающий медный дверной молоток и без единого пятнышка порог выдавали страсть матери к порядку. За окнами с непорочно чистыми занавесками в трех горшках пламенела герань. Нора раскраснелась, запыхалась, ее голубые глаза сверкали, на нее нашел приступ какого-то задорного, злого веселья. Когда дети, обойдя вокруг дома, вошли в сад, где они должны были до чая играть с Ансельмом Мили (это устроила мать), девочка так низко наклонилась к Фрэнсису, что волосы упали на ее худенькое личико, и начала что-то шептать ему на ухо.

Как ни странно, на этот раз изобретательность Норы подстегнули многочисленные лужи и сочная, влажная после дождя земля. Сначала мальчик не хотел ничего слушать. Это было удивительно, потому что присутствие Норы всегда вызывало в нем, несмотря на робость, ответный порыв. Сейчас он стоял, маленький и сдержанный, и с сомнением смотрел на нее.

— Я знаю, что он захочет, — убеждала она настойчиво. — Он всегда хочет играть в святого. Ну, живей, Фрэнсис! Давай это сделаем, ну, давай же!

Медленная улыбка чуть тронула его сжатые губы. Полунехотя он принес из сарайчика в конце сада лопату, лейку и старую газету. По распоряжению Норы он выкопал двухфутовую яму между лавровыми кустами, полил ее, и прикрыл газетой. Девочка искусно засыпала газету сухой землёй. Едва они успели поставить лопату на место, как пришел Ансельм Мили. Он был одет в красивую белую матроску. Нора бросила Фрэнсису злорадный взгляд.

— Какой у тебя прелестный новый костюм! А мы ждали тебя. Во что будем играть?

Ансельм Мили снисходительно обдумал вопрос. Для своих одиннадцати лет это был большой, хорошо упитанный мальчик с бело-розовыми щеками, белокурый и кудрявый, с сентиментальным взглядом. Единственное дитя богатых и набожных родителей — у его отца был доходный завод костной муки — он должен был поступить в Холиуэлл, знаменитый католический колледж в северной Шотландии, чтобы по окончании его стать священником (это было его собственным желанием и того же хотела его благочестивая мать). Ансельм, как и Фрэнсис,

прислуживал в церкви св. Колумба. Его часто видели там на коленях, с глазами полными слез. Посещающие церковь монахини гладили его по головке. Все считали его — и не без основания — святым мальчиком.

— Давайте устроим процессию в честь святой Юлии, — сказал он. — Сегодня ее праздник.

Нора захлопала в ладоши.

— Давайте условимся, будто ее рака находится около лавровых кустов. Мы будем рядиться?

— Нет, — Ансельм покачал головой. — Это будет больше молитвой, чем игрой. Но вообрази, что на мне белая риза и я несу дароносицу, усыпанную драгоценными камнями. Ты будешь белой картезианской^[3] монахиней, а ты, Фрэнсис, будешь моим прислужником. Ну, вы готовы?

Внезапная растерянность охватила мальчика. Он был еще в таком возрасте, когда не умеют анализировать свои ощущения. Фрэнсис знал только, что, несмотря на горячие уверения Ансельма, будто он его лучший друг, почему-то его благочестивые излияния возбуждали в нем какой-то странный, болезненный стыд. Собственное отношение Фрэнсиса к Богу было крайне сдержанным. Он оберегал свое чувство, сам не зная почему и не умея объяснить его, подобно тому, как тело оберегает нежный нерв, укрытый в его глубине. Когда Ансельм на уроке катехизиса пылко заявил: «Я люблю нашего Спасителя и поклоняюсь Ему всем своим сердцем». — Фрэнсис, который перебирал в кармане мраморные шарики, вспыхнул густым румянцем; он пришел из школы домой мрачный и разбил окно. На следующее утро Ансельм, частенько посещавший больных, принес в школу жареного цыпленка и горделиво объявил, что объектом его милосердия будет матушка Пэкстон, старая торговка рыбой, хотя эта особа высохла от ханжества и цирроза печени, в субботние вечера она устраивала такие уличные скандалы, что Кэннелгейт превращался в бедлам. Во время урока Фрэнсис, как бешеный, помчался в раздевалку, развернул сверток и вместо вкусной курицы (которую он съел вместе с товарищами) положил туда тухлую голову трески. Позже слезы Ансельма и проклятия Мэг Пэкстон доставили ему глубокое тайное удовлетворение.

Сейчас, однако, он колебался. Словно давая товарищу возможность спастись, Фрэнсис тихо спросил:

— Кто пойдет первым?

— Конечно, я, — быстро ответил Ансельм и встал впереди. — Пой, Нора: «Tantum ergo...»^[4] Под пронзительное пение девочки процессия гуськом двинулась вперед. Когда она приблизилась к лавровым кустам,

Ансельм поднял сжатые руки к небу. В следующее мгновение он наступил на газету и во весь рост растянулся в грязи. Секунд десять никто не пошевелился. Рев «святого», пытающегося выбраться из ямы, рассмешил Нору. Ансельм, громко рыдая, повторял:

— Это грех, это грех!

Девчонка, смеясь, дико скакала вокруг и насмехалась над ним:

— Дерись, Ансельм, ну, дерись же! Почему ты не стукнешь Фрэнсиса?

— Не буду, не буду, — выкрикивал Ансельм, обливаясь слезами, — я подставлю вторую щеку.

Он бросился домой. Нора исступленно вцепилась во Фрэнсиса — она задыхалась и изнемогала от смеха, слезы текли у нее по лицу, но тот не смеялся.

В угрюмом молчании он уставился в землю. Как он мог заниматься такими глупостями, в то время как его отец ходит сейчас по враждебным улицам Эттла?! Фрэнсис все еще молчал, когда они пошли пить чай.

В маленькой уютной комнате стол был уже накрыт для совершения торжественного ритуала шотландского гостеприимства — он сверкал лучшим фарфором и всеми никелированными предметами, какие только были в их скромном хозяйстве.

Мать сидела с тетей Полли; ее открытое серьезное лицо слегка покраснелось от огня, иногда она посматривала на часы, — и в эти мгновения её коренастое тело застывало в напряжении. Сейчас, после тревожного дня, заполненного попеременно то сомнениями, то надеждами, Элизабет твердила себе, что ее страхи глупы; она вся превратилась в слух — не раздадутся ли шаги мужа... она испытывала непреодолимое, страстное желание увидеть его.

Мать была дочерью Дэниела Гленни, мелкого неудачливого булочника, по призванию же уличного проповедника. Он возглавлял созданное им своеобразное христианское братство в Дэрроу — невероятно скучном городке, где жили в основном корабельцы. Он находился примерно в двадцати милях от Тайнкасла. Когда Элизабет было восемнадцать лет, во время недельного отпуска от службы за прилавком родительской булочной, в которой она торговала кренделями и пирожными, она без памяти влюбилась в молодого рыбака из Твидсайда, Александра Чисхолма, и вскоре вышла за него замуж. Полнейшее отсутствие сходства между молодыми людьми как будто заранее обрекало их союз на крушение. В действительности же их брак оказался на редкость счастливым. Чисхолм не был фанатиком: спокойный, добродушно веселый, он вовсе не стремился влиять на религиозные верования своей жены. Она, со своей стороны, была

сыта религией по горло и, воспитанная своим странноватым отцом на принципах всеобщей терпимости, не придиралась к мужу. Даже когда первые восторги поостыли, она испытывала лучезарное счастье. По словам матери, муж был ей настоящей поддержкой — аккуратный, всегда охотно исполняющий все просьбы, он все умел: и починить ее машину для отжимания белья, и ощипать курицу, и вынуть мед из сотов. Его астры были лучшими в Твидсайте, его куры-бентамки всегда получали призы на выставках, голубятня, которую он недавно сделал Фрэнсису, была чудом мастерства. Зимними вечерами, когда она сидела с вязаньем у очага, а сын уютно спал в своей кровати, когда ветер свистел вокруг маленького домика, делая его еще уютнее, а чайник шумел на крюке, когда ее долговязый, худой Алекс мягко ступал по кухне в одних чулках, молчаливый и сосредоточенный, занятый какой-нибудь работой, она иногда поворачивалась к нему со странной нежной улыбкой: «Муж, я люблю тебя».

Мать нервно посмотрела на часы: да, уже поздно, ему давно пора было вернуться. Сгустившиеся тучи как бы торопили наступление темноты, и крупные капли дождя опять застучали в оконные стекла. Почти в тот же миг вошли Нора и Фрэнсис. Элизабет старательно избегала тревожных глаз сына.

— Ну, дети! — тетя Полли подозвала их к себе. — Хорошо ли вы поиграли? Ну, вот и ладно. Нора, ты помыла руки? Ты, наверное, предвкушаешь сегодняшний концерт, Фрэнсис? Я и сама люблю послушать музыку. Господи помилуй, девочка, да постой же смирно и, пожалуйста, ведите себя прилично, миледи, сейчас мы будем пить чай.

Игнорировать этот намек было невозможно. Вся во власти тревоги, овладевшей ею и еще более мучительной оттого, что она скрывала ее, мать поднялась.

— Мы не будем больше ждать Алекса. Давайте пить чай, — она заставила себя улыбнуться извиняющейся улыбкой. — Теперь он придет с минуты на минуту.

Все было очень вкусно: и чай, и домашние лепешки, и варенья, и желе, изготовленные руками Элизабет. Но какая-то напряженность и подавленность нависла над столом. Тетя Полли не произносила своих обычных изречений, над которыми так потешался втайне Фрэнсис. Она сидела прямо, с прижатыми к телу локтями, прихватив одним пальцем чашку. Старая дева, приближающаяся к сорока, с продолговатым, утомленным, однако приятным лицом, несколько эксцентрично одетая, полная достоинства и сдержанности, но несколько рассеянная, тетя Полли

являла собой образец жеманной аристократичности. На коленях у нее был расстелен кружевной носовой платок, нос покраснел от горячего чая (это ведь так свойственно человеческому роду!), птичка на ее шляпке грустно задумалась.

— Я только что подумала, Элизабет... — тетя Полли старалась тактично прервать затянувшееся молчание, — дети могли бы привести с собой мальчика Мили. Нэд знает его отца. Какое прекрасное призвание у Ансельма! — не поворачивая головы, она скользнула по Фрэнсису добрым всеведущим взглядом. — Надо нам будет и тебя послать в Холиуэлл, молодой человек. Элизабет, ты хотела бы видеть своего сына, произносящего проповедь с кафедры?

— Только не моего единственного сына.

— Всевышнему нравятся единственные, — глубокомысленно изрекла тетя Полли.

Мать не улыбнулась ей в ответ, она давно решила, что ее сын будет знаменит — он будет известным адвокатом, может быть, хирургом, но она и думать не хотела, что его уделом может стать безвестная, полная тяжелых лишений и трудностей жизнь священника. Раздираемая все возрастающей тревогой, Элизабет воскликнула:

— Я так хочу, чтобы Алекс вернулся! Это... это страшно невнимательно с его стороны. Мы все из-за него опоздаем, если он не поспешит.

— Может быть, он еще не закончил свои расчеты, — деликатно предположила тетя Полли.

Мать мучительно покраснела, теряя всякий контроль над собой.

— Он уже должен был вернуться в барак, он всегда заходит туда после Эттла, — она отчаянно боролась со своим страхом. — Меня несколько не удивит, если он вообще забыл о нас, он ужасно невнимательный... — она помолчала в нерешительности. — Подождем его еще пять минут. Еще чашечку, тетя Полли?

Но с чаепитием было покончено. Дольше тянуть его было невозможно. Наступило тягостное молчание. Что же с ним случилось? Неужели он никогда не придет? Больная от беспокойства, Элизабет не могла больше сдерживаться: нескрываемый страх переполнял ее. Бросив последний взгляд на мраморные часы, она поднялась.

— Вы меня извините, тетя Полли, я должна сбегать туда и посмотреть, что его задерживает. Я недолго.

Эти минуты неопределенности и тревожного ожидания были мучительны для Фрэнсиса... Его преследовали ужасные видения: он видел

узкий темный закоулок, какие-то лица, выплывающие из этой тьмы, какое-то беспорядочное движение... Вот его отец... его хватают... он борется... вот он падает под ноги толпы... с тошнотворным стуком его голова ударяется о булыжники мостовой... Мальчик почувствовал, что весь дрожит.

— Позволь мне пойти с тобой, мама.

— Глупости, сынок, — она слабо улыбнулась. — Ты останешься дома и будешь занимать наших гостей.

Неожиданно тетя Полли покачала головой. До этой минуты она ничем не выдала, что замечает растущую напряженность. Не показала она этого и сейчас, но, пронизательно посмотрев на мать, сказала:

— Возьми мальчика с собой, Элизабет. Мы с Норой отлично проведем время.

Все молчали. Фрэнсис впился в мать умоляющим взглядом.

— Ну, ладно... можешь идти. Элизабет надела на сына толстое пальто, потом, закутавшись в накидку из шотландки, взяла его за руку и вышла из светлой теплой комнаты.

Ночь была непроглядно темна. Дождь лил как из ведра. Пенящиеся потоки выливались из желобов на пустынные улицы и чисто вымыли мостовую. Когда путники с трудом поднимались по Меркет Уинд, оставляя в стороне площадь с расплывчатым пятном света из муниципалитета, новый приступ страха налетел на мальчика из обступившей их темноты вместе с порывами дождя и ветра. Он силился подавить его, сжимая губы, из последних сил стараясь не отставать от матери, которая шла все быстрее и быстрее. Через десять минут они перешли реку по Бордер Бридж, с трудом пробрались по затопленной набережной и направились к бараку № 3. Здесь мать в испуге остановилась. Барак был пуст и заперт. Она в нерешительности обернулась и вдруг заметила слабый огонек бакена, призрачно мерцающий сквозь дождь и тьму в миле вверх по реке. Это был барак № 5, где жил Сэм Мирлис, помощник отца. Хотя Мирлис был непутевым парнем и пьянчугой, от него все же можно было что-то узнать. Она опять пустилась в путь, упорно шагая по пропитанным водой лугам, спотыкаясь о невидимые кочки, натываясь на изгороди, перебираясь через канавы. Фрэнсису, который шел рядом с матерью, передавался ее все усиливающийся страх. Наконец, они дошли до барака. Это была деревянная хибарка из просмоленных досок, прочно стоящая на берегу реки. Перед ней стояла большая каменная бочка и висели сети. Мальчик не мог дольше терпеть — задыхаясь от волнения, бросился к двери и рывком открыл её.

И тогда Фрэнсис понял, что страх, весь день терзавший его, был не напрасен. Его зрачки расширились от ужаса, непереносимая боль душила его, — он громко закричал. Его отец был там с Сэмом Мирлисом. Он лежал, вытянувшись, на скамейке; Фрэнсиса поразило бледное, залитое кровью лицо отца, одна рука его была кое-как перевязана, большой багровый рубец пересекал лоб. Оба рыбака были в своих фуфайках и высоких сапогах, на столе стояли стаканы и кувшин, покрасневшая от крови губка валялась рядом с ковшом мутной воды. Качающийся фонарь-молния бросал на них болезненно-желтый свет, а сзади крались синие тени, они собирались, таинственно колыхаясь в углах и под стучащей от ветра крышей. Мать бросилась вперед, упала на колени около скамейки.

— Алекс... Алекс... ты ранен?

Хотя в глазах у него все мутилось, отец улыбнулся, вернее, попытался улыбнуться побелевшими разбитыми губами.

— Ну, жена, не сильнее, чем те, которые напали на меня.

Слезы брызнули у нее из глаз. Они были вызваны и его упрямством, и ее любовью к нему, и яростью против тех, кто совершил это над ним.

— Когда он пришел, он был почти прикончен, — вмешался Мирлис, сделав расплывчатое движение рукой — но я подкрепил его парой глотков.

Она зло взглянула на него: налился, как всегда в субботу. Гнев на этого отупевшего от пьянства дурака, который напоил ее так страшно изувеченного мужа, лишал Элизабет последних сил. Она видела, что он потерял много крови, здесь у нее не было ничего, чем бы можно было лечить его... нужно сейчас же увести его отсюда... сейчас же. Мать с трудом произнесла:

— Ты мог бы прийти со мной до дому, Алекс?

— Думаю, что да, жена... если мы пойдем потихоньку. Она думала, лихорадочно борясь с охватившей ее паникой и растерянностью. Природная интуиция подсказывала ей, что его нужно перевести туда, где будет тепло, светло и безопасно. Элизабет видела, что самая страшная его рана, на виске, перестала кровоточить. Она повернулась к сыну.

— Быстро беги домой, Фрэнсис. Скажи Полли, чтобы она приготовила все для нас, а потом сейчас же приведи доктора.

Мальчик, дрожа словно в лихорадке, судорожно, будто слепой, кивнул в знак того, что все понял. Потом последний раз взглянул на отца, наклонил голову и, как безумный, бросился бежать по набережной.

— Ну, тогда попробуй, Алекс... дай мне руку.

Резко отказавшись от предложенной Мирлисом помощи (она знала, что он будет только мешать), Элизабет помогла мужу подняться.

Покачиваясь, он послушно медленно встал на ноги. Он был страшно слаб и почти не сознавал, что делает.

— Ну, я пошел, Сэм, — пробормотал Алекс невнятно, — спокойной ночи.

Она кусала губы в муках сомнения, однако, упорствуя, вывела его на улицу. Им в лицо ударила сплошная колючая сетка дождя. Когда за ними закрылась дверь, и Элизабет увидела его, нетвердо стоящего на ногах, не замечающего непогоды, и представила себе извилистый обратный путь через болотистые поля с этим беспомощным человеком, которого надо дотащить до дому, ее охватил ужас. И вдруг, пока она стояла в нерешительности, ее осенила мысль. Почему эта мысль не пришла ей в голову раньше? Если она поведет его коротким путем через мост у черепичного завода, то сэкономит не меньше мили и через полчаса он будет дома благополучно лежать в постели. С удвоенной решимостью Элизабет взяла его за руку. Торопливо шагая под проливным дождем, поддерживая его, она направилась вверх по реке к мосту. Сначала он шел, по-видимому, не подозревая, куда она его ведет, но неожиданно услышал шум несущейся воды и остановился.

— Куда это мы идем, Лизбет? Мы не сможем перейти реку у черепичного завода — Твид слишком разлился.

— Тсс, Алекс... не трать сил на разговоры. Элизабет успокоила его и потянула вперед. Они подошли к мосту. Это был узкий висячий мост из досок, с перилами из проволочного троса. Он пересекал реку в самом узком месте и был совершенно надежен, хотя им редко пользовались, так как черепичный завод, который он обслуживал, давно закрыли.

Когда Элизабет ступила на мост, чернота и оглушительный шум близкой воды снова пробудили в ней смутные сомнения, может быть, предчувствие. Она остановилась в нерешительности — мост был слишком узок, по нему нельзя было идти рядом. Она обернулась назад и взгляделась в согнутую промокшую фигуру мужа. Порыв странной материнской нежности охватил ее.

— Ты держись за перила?

— Да, держусь.

Она ясно видела толстый проволочный трос в его большом кулаке. Отчаявшаяся, охваченная страхом, задыхающаяся, Элизабет не могла больше рассуждать.

— Тогда держись поближе ко мне.

Она повернулась и пошла вперед. Они начали переходить через мост. На половине пути его нога сорвалась со скользкой от дождя доски. В

другую ночь это не имело бы значения, но сегодня это значило очень много, так как разлившийся Твид поднялся до самого моста. В тот же миг несущийся поток воды заполнил его сапог. Алекс боролся с непреодолимо тянущей его вниз тяжестью, но в Эттле из него выбили всю силу. Вторая нога тоже соскользнула с моста. Оба сапога, полные воды, налились свинцом. На его крик она быстро обернулась и с воплем ухватилась за него. Река вырывала перила из его слабеющих рук. Элизабет обхватила мужа руками. Какой-то миг, длившийся вечность, она отчаянно боролась рядом с ним, поддерживая его, потом темная, бурлящая вода засосала их.

Всю эту ночь Фрэнсис ждал их, но они не пришли. Их нашли на следующее утро, во время отлива, в тихой воде около песчаной косы. Они лежали, словно сжимая друг друга в объятиях.

2

Четыре года спустя, сентябрьским вечером, совершая свой еженощный долгий и утомительный путь пешком от верфи в Дэрроу до булочной Гленни, Фрэнсис Чисхолм принял великое решение. Он устало побрел по усыпанному мукой коридору, отделяющему пекарню от магазина, — миниатюрная фигурка, терявшаяся в грубых, не по росту, рабочих брюках, чумазое лицо под мужской кепкой, надетой задом наперед, — затем прошел через заднюю дверь, поставив ведро, в котором носил с собой завтрак, в раковину для мытья посуды. В его юных темных глазах горел затаенный огонь решимости. В кухне грязный и, как всегда, загроможденный посудой стол был занят Мэлком Гленни. Мэлком, неуклюжий, очень бледный семнадцатилетний юноша, сидел, развалясь, над учебником Локка по составлению нотариальных актов. Облокотившись на стол, одной рукой он поглаживал свои сальные черные волосы, другой совершал опустошительные нападения на сладкое мясо, приготовленное для него матерью к его возвращению из колледжа Армстронга. Фрэнсис достал из печи свой ужин — пирожок за два пенни и картошку, которые жарились там с самого полудня — и освободил себе кусочек места на столе. Дверь из кухни была до половины застеклена, и сквозь разорванную светонепроницаемую бумагу мальчик видел миссис Гленни, обслуживавшую покупателя в лавке. Будущий хозяин дома глянул на него с раздражением и сказал осуждающе:

— Неужели ты не можешь поменьше шуметь, когда я занимаюсь? О,

Господи, что за грязные руки! Ты что, никогда не моешь их, когда садишься за стол?

Храня упорное молчание — лучшее средство защиты, — Фрэнсис взял в огрубелые, обожженные заклепками руки нож и вилку. Дверь перегородки щелкнула и открылась — это миссис Гленни с озабоченным видом вошла в кухню.

— Ты еще не кончил, Мэлком, голубчик? Я испекла тебе чудную драчену из одних свежих яиц и молока — она нисколько не повредит твоему желудку.

— У меня весь день болел живот, — проворчал тот, глотнув воздуха и рыгнув, и добавил с видом оскорбленной добродетели: — Вот, слышишь?

— Это все от ученья, сынок, все от ученья, — она поспешила к плите. — Но драчена подкрепит тебя, ты попробуй только... ну, для меня...

Он позволил ей убрать пустую тарелку и поставить перед ним большое блюдо с новым яством. Пока Мэлком лениво поглощал драчену, мать с нежностью наблюдала за ним, радуясь каждому проглоченному им куску. Миссис Гленни была одета в рваный корсет и старомодную, зияющую дырами юбку. Она любовно наклонилась к сыну, и ее злое лицо с длинным тонким носом и поджатыми губами осветилось беспредельной материнской нежностью.

Затем она проговорила:

— Я очень рада, что ты, сынок, рано вернулся. Ведь сегодня у отца проповедь.

— Ой, нет! — Мэлком откинулся назад, испуганный и обеспокоенный. — Где? В миссионерском обществе?

Миссис Гленни покачала головой:

— На улице. На Лугу.

— Но разве мы пойдем?

Она ответила со странным, полным горечи тщеславием:

— Это единственное положение в обществе, которое нам дал отец, Мэлком. Пока он не потерпит неудачу и в проповедовании, нам лучше принимать все как есть.

Он горячо запротестовал:

— Может быть, тебе это нравится, мать, а мне чертовски неприятно стоять там и слушать, как мальчишки вопят: «Святой Дэн!»... Когда я был маленьким, это еще было терпимо, но теперь, когда я скоро стану стряпчим!..

Мэлком внезапно замолчал, так как дверь открылась и его отец, Дэниел Гленни, тихо вошел в комнату. «Святой Дэн» подошел к столу,

рассеянно отрезал себе кусок сыру, налил стакан молока и, все еще стоя, принялся за свою простую еду. Хотя он и сменил рабочую фуфайку, широкие брюки и рваные мягкие туфли на лоснившиеся черные панталоны, старую визитку, которая была ему тесна и коротка, целлулоидную манишку и черный галстук, фигура его не стала от этого более значительной, а вид менее понурым. Манжеты — тоже целлулоидные для экономии на стирке, — потрескались, ботинки требовали починки. Дэниел Гленни слегка сутулился. Его взгляд за очками в стальной оправе, обычно тревожный, часто восторженно-отсутствующий, сейчас был задумчив и добр. Он жевал и со спокойным вниманием смотрел на Фрэнсиса.

— Ты выглядишь усталым, внук. Ты обедал?

Мальчик кивнул. Комната как будто стала светлее с тех пор, как булочник вошел в нее.

Глаза деда были похожи на глаза его матери.

— Я вынул из печки пирожные с вишнями. Если хочешь, можешь взять одно, они там, на решетке плиты.

При виде этой бессмысленной расточительности миссис Гленни презрительно фыркнула, — вот такое разбазаривание своего товара и сделало его банкротом, неудачником, но она покорно склонила голову.

— Когда ты хочешь идти? Если мы сейчас пойдем, я закрою магазин.

Дэниел Гленни посмотрел на свои большие серебряные часы с желтой костяной цепочкой:

— Да, мать, закрывай. Господня работа должна быть на первом месте. Да и покупателей сегодня больше не будет, — добавил он грустно.

Пока миссис Гленни опускала шторы в витрине с засиженными мухами пирожными, он стоял, отрешившись от всего, обдумывая свою речь на сегодняшний вечер. Внезапно Дэниел встрепенулся.

— Идем, Мэлком! — и, обернувшись к Фрэнсису, ласково сказал: — Будь умницей, внучек! Не ложись поздно.

Мэлком, угрюмо бормоча что-то себе под нос, закрыл книгу, взял шляпу и вышел вслед за отцом. Пока миссис Гленни натягивала черные лайковые перчатки, ее лицо приняло мученическое выражение, с каким она всегда ходила на проповеди мужа.

— Не забудь вымыть посуду. Как жаль, что ты не идешь с нами! — она слащаво улыбнулась.

Когда они ушли, он подавил желание лечь головой на стол. Принятое им недавно героическое решение зажигало Фрэнсиса, а мысль об Уилли Таллохе вливала жизнь в его усталое тело. Мальчик нагромоздил гору

грязной посуды в раковину и принялся мыть ее. Нахмутив брови и насупившись, он обдумывал свое положение. Словно больное растение, Фрэнсис увядал в душной атмосфере навязанных ему благодеяний с той самой минуты перед похоронами, когда Дэниел самозабвенно сказал Полли Бэннон:

— Я возьму мальчика Элизабет. Мы его единственные кровные родственники. Он должен ехать к нам.

Правда, один только этот благородный порыв не смог бы вырвать его из родной почвы. Решила дело безобразная сцена, которую устроила миссис Гленни. Прельстись теми небольшими деньгами, что выплатили Фрэнсису по страховке отца и выручили от продажи мебели, и грозя прибегнуть к помощи закона, она сломала сопротивление Полли, и та отказалась от намерения взять мальчика под свою опеку.

После этого всякая связь с Бэннонами была прервана так внезапно и резко, будто бы и Фрэнсис косвенно был в чем-то виноват. Полли (уязвленная и оскорбленная, всем своим видом словно говорила: я сделала все, что могла) — несомненно, вычеркнула его из памяти. Мальчик болезненно переживал разрыв.

Когда он переехал в дом булочника и жизнь еще привлекала его своей новизной, Фрэнсиса послали в школу в Дэрроу. На спине у него был новый ранец, его провожал Мэлком, миссис Гленни чистила и причесывала его. Стоя у дверей магазина, она провожала школьников взглядом собственника. Увы! Этот приступ филантропии скоро сошел на нет. А дедушка Дэниел Гленни показался ему святым. Это был мягкий, благородный человек, часто подвергавшийся насмешкам, ибо он заворачивал покупателям пироги в трактаты своего сочинения и каждую субботу, по вечерам, водил по городу свою ломовую лошадь, у которой на крестце красовался напечатанный крупными буквами плакат: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Дэниел витал в облаках, откуда ему приходилось периодически спускаться и, взмокнув от пота, изнемогая под бременем забот, встречаться со своими кредиторами. Он работал не покладая рук. Можно сказать, что голова его покоилась в лоне Авраама, а ноги в лохани с тестом. Где же ему было помнить все время о своем внуке? Когда дед вспоминал о Фрэнсисе, то, взяв его за руку, совал ему пакет крошек и вел на задний двор кормить воробьев.

Все ухудшающиеся дела мужа — пришлось уволить сначала возчика, потом продавщицу, затем были закрыты одна за другой несколько печей и выпечка постепенно свелась к жалким пирогам по два пенни и пирожным по фардингу — преисполнили миссис Гленни жалостью к себе. Для нее,

мелочной по натуре, неумелой, но жадной, присутствие внука вскоре стало непереносимым кошмаром. Привлекательность суммы в семьдесят фунтов, полученных в придачу к нему, скоро пропала. Ей стало казаться, что расплата чересчур велика... Она давно уже отчаянно экономила на всем, и расходы на его одежду, пищу, учебу стали для нее вечной Голгофой. Миссис Гленни даже считала куски, которые он съел. Когда штаны мальчика износились, она переделала ему сохраненный на память о юности зеленый костюм Дэниела такого невообразимого рисунка и цвета, что он вызывал насмешки всей улицы и превратил жизнь Фрэнсиса в пытку. Хотя плата за обучение Мэлкома всегда вносилась в срок, миссис Гленни обычно ухитрялась забывать о плате за внука до тех пор, пока он не являлся к ней, дрожащий, бледный от унижения, обозванный неплательщиком перед всем классом. Тогда она начинала ловить ртом воздух, симулировала сердечный приступ, хватаясь за свою увядшую грудь, и, в конце концов, отсчитывала ему шиллинги с таким видом, словно он пил ее кровь.

Фрэнсис терпел все со стоической выносливостью, но постоянно чувствовал, что он один... один... Это было ужасно для маленького мальчика. Обезумев от горя, он совершал долгие одинокие прогулки по безлесным окрестностям города в тщетных поисках ручья, где можно было бы половить форелей. Фрэнсис подолгу смотрел на уходящие корабли, снедаемый каким-то страстным желанием, зажимая рот шапкой, чтобы задушить крик отчаяния. Очувтившись, как в ловушке, между двумя враждебными друг другу религиями, он не знал уже, что и думать. Его ясный и жадный ум притупился, лицо стало угрюмым. Мальчик чувствовал себя счастливым только в те вечера, когда Мэлком и миссис Гленни уходили куда-нибудь, а он сидел в кухне у огня напротив Дэниела и смотрел на маленького булочника, который в полном молчании листал свою библию с видом невыразимой радости.

Спокойная, но непреклонная решимость Дэниела не оказывать никакого давления на религиозные взгляды мальчика — да и как мог бы он это делать, проповедуя всеобщую терпимость! — была дополнительным источником недовольства для миссис Гленни.

Для такой «христианки», как она, не сомневающейся в своем спасении, напоминание о безрассудстве дочери было проклятием. Да и соседи судачили об этом.

Кризис наступил через полтора года, когда Фрэнсис, проявив неблагодарность и бестактность, превзошел Мэлкома в конкурсном сочинении. Это было уже невозможно перенести. Недели «пилки» сломили сопротивление булочника. К тому же он был на грани нового разорения.

Было решено, что образование мальчика закончено. Впервые за много месяцев улыбаясь ему, миссис Гленни с притворной убежденностью внушала Фрэнсису, что теперь он уже маленький мужчина и может вносить свою лепту в дом, что ему нужно взяться за работу и познать величие труда. И он поступил на верфь подручным заклепщика с платой в три с половиной шиллинга в неделю. Ему было двенадцать лет.

К четверти восьмого мальчик покончил с посудой, быстро привел себя в порядок перед осколком зеркала и вышел на улицу. Еще не стемнело, но вечерняя прохлада заставила его закашляться и поднять воротник куртки. Он быстро зашагал по Хай-стрит мимо извозничьего двора и винных погребов. Вот, наконец, и аптека доктора на углу, с ее пузатыми красными и зелеными бутылками и квадратной медной дощечкой: «Доктор Сузерленд Таллох, врач и хирург». Фрэнсис вошел. В аптеке было сумрачно, пахло алоэ, асафетидой^[5] и лакричным корнем. Полки, заставленные темно-зелеными бутылками, занимали одну стену, в конце ее были три деревянных ступеньки, которые вели в маленькую приемную, где доктор Таллох принимал своих пациентов. За длинным прилавком, заворачивая лекарства на мраморной, забрызганной красным сургучом доске, стоял старший сын доктора, — крепкий веснушчатый мальчик лет шестнадцати, с большими руками, рыжеватыми волосами и доброй приветливой улыбкой. Он и сейчас, здороваясь с Фрэнсисом, широко ему улыбнулся. Потом оба мальчика опустили глаза: каждый избегал взгляда другого, потому что боялся заметить в нем нежность.

— Я опоздал, Уилли! — Фрэнсис упорно смотрел на край прилавка.

— Я и сам опоздал... и мне еще надо разнести эти лекарства по поручению отца, чтоб ему...

Теперь, когда Уилли начал изучать медицину в колледже Армстронга, доктор Таллох с шутливой торжественностью произвел его в свои помощники.

Наступило молчание. Старший мальчик украдкой взглянул на друга.

— Ну, ты решил что-нибудь?

Фрэнсис все еще не поднимал глаз. Он раздумчиво кивнул, губы его были твердо сжаты.

— Да.

— Ну и правильно, Фрэнсис! — некрасивое флегматичное лицо Уилли расплылось в одобрительной улыбке. — Я бы не мог вытерпеть так долго!

— Да и я тоже не мог бы... — пробормотал Фрэнсис, — если бы... ну... если бы не дедушка и ты.

Его худое мальчишеское лицо, замкнутое и пасмурное, залилось

густым румянцем, когда он порывисто произнес последние слова. Покраснев от сочувствия, Уилли пробормотал :

— Я нашел поезд для тебя. Есть прямой, выходящий из Олстида каждую субботу в 6.35... Тихо ...отец идет.

И он резко оборвал разговор, бросив предостерегающий взгляд на Фрэнсиса.

Дверь приемной отворилась, и доктор, одетый в твидовый костюм, появился в дверях: он провожал своего последнего пациента. Затем Таллох повернулся к мальчикам — резкий, колючий, смуглый, — из его густых волос и блестящих бакенбард, казалось, вылетали заряды переполнявшей его энергии. У него была ужасная репутация самого заядлого во всем городе вольнодумца, открытого приверженца Роберта Ингерсолла^[6] и профессора Дарвина. Это, впрочем, не мешало ему обладать обезоруживающим обаянием и быть в высшей степени знающим врачом.

Доктора очень беспокоили ввалившиеся щеки Фрэнсиса, и поэтому он отпустил одну из своих ужасных шуточек:

— Ну, мой мальчик, вот и еще от одного избавился! О, он еще не умер, нет, но скоро умрет! И такой милый человек, и после него останется большая семья!

Улыбка мальчика вышла слишком натянутой и не понравилась доктору. Он вызывающе подмигнул светлым глазом, вспомнив свое собственное нелегкое отрочество.

— Ну, выше нос, малыш! Не унывай! Через сто лет тебе будет все равно!

Прежде чем Фрэнсис смог ответить, доктор Таллох коротко засмеялся, сдвинул на затылок свою странную прямоугольную шляпу и стал натягивать перчатки. Уже по дороге к своей двуколке он крикнул:

— Обязательно приведи его в девять часов ужинать, Уилл! К ужину горячая синильная кислота!

Часом позже, разнеся лекарства больным, оба мальчика направились к дому Таллохов — обветшалой вилле, выходящей на Луг. Они молчали — их дружба не нуждалась в словах — потом тихо заговорили о смелых планах на послезавтра. Настроение Фрэнсиса поднялось. Жизнь никогда не казалась ему уж очень враждебной в обществе Уилли Таллоха. И, однако, по странному капризу судьбы, их дружба началась с драки. Однажды после школы, когда Уилли в компании своих одноклассников слонялся по Касл-стрит, ему на глаза попала католическая церковь, ничем не выделяющееся, кроме своего безобразия, здание около газового завода.

— Пошли, — закричал он, — у меня есть шестипенсовик. Давайте

получим отпущение грехов.

Потом, оглянувшись, Уилли увидел Фрэнсиса и густо покраснел от здорового мальчишеского стыда. Эта глупая шутка вырвалась у него нечаянно и прошла бы незамеченной, если бы не Мэлком Гленни, который прицепился к ней и, искусно разжигая страсти, превратил ее в повод для драки. Подстрекаемые остальными, Фрэнсис и Уилли схватились в кровавой, без жалобных криков, битве на Лугу. Это был честный бой, и оба противника проявили немалую храбрость. Уже стемнело, а ни один не вышел победителем. Тем не менее, каждый ясно чувствовал, что с него довольно. Однако зрители, с присущей юности жестокостью, не согласились на такое завершение ссоры. На следующий вечер, после школы, соперники снова оказались сведены вместе и, подзадориваемые язвительными шуточками об их трусости, вынуждены были колотить друг друга по уже основательно избитым головам. Опять оба были окровавлены, вымотаны, но ни один упорно не хотел признать другого победителем. И так целую ужасную неделю их заставляли состязаться, как бойцовых петухов, на забаву не слишком-то благородных товарищей. Этот жестокий поединок, бессмысленный и бесконечный, превратился для обоих мальчиков в кошмар. Потом, в субботу, они неожиданно встретились лицом к лицу, одни. Минута мучительной душевной борьбы и... земля разверзлась, небеса растворились, — они повисли на шее друг у друга.

— Я не хочу драться с тобой, ты нравишься мне, старина! — пробормотал Уилли.

А Фрэнсис тер костяшками пальцев покрасневшие глаза и плакал в ответ:

— Уилли, ты нравишься мне больше всех во всем Дэрроу.

Они уже наполовину пересекли Луг — пустырь, покрытый темной от пыли травой, с заброшенной эстрадой для оркестра в центре, ржавым железным писсуаром в дальнем конце и несколькими скамейками, преимущественно без спинок, на которых играли бледные дети и курили, шумно обмениваясь мнениями, бездельники. Вдруг Фрэнсис увидел, что они должны пройти мимо собрания, где выступал с проповедью его дедушка, и у него по коже пошли мурашки. В самом дальнем от писсуара конце пустыря была укреплена небольшая хоругвь с потускневшим позолоченным девизом на красном фоне: «Мир на земле людям доброй воли». Напротив размещались портативная фисгармония и складной стул, на котором восседала с видом жертвы миссис Гленни, а рядом с ней стоял угрюмый Мэлком, сжимая в руках книгу гимнов. Между хоругвью и фисгармонией на низком деревянном помосте возвышался «святой Дэн»,

окруженный слушателями (их было человек тридцать).

Когда мальчики остановились около этого сборища, Дэниел закончил вступительную молитву и, откинув назад непокрытую голову, начал свою речь. Это была мольба, благородная и прекрасная, выражавшая его заветные убеждения и обнажавшая всю его бесхитростную душу. Учение «святого Дэна» основывалось на призыве к братству и любви к ближнему и к Богу. Люди должны помогать друг другу, нести на землю мир и добрую волю. Если бы только он мог убедить в этом человечество! Он не вступал в спор с церковью, но мягко отстранял ее: главное не форма, а сущность — смирение и любовь. Да, и терпимость! Ни к чему говорить об этих чувствах, надо жить ими.

Фрэнсису и раньше приходилось слушать выступления своего дедушки, и он всегда испытывал порыв упрямого сочувствия к взглядам «святого Дэна», которые сделали его посмешищем половины города. И сейчас сердце мальчика переполнилось пониманием и любовью, страстным желанием избавить мир от жестокости и ненависти. Поглощенный проповедью, он стоял и слушал, как вдруг заметил, что сбоку подходит Джо Мойр — бригадир заклепщиков. Джо сопровождала шайка, обычно околачивающаяся около винного погреба, вооруженная кирпичами, гнилыми фруктами, промасленными концами и тряпьем, выброшенными из котельной.

Мойр, был гигант с привлекательной наружностью, но сквернослов и грубиян. Когда он напивался, то развлекался тем, что разгонял всякие благочестивые собрания, происходившие на улице, особенно недолюбливал Армию Спасения. Сейчас он сжимал в кулаке капающее маслом тряпье и кричал:

— Эй, Дэн! А ну-ка, спой и спляши нам!

Глаза Фрэнсиса расширились от возмущения и ужаса. Они хотят сорвать собрание! И ему представилась миссис Гленни, вытаскивающая расквасившийся помидор из мокрых липких волос, он вообразил Мэлкома с залепленным жирной тряпкой противным лицом. Мальчик всем существом испытал дикую радость и ликование. Потом он увидел лицо Дэниела: тот еще не подозревал опасности, он весь как бы светился, от него исходила какая-то необычайная сила; его слова, рожденные в глубинах души, беспредельно искренние, были трепетны и взволнованны. Фрэнсис бросился вперед. Сам не зная, как и почему, он очутился около Мойра, схватил его за локоть и, задыхаясь, стал умолять:

— Не надо, Джо! Пожалуйста, не надо! Мы ведь друзья, Джо, не правда ли?!

— А, черт! — Мойр посмотрел вниз, вдруг его пьяный сердитый взгляд смягчился и стал дружелюбным. — Господи помилуй, Фрэнсис! — С трудом в его голове что-то прояснилось: — Я и забыл, что это твой дед!

Наступила тягостная тишина. Потом Мойр приказал своим спутникам: — Пошли, ребята! Двинем на площадь и займемся аллилуйщиками.

Когда они удалились, ожившая фисгармония захрипела. Никто, кроме Уилли Таллоха, не знал, почему гроза не разразилась. Когда минутой позже они входили в дом, Уилли спросил, пораженный:

— Почему ты это сделал, Фрэнсис? Тот ответил неуверенно:

— Я не знаю... в том, что он говорит, что-то есть... за эти четыре года я видел слишком много ненависти... мои отец с матерью не утонули бы, если бы люди не ненавидели их... — он запутался и замолчал, будто стыдясь своих слов.

Уилли молча привел его в столовую. После сумеречной улицы она была полна света, шума и при всем своем беспорядке щедро расточала уют. Это была длинная высокая комната, оклеенная коричневыми обоями, загроможденная поломанной красной плюшевой мебелью, разбитыми и склеенными вазами; шнурок звонка был оборван, на каминной доске разбросаны пузырьки, ярлычки, коробочки от пилюль; на протертом, залитом чернилами аксминстерском ковре^[7], среди игрушек и книг, копошились дети. Хотя было уже почти девять часов, никто из Таллохов еще не спал. Семь младших братьев и сестер Уилли — Джин, Том, Ричард... впрочем, перечислить всех не так-то легко, даже их собственный отец иногда признавал, что не может их всех запомнить — были заняты самыми разнообразными делами: чтением, письмом, рисованием, поглощением ужина, состоявшего из горячего хлеба с молоком. В то же время их мать, Агнесса Таллох, мечтательная пышная женщина с распущенными волосами и открытой грудью, взяла ребенка из колыбельки возле очага, сняла с него мокрую пеленку и стала безмятежно кормить голозادого младенца, тыкающегося носом в ее кремовую, отсветах огня, грудь. Она невозмутимо улыбнулась Фрэнсису.

— Ну, вот и вы, мальчики. Джин, дай им тарелки и ложки. Ричард, не приставай к Софи. Да, Джин, милая, дай сухую пеленку для Сузерленда, сними вон оттуда с веревки. И посмотри — кипит ли чайник для тодди^[8] отцу. Какая чудесная погода! Правда, доктор Таллох говорит, что кругом очень много больных. Садись, Фрэнсис. Томас! Разве отец не сказал тебе, чтобы ты не подходил близко к другим?!

Доктор вечно заносил домой какие-нибудь болезни: один месяц корь,

другой — ветрянку. Сейчас жертвой был шестилетний Томас. Коротко остриженный, пропахший карболкой, он весело сеял заразу стригущего лишая среди всего клана Таллохов.

Втиснувшись на переполненный скрипучий диван около Джин, которая в четырнадцать лет была вылитой матерью, с такой же кремовой кожей и безмятежной улыбкой, Фрэнсис ел хлеб с молоком, приправленным корицей. Он все еще не пришел в себя после недавнего взрыва, в горле у него застрял большой ком, в голове была полная путаница. А этот дом был еще одним вопросом для его перегруженного разума. Почему эти люди были так добры, счастливы и удовлетворены? Воспитанные нечестивым рационалистом в отрицании или скорее в полном игнорировании Бога, они были осуждены — адский огонь уже лизал их ноги...

В четверть десятого послышался скрип колес двуколки по гравию. Крупными шагами вошел доктор Таллох. Со всех сторон раздались детские крики, и вокруг него сейчас же образовалась куча мала. Когда суматоха улеглась, доктор сердечно поцеловал жену и уселся на стул со стаканом тодди в руке; на ногах у него уже были шлепанцы, на коленях сидел и тарачил глазенки маленький Сузерленд. Поймав взгляд Фрэнсиса, доктор с дружеской усмешкой поднял стакан:

— Ну, разве я не говорил тебе, что здесь кормят ядом?! И выпивают вовсю, а, Фрэнсис?

Видя отца в хорошем настроении, Уилли не утерпел и рассказал ему происшествие на молитвенном собрании. Доктор, улыбаясь, похлопал Фрэнсиса по плечу.

— Молодец, мой маленький католический Вольтер! Я никогда не соглашусь с тем, что ты говоришь, но я буду ценой жизни защищать твое право говорить это! Джин, перестань смотреть влюбленными глазами на бедного мальчика. Я думал, что ты собираешься стать медицинской сестрой, а ты сделаешь меня дедушкой, когда мне еще не будет сорока! Ну, ладно...

Он вдруг вздохнул и выпил за жену.

— Мы никогда не попадем на небо, жена, но, по крайней мере, мы живем так, как нам нравится.

Позднее, прощаясь у парадного, Уилли крепко стиснул руку Фрэнсиса.

— Счастливо... Напиши, когда приедешь туда.

На следующее утро, в пять часов, когда было еще темно, на верфи загудел гудок. Его звук протяжно и печально разносился над оцепеневшим в тоске Дэрроу.

Еще не совсем проснувшись, мальчик вскочил с постели, натянул грубые рабочие брюки и, спотыкаясь, спустился вниз. Холод темного утра резко ударил ему в лицо. Уже начинал бледнеть рассвет. Фрэнсис присоединился к молчаливым дрожащим фигурам, с опущенными головами, и втянутыми в плечи. Люди направлялись к верфи. Прошли через помост с весами, мимо окошка контролера, в ворота...

Мрачные призраки кораблей на стапелях, смутно виднеясь, поднимались вокруг Фрэнсиса. Около недостроенного корпуса нового броненосца собиралась бригада Джо Мойра: Джо и его помощник-лудильщик, рабочие, два других мальчика-подручных и он сам. Фрэнсис разжег древесный уголь, раздул мехи под горном.

Молча, нехотя, словно во сне, бригада начала работать. Мойр поднял свой молот, и по всей верфи стал нарастать и усиливаться звенящий стук молотков. Держа раскаленные добела на жаровне заклепки, мальчик вскарабкался по лестнице и быстро втыкал их в отверстия в корпусе, где их, расплющивая, крепко забивали молотками. Это была тяжелая работа: у жаровни ребята обжигались до волдырей, на лестницах замерзали. Людям платили сдельно. Нужно было подавать заклепки быстро, быстрее, чем мальчики могли это делать. И они должны были быть достаточно раскалены. Если заклепки были неподатливы, рабочие бросали их обратно в мальчиков. Вверх и вниз по лестнице, к огню и от огня... Обожженный, закоптелый, с воспаленными глазами, задыхаясь и обливаясь, потом, Фрэнсис целый день обслуживал заклепщиков. После полудня работа пошла быстрее. Люди, казалось, отбросили всякую осторожность и не щадили себя: нервы их были напряжены. Последний час прошел в каком-то головокружительном ошеломлении. Мальчик, напрягая слух, ждал гудка с работы. Наконец, наконец-то он прозвучал! Какое блаженное облегчение! Фрэнсис остановился, облизывая потрескавшиеся губы, оглушенный наступившей тишиной.

Когда он шел домой, весь в саже, потный, сквозь гнетущую усталость пробивалась мысль: завтра... завтра... Глазам его вернулся лихорадочный блеск, он расправил плечи.

Вечером мальчик достал из тайника в печке, которую не топили, деревянный ящичек, вынул из него кучку серебра и медяков (как мучительно долго он их копил!) и сменял их на полсоверена. Фрэнсис нащупал золотую монету в глубоком кармане штанов и крепко сжал ее. От обладания таким богатством его охватила дрожь восторга. Мальчик немедленно попросил у миссис Гленни иголку и нитку. Она сначала по привычке резко осадил его, но необычное поведение Фрэнсиса внушило

ей подозрение и миссис Гленни искоса бросила на него пронизательный взгляд.

— Подожди! Там в верхнем ящике есть катушка, около картонки с иголками. Можешь взять, — она проводила его глазами.

В уединении своей жалкой комнаты с голыми стенами он завернул монету в клочок бумаги и крепко-накрепко зашил ее в подкладку своей куртки. Закончив дело, мальчик ощутил радость и уверенность в себе. Быстрее, чем обычно, Фрэнсис спустился вниз, чтобы отдать нитки миссис Гленни.

На следующий день, в субботу, верфь закрывалась в двенадцать часов. Мысль, что он никогда больше не войдет в эти ворота, наполняла его таким ликованием, что за обедом он почти не мог есть. Фрэнсис чувствовал, что слишком возбужден и охвачен нетерпением и это может вызвать какой-нибудь колкий вопрос миссис Гленни. Но к его великому облегчению, она ничего не сказала. Как только закончился обед, мальчик незаметно выскользнул из дома, быстро прошел Ист-стрит, а потом пустился со всех ног. Очутившись за городом, он перешел на быстрый шаг. Сердце пело у него в груди.

Подобные жалостные истории всегда до ужаса банальны: бесконечно повторяющееся бегство из несчастливого детства.

Но для Фрэнсиса это был путь к свободе. Только бы ему добраться до Манчестера! Там он найдет себе работу на ткацкой фабрике, он был уверен в этом, больше, чем уверен.

За четыре часа мальчик прошел пятнадцать миль до железнодорожного узла Олстид. Когда он подходил к станции, часы пробили шесть. Усевшись под фонарем на пустынной, продуваемой ветром платформе, Фрэнсис открыл перочинный нож, вспорол шов на своей куртке, достал сложенную бумажку и вынул из нее блестящую монету. На платформе появился носильщик, несколько пассажиров, затем открылась билетная касса. Очередь подошла быстро, и вот он уже просит билет.

— Девять шиллингов шесть пенсов, — сказал клерк, штампуя кусочек зеленого картона.

Фрэнсис вздохнул облегченно: в конце концов он не ошибся в цене билета. Он просунул монету сквозь решетку. Кассир выжидательно молчал.

— Ну, в чем дело? Я же сказал: девять шиллингов шесть пенсов.

— Я дал вам полсоверена.

— Да-а!? Ты дал мне полсоверена?! Попробуй-ка еще раз, парень, и я засажу тебя в тюрьму! — клерк с возмущением швырнул монету обратно. Это было не полсоверена, а новенький блестящий фартинг.

В мучительном оцепенении мальчик смотрел, как подошел поезд, как в него погрузили багаж, как он, дав свисток, ушел в ночь.

Голова его разламывалась от путаницы мыслей: тупо продираясь сквозь этот клубок, Фрэнсис вдруг наткнулся на решение загадки: шов, который он вспорол, был зашит не его неуклюжими стежками, а другими, — частыми и ровными. Мальчика словно озарило: он знает, кто взял деньги, — миссис Гленни!

В половине десятого за шахтерской деревней Сэндерстон, в густом мокром тумане, сквозь который не пробивался даже свет фонарей, человек в двуколке чуть не наехал на одинокую фигурку, бредущую посреди дороги. Лишь один человек мог оказаться в таком месте в такую ночь: доктор Таллох, сдерживая свою испуганную лошадь и свесившись с козел, всматривался сквозь туман; поток ругательств, которым он разразился с полным знанием дела, вдруг иссяк.

— Великий Господи Гиппократ! Это ты! Влезай! Ну, живо, пока кобыла не вывернула мне руки из суставов!

Таллох укутал своего пассажира пледом и отправился в путь, не задавая ему лишних вопросов, — он знал целительную силу молчания. Около половины одиннадцатого Фрэнсис пил горячий бульон у огня в столовой доктора. Сейчас, покинутая своими обитателями, комната была так неестественно тиха, что кошка мирно спала на коврике перед камином. Минуту спустя вошла миссис Таллох, волосы ее были заплетены в косы, на ночную рубашку надет незастегнутый халат. Она встала рядом с мужем, вглядываясь смертельно усталого мальчика, который погрузился в странную апатию и, казалось, не замечал ни их присутствия, ни их тихого разговора. Доктор подошел к нему, вынул стетоскоп и, по своему обыкновению, сказал с комическими ужимками:

— Даю голову на отсечение, что этот твой кашель — одно притворство.

Фрэнсис попытался улыбнуться, но не смог. Однако он послушно расстегнул рубашку и позволил доктору выстучать и выслушать его легкие. Когда Таллох выпрямился, его мрачное лицо приняло странное выражение. Весь его неистощимый запас юмора непостижимым образом улетучился. Он бросил быстрый взгляд на жену, закусил губу и внезапно дал кошке пинка.

— А, будь все это проклято! — закричал он. — Мы изнуряем наших детей на постройках военных кораблей! Мы эксплуатируем их в шахтах и на ткацких фабриках! Мы, христианская страна! Нет уж! Я горжусь тем, что я безбожник! — он резко, почти свирепо повернулся к мальчику. —

Слушай, Фрэнсис, кто эти люди, которых ты знал в Тайнкасле? Как, Бэннон, да? «Юнион таверна»? Теперь ступай домой и сейчас же в постель, если не хочешь подцепить пневмонию.

Мальчик пошел домой. Всякое сопротивление в нем было раздавлено. Всю следующую неделю миссис Гленни ходила с лицом мученицы, а Мэлком носил новый клетчатый жилет ценой в полсоверена.

Для Фрэнсиса это была ужасная неделя. Левый бок у него болел, особенно при кашле. Ему приходилось через силу тащиться на работу. Он смутно догадывался, что дед ведет бой за него. Но Дэниел потерпел полное поражение. Маленькому пекарю не оставалось ничего другого, как смиренно подсовывать ему пирожные с вишнями, которых мальчик не мог есть. Больше Дэниел ничего не мог сделать. Когда снова настала суббота, у Фрэнсиса не было сил выйти на улицу. Он лежал наверху в своей комнате, с безнадежной апатией глядя в окно. Вдруг он вскочил. Он еще не верил, но сердце его уже громко стучало. Внизу, на улице, медленно приближаясь, словно барка в чужих и опасных водах, плыла шляпа, — шляпа, которую нельзя забыть, единственная, которую не спутаешь ни с какой другой. Да, да! И зонтик с золотой ручкой, туго свернутый, и короткий котиковый жакет с плетеными пуговицами. Он слабо вскрикнул бледными губами:

— Тетя Полли!

Внизу скрипнула дверь. Фрэнсиса знобило, но он поднялся на ноги, прокрался вниз и, стараясь удержать равновесие, спрятался позади застекленной до половины двери. Полли стояла посреди комнаты, очень прямая, с поджатыми губами, и обводила глазами лавку с таким видом, будто ее очень забавлял этот осмотр. Миссис Гленни привстала ей навстречу. Мэлком развалился на прилавке, полуоткрыв рот, и изумленно переводил глаза с одной на другую. Наконец, взгляд тети Полли остановился где-то над головой булочницы.

— Миссис Гленни, если не ошибаюсь?

Миссис Гленни выглядела весьма неприглядно: в грязном утреннем капоте, ворот блузки расстегнут, на талии повисла развязавшаяся тесемка.

— Что вам угодно?

Тетя Полли подняла брови.

— Я приехала повидать Фрэнсиса Чисхолма.

— Его нет дома.

— В самом деле? Ну, что же, я подожду его.

Тетя Полли устроилась на стуле около прилавка, словно приготовилась ждать хоть целый день. Наступило молчание. Лицо миссис Гленни пошло грязно-красными пятнами. Она вполголоса сказала сыну:

— Мэлком! Сходи в пекарню и приведи отца.

Тот отрывисто ответил:

— Он пять минут назад ушел в миссионерское общество и не вернется до чая.

Полли отвела взгляд от потолка и начала с критическим видом рассматривать Мэлкома. Она слегка улыбнулась, когда он покраснел, и, удовлетворенная, стала смотреть в другую сторону. Булочница проявила первые признаки замешательства: она сердито вспыхнула.

— Мы здесь люди занятые, мы не можем сидеть тут с вами целый день. Я вам сказала, что мальчика нет дома. Очень возможно, что он вернется поздно, — он завел себе такую компанию... Фрэнсис просто замучил меня своими поздними отлучками и дурными привычками. Не правда ли, Мэлком?

Мэлком угрюмо кивнул.

— Вот видите! — стремительно продолжала миссис Гленни. — Если бы я вам все рассказала, вы были бы поражены. Но это не важно — мы христиане, мы заботимся о нем. Даю вам слово, что он совершенно здоров и счастлив.

— Очень рада слышать это, — сказала тетя Полли чопорно, вежливо прикрывая зевок перчаткой, — потому что я приехала забрать его.

— Что! — ошеломленная миссис Гленни теребила ворот блузки, то краснея, то бледнея.

— У меня имеется врачебная справка, — провозгласила тетя Полли грозно, с убийственным выражением, — что мальчик изнурен, переутомлен и что ему угрожает плеврит.

— Это ложь!

Полли вытянула из муфты письмо и многозначительно похлопала по нему ручкой зонтика.

— Вы умеете читать по-английски?

— Это ложь, отвратительная ложь! Он такой же откормленный и упитанный, как мой собственный сын.

Но тут произошла заминка — Фрэнсис, прижавшийся к двери и следивший за происходящим в томительном ожидании, оперся слишком тяжело на шаткую щеколду. Дверь открылась, и он вылетел на середину комнаты. Воцарилось молчание. Сверхъестественное спокойствие тети Полли усугубилось.

— Подойди ко мне, мальчик. И перестань дрожать. Ты хочешь остаться здесь?

— Нет, не хочу.

Полли посмотрела на потолок.

— Тогда иди и уложи свои вещи.

— Мне нечего укладывать.

Полли медленно встала, натягивая перчатки.

— Тогда нас ничто не задерживает.

Миссис Гленни, побелев от ярости, шагнула вперед.

— Вы не смеете так поступать со мной! Я подам в суд!

— Валяйте, моя милая, — Полли многозначительно убрала письмо в муфту. — Может быть, тогда мы узнаем, сколько из тех денег, что получили за мебель бедной Элизабет, вы потратили на ее сына и сколько на вашего.

Снова наступило убийственное молчание. Жена булочника стояла бледная, злобная, потерпевшая поражение, прижимая руку к груди.

— Да пусть его уходит, мать, — прохныкал Мэлком, — хорошо, что избавимся от него.

Тетя Полли, покачивая зонтиком, осмотрела его с головы до пят.

— Молодой человек, вы дурак! А вы, моя милая, — она поглядела поверх головы булочницы, — ничуть не умнее.

Взяв Фрэнсиса за плечо, она с триумфом вывела его, без шапки, из магазина.

Так они проследовали до станции. Ее рука, затянутая в перчатку, так крепко вцепилась в его рукав, будто он был каким-то редкостным созданием, которое она поймала и которое могло в любой момент ускользнуть от нее. Около станции она, не произнеся ни слова, купила ему пакет сухого печенья с тмином, капли от кашля и совершенно новую шляпу-котелок. В поезде тетя Полли сидела напротив него — безмятежная, неповторимая, выпрямившаяся — и смотрела, как он мочил печенье слезами благодарности, почти скрытый своей шляпой, которая сползала ему на самые уши. Полузакрыв глаза, она заметила:

— Я всегда знала, что эта тварь не леди. Ты совершил ужасную ошибку, дорогой мой Фрэнсис, позволив ей так подчинить себя. Теперь первым делом тебя нужно подстричь.

3

Чудесно было в эти морозные утра лежать, угревшись, в постели, пока тетя Полли не принесет завтрак — большую тарелку еще шипящей яичницы, бекон, кипящий черный чай и грудку горячих тостов — все это на

овальном металлическом подносе с вычеканенной надписью: «Старый эль Олгуда.» Иногда он просыпался рано, весь во власти охватившего его страха, потом приходило блаженное сознание, что ему теперь нечего бояться гудка. Всклипнув от облегчения, он еще глубже зарывался в толстое желтое шерстяное одеяло в своей уютной спальне, и рассматривал обои с душистым горошком, крашенные полки, вышитый шерстью коврик, маленький фарфоровый сосуд со святой водой и заткнутой возле него веточкой пасхальной вербы около двери, литографии на стенах (на одной — лошадь с пивоваренного завода в Олгуде, на другой — папа Григорий). Боль в боку у Фрэнсиса прошла, кашлял он редко, и щеки его начали округляться. Досуг был непривычен ему, как и ласка, и, хоть его тревожила неопределенность его будущего, он принимал его с благодарностью.

Было прекрасное утро последнего октябрьского дня. Тетя Полли уселась на краешек его кровати, убеждая его поесть.

— Заправляйся хорошенько, мальчик. Это все нарастет на твои ребрышки.

На тарелке лежали три яйца и хорошо поджаренный, хрустящий бекон — он и забыл, что еда может быть такой вкусной. Устанавливая поднос на коленях, Фрэнсис почувствовал в тете Полли какую-то необычную праздничность. Когда он поел, она с глубокомысленным видом сказала:

— А у меня есть для вас новости, молодой человек, если вы, конечно, в состоянии вынести их.

— Новости, тетя Полли?

— Немножко волнения, чтобы развеселить тебя после целого месяца скуки с Нэдом и со мной.

Она снисходительно улыбнулась, увидев живой протест в его теплых карих глазах.

— Ну, не можешь отгадать, что это?

Мальчик разглядывал ее с глубокой привязанностью, которую она пробудила в нем своей неустанной добротой. Некрасивое худое лицо, скверная кожа, длинная верхняя губа с пушком над ней, волосатое пятно на щеке — все это теперь казалось ему прекрасным.

— Я не могу догадаться, тетя Полли!

Она рассмеялась своим коротким резким смешком, тихонько пофыркивая от удовольствия, что ей удалось возбудить его любопытство.

— Что случилось с твоими мозгами, мальчик? Наверное, ты слишком много спишь, и они у тебя подпортились.

Он счастливо улыбнулся, совершенно соглашаясь с ней. И правда, до сих пор его жизнь, подчиненная режиму поправляющегося больного, была

очень спокойна. Тетя Полли сильно опасалась за его легкие — она боялась чахотки, которая нередко поражала ее семью, — и поэтому он обычно лежал в постели до десяти часов. Одевшись, Фрэнсис сопровождал тетю Полли в походах за покупками.

Это было величественное шествие по главным улицам Тайнкасла, а так как Нэд любил поесть и признавал только первоклассную еду, выбор птицы и мяса для стола производился с большой придирчивостью. Такие экскурсии помогали ему многое узнавать. Он видел, например, что тете Полли доставляло удовольствие, что ее знают в лучших магазинах и с ее желаниями считаются. Немного отчужденная и чопорная, она ждала, пока освободится ее любимый приказчик и обслужит ее. Не только в поступках, но и в одежде тетя Полли старалась походить на леди, быть изысканной. Правда, платья, которые шила для неё местная портниха, были столь безвкусны, что порой вызвали скрытые насмешки «простонародья». На улице она пользовалась целой серией поклонов различных оттенков. Если кто-нибудь из местных персон — землемер, санитарный инспектор или главный констебль — узнавал ее и здоровался с ней, тетя Полли испытывала большую, хотя и тщательно скрываемую радость. Выпрямившись, с трепещущей птичкой на шляпе, она шептала Фрэнсису:

— Это был мистер Остин, директор трамвайного парка, приятель твоего дяди... очень милый человек.

Наивысшее же удовольствие Полли получала, когда отец Джеральд Фитцджеральд, красивый представительный священник из церкви святого Доминика, при встрече дарил ее любезной, несколько снисходительной улыбкой. Каждое утро они заходили в церковь и, стоя на коленях и стараясь не смотреть на нее, Фрэнсис, тем не менее, замечал поглощенное молитвой лицо тети Полли, беззвучно шепчущие губы, благоговейно сложенные грубые потрескавшиеся руки. Потом она покупала что-нибудь для него — пару крепких башмаков, книгу, мешочек анисовых лепешек. Когда он протестовал, часто со слезами на глазах, видя как она открывает свой потрепанный кошелек, тетя Полли просто стискивала его руку и качала головой.

— Твой дядя и слушать не захочет твоих отказов.

Она трогательно гордилась своим родством с Нэдом и своей причастностью к «Юнион таверне». «Юнион» стояла около доков, на углу Кэнел-стрит и Дайк-стрит, откуда открывался великолепный вид на соседние многоквартирные дома, угольные баржи и конечную станцию новой конки. Отштукатуренное здание коричневого цвета было двухэтажным, и Бэнноны жили над таверной. Каждое утро в половине

восьмого Мэгги Мэгун, уборщица, открывала бар и начинала убирать его, разговаривая при этом сама с собой. Ровно в восемь спускался Нэд Бэннон, в подтяжках, но чисто выбритый, с напомаженными волосами, и начинал посыпать пол свежими опилками из ящика, стоящего за стойкой, в чём не было никакой необходимости, но это был своего рода ритуал. Потом он просматривал утреннюю газету, брал молоко и шел через задний двор кормить своих гончих. У него их было тринадцать — в доказательство того, что он не суеверен.

Вскоре начинали появляться завсегдатаи. В авангарде всегда ковылял к любимому углу на своих кожаных мягких кульях Скэнти Мэгун. За ним приходили несколько докеров и один-два вагоновожатых, возвращавшихся с ночной смены. Этот рабочий люд не задерживался: они оставались здесь ровно столько, сколько надо, чтобы пропустить глоток спиртного и запить его стаканом или пинтой пива. Но Скэнти оставался надолго. Он сидел и смотрел на Нэда, стоящего за стойкой из темного дерева с надписью в рамке: «Джентльмены ведут себя по-джентельменски и другие должны», вежливого, но не замечающего его, как смотрит с умильным видом верный сторожевой пес на своего хозяина. В свои пятьдесят лет Нэд был большой толстый мужчина, с полным желтоватым лицом и выпуклыми глазами, взгляд которых отличался спокойствием и торжественностью, подстать его темной одежде. Он не имел качеств, обычно приписываемых трактирщику — не был ни чрезмерно радушен, ни фальшиво приветлив. Нэд держался с каким-то величавым достоинством. Он гордился своей репутацией и своим заведением. Когда он был еще мальчиком, то узнал и нужду и голод. Несколько лет подряд был неурожаем картофеля, и его родителям пришлось покинуть Ирландию. Однако вопреки исключительно неблагоприятным обстоятельствам он преуспел в жизни. У Нэда был свободный от долгов дом, он ладил с местными властями и пивоварами, имел много влиятельных друзей. Нэд Бэннон, в сущности, являлся доказательством того, что питейное дело вполне респектабельно. Он был непреклонен с жаждающими выпить юнцами и грубо отказывался обслуживать любую женщину моложе сорока лет. «Семейного отделения» в «Юнион таверне» не было. Нэд ненавидел беспорядок, и при первом намеке на него начинал сердито стучать по стойке старым ботинком, всегда находящимся под рукой для этой цели, и стучал до тех пор, пока снова не водворялся порядок. Хотя он и сам был не дурак выпить, никто не видел его пьяным. Разве только его ухмылка становилась шире да глаза немного блуждали в те редкие вечера, которые он считал «случаями» для выпивки — например, день святого Патрика, или День всех святых, или после собачьей выставки, если одна из

его гончих прибавляла новую медаль к той коллекции, что на тяжелой часовой цепочке висела у него поперек живота. Во всяком случае, на другой день Нэд ходил с робким видом и посылал Скэнти за отцом Кланси, помощником приходского священника церкви святого Доминика. Исповедовавшись в задней комнате, он тяжело поднимался, отряхивал пыль с колен и совал в руку молодого священника золотой для бедных. Нэд испытывал здоровое уважение к духовенству, а отец Фитцджеральд, настоятель их прихода, внушал ему благоговейный страх.

Нэд считался человеком зажиточным — он хорошо ел, щедро подавал и, не слишком доверяя акциям и процентным бумагам, вкладывал деньги в «кирпичи и известку». Поскольку Полли была достаточно обеспечена тем, что было ей оставлено Майклом, ее материальное положение его не тревожило.

Хотя Нэд с трудом привязывался к людям, Фрэнсис, по его собственному осторожному выражению, расположил его к себе. Ему нравилась ненавязчивость мальчика, его немногословие, спокойная манера держаться, молчаливая благодарность. Хмурость юного лица, когда мальчик не знал, что на него смотрят, заставляла Нэда озадаченно морщить лоб и почесывать затылок.

После обеда, когда солнце уже склонялось к церкви, Фрэнсис часто сидел с ним в полупустом баре, осоловевший от сытной пищи, и вместе со Скэнти слушал добродушную болтовню Нэда. Скэнти Мэгун, муж и тяжкая обуза почтенной, но глуповатой Мэгги, был прозван так из-за того, что ему кое-чего не доставало^[9] — фактически тело его кончалось туловищем. Он потерял ноги вследствие гангрены, вызванной какой-то неизвестной болезнью кровообращения. Однако Скэнти сумел извлечь выгоду из своего недуга, незамедлительно запродав себя докторам и подписав документ, в силу которого после его смерти они получают его тело для анатомирования. Коль скоро деньги, вырученные от этой сделки, были пропиты, на старого, болтливого неудачника легла какая-то зловещая тень. Все стали смотреть на него со страхом, а хитрый бездельник начал возмущаться (в особенности когда был навеселе) и громко заявлять, что его обманули:

— Я продешевил! Проклятые спекулянты! Но им никогда не заполучить бедного старого Адама. К чёрту страх! Завербуюсь матросом и утоплюсь!

Иногда Нэд позволял Фрэнсису нацедить пива Скэнти, отчасти из милосердия, отчасти из желания доставить мальчику удовольствие от возни с «машиной». Когда ручка из слоновой кости возвращалась назад и кружка наполнялась, Скэнти с беспокойством кричал:

— Сделай на ней пену, мальчик!

А пенистое пиво пахло так пряно и вкусно, что Фрэнсису хотелось попробовать его. Нэд наливал ему пива, а потом весело улыбался, глядя на скривившееся лицо племянника.

— Надо войти во вкус, — важно утверждал он.

У него был целый набор таких избитых фраз, начиная с «Женщины и пиво несовместимы», до «Лучший друг человека — его фунтовый банкнот».

Благодаря частому повторению и свойственной им глубокой «мудрости», эти изречения считались настоящими афоризмами.

Самая сильная, самая нежная привязанность Нэда принадлежала Норе, дочери Майкла Бэннона. Нэд всецело посвятил себя племяннице, потерявшей брата, когда ей было три года, а еще чрез два года она лишилась отца. Оба умерли от туберкулеза, этой смертоносной болезни, столь губительной для кельтской расы. Он воспитал ее и тринадцати лет послал в монастырь святой Елизаветы, при котором был лучший пансион в Нортумберленде. Нэд чрезвычайно гордился, что платит за учебу Нору так дорого. С нескрываемым удовлетворением он наблюдал за успехами своей любимицы. Когда она приезжала домой на каникулы, Бэннон преображался: он делался живее, его никогда не видели в подтяжках, он непрестанно придумывал какие-нибудь экскурсии, изобретал развлечения и, чтобы, — не дай Бог! — что-нибудь не оскорбило Нору, становился гораздо строже в пивной.

— Ну... — тетя Полли немного укоризненно посмотрела на Фрэнсиса, — я уж вижу, что придется все сказать тебе. Во-первых, твой дядя решил сегодня позвать гостей, чтобы отпраздновать День всех святых... и... — она на миг опустила глаза, — и... еще по одной причине. У нас будет гусь, большая сдобная булка, изюм для игры в снэпдрегон^[10] и, конечно, яблоки. Дядя покупает особенные яблоки в саду Лэнга в Госфорте. Может быть, ты сходишь туда за ними сегодня днем? Это очень приятная прогулка.

— Конечно, тетя Полли. Только я не очень хорошо представляю себе, где это.

— Кое-кто проводит тебя туда, — она сдержанно выложила главный сюрприз: — кто-то, кто приедет домой из школы, чтобы провести с нами длинный уик-энд.

— Нора! — закричал он.

— Она самая, — тетя Полли кивнула, взяла его поднос и встала. — Дядя страшно доволен этим. А теперь одевайся побыстрее, как пай-мальчик. В одиннадцать часов мы все пойдем на станцию встречать

маленькую обезьянку.

Когда она ушла, Фрэнсис продолжал лежать, глядя прямо перед собой, в какой-то непонятной растерянности.

Неожиданное сообщение о приезде Нору застало его врасплох и пробудило в нем неожиданное волнение. Конечно, она ему всегда нравилась. Но сейчас предстоящая встреча с ней наполняла его каким-то необычным новым чувством, — с одной стороны, ему очень хотелось увидеть ее, но вместе с тем он робел. К своему изумлению и смущению, мальчик вдруг почувствовал, что краснеет до корней волос. Он поспешно вскочил и начал натягивать свои одежды.

Фрэнсис и Нора отправились за яблоками в два часа. Они проехали на трамвае через весь город до пригородного местечка Клермонт. Потом деревенским проселком направились к Госфорту. Взявшись за ручки большой плетеной корзины, дети несли ее, раскачивая из стороны в сторону. Фрэнсис не видел Нору целых четыре года. Сегодня за завтраком, когда Нэд превзошел сам себя в тяжеловесном юморе, он сидел, скованный каким-то дурацким косноязычием, да и сейчас все еще мучительно стеснялся ее. Фрэнсис помнил ее еще ребенком. Теперь ей было почти пятнадцать, и в своей длинной темно-синей юбке и корсаже она казалась совсем взрослой и более неуловимой и непонятной, чем когда-либо раньше. У нее были маленькие руки и ноги и маленькое живое, пикантное личико, которое мгновенно из очень смелого делалось странно робким. Хотя Нора была высока и неуклюжа, как все подростки, она была тонкой и стройной. Особенно выделялись непостижимо синие на бледном лице дразнящие глаза, непостижимо синие на бледном лице. Сейчас, на холоде, они, казалось, искрились, а маленькие ноздри порозовели. Когда его пальцы случайно дотрагивались до Нориных, Фрэнсис испытывал горячее смущение. Никогда еще не ощущал он ничего более приятного, чем прикосновение ее рук. Фрэнсис не мог говорить и не смел взглянуть на нее, хотя иногда чувствовал, как она смотрит на него и улыбается.

Золотой пожар осени уже погас, но леса все еще сохраняли красный отсвет последних угольков. Никогда еще краски деревьев, полей, неба не казались мальчику такими яркими, они словно пели у него в душе.

Вдруг Нора расхохоталась и, отбросив волосы назад, бросилась бежать. Связанный с ней корзиной, он, как ветер, несясь рядом.

— Не обращай на меня внимания, Фрэнсис, — сказала она, наконец остановившись и задыхаясь. Ее глаза сверкали, как иней солнечным утром. — Я иногда бешусь вот так, ничего не могу с собой поделать. Может быть, это оттого, что я избавилась от школы.

— Разве тебе там не нравится?

— Мне и нравится и не нравится. Там и весело и строго. Ты можешь себе представить, — она засмеялась простодушно и смущающе, — они нас заставляют надевать ночные рубашки, когда мы купаемся. Скажи-ка, ты думал когда-нибудь обо мне за то время, что мы не виделись?

— Да, — ответил он, запинаясь.

— Я рада этому. Я тоже думала о тебе.

Девочка быстро взглянула на него, будто хотела что-то сказать, но промолчала. Вскоре они добрались до цели своего путешествия. Джорди Лэнг, добрый приятель Нэда и владелец сада, жёг полуую листву, он заметил ребят из-за полуоблетевших деревьев и дружески кивнул им, приглашая присоединиться к нему. Они стали сгребать шуршащие коричневые и желтые листья к большой тлеющей куче, которую Лэнг уже соорудил, до тех пор, пока дым не пропитал их одежду. Это была не работа, а восхитительная игра. Забыв недавнее смущение, дети состязались в том, кто больше нагребет. Когда у Фрэнсиса уже была большая копна листьев, озорница Нора отгребла ее к себе. Их смех звенел в свежем прозрачном воздухе. Джорди Лэнг только широко ухмылялся.

— Таковы женщины, мальчуган. Взяла твою кучу, да еще смеется над тобой.

Наконец Лэнг поманил их к деревянному сараю в конце сада, где складывались яблоки.

— Вы заработали себе на пропитание. Идите и угощайтесь! — крикнул он им. — И передайте мое почтение мистеру Бэннону. Скажите ему, что я загляну как-нибудь на этой неделе пропустить глоточек.

В сарае стоял мягкий сумеречный полумрак. Они влезли по приставной лестнице на чердак, где на соломе были разложены бесчисленные ряды рибстон пеппинов, которыми славился сад.

Пока, согнувшись под низкой крышей, Фрэнсис наполнял корзину, Нора уселась, скрестив ноги, на солому, выбрала яблоко, потеряла его до блеска о свое худенькое бедро и принялась есть.

— Вот это да! — сказала она. — Попробуй-ка, Фрэнсис.

Он сел напротив и взял яблоко, которое она ему протянула. Оно действительно было необыкновенно вкусно. Они ели, весело разглядывая друг друга. Когда мелкие зубы Норы прокусывали янтарную кожицу и вонзались в белую хрустящую мякоть, тоненькие струйки сока стекали у нее по подбородку. На этом маленьком темном чердаке мальчик уже не испытывал такого смущения. Ему было тепло и хорошо, словно во сне. Радость жизни переполняла его. Их глаза, непрестанно встречаясь,

улыбались; но у нее это была какая-то странная полуулыбка, как бы уходящая внутрь, будто она улыбалась самой себе.

— А ну-ка, съешь эти семечки, — вдруг поддразнила она. Потом быстро сказала: — Нет, нет, Фрэнсис, не надо. Сестра Маргарет Мэри говорит, что от этого делаются колики. Кроме того, из каждого такого семечка вырастет яблоня. Вот забавно, верно? Слушай, Фрэнсис, ты любишь Полли и Нэда?

— Очень, — он удивленно посмотрел на нее. — А ты разве не любишь?

— Люблю, конечно... Мне только не нравится, когда Полли трясется надо мной каждый раз, как я закашляю... и еще я терпеть не могу, когда Нэд сажает меня на колени и ласкает...

Она запнулась и впервые опустила глаза.

— А вообще-то глупости, я не должна так говорить. Сестра Маргарет Мэри считает меня бесстыдной, а ты тоже так считаешь?

Фрэнсис смущенно отвел глаза. С мальчишеским пылом он отверг обвинение одним вырвавшимся сразу словом:

— Нет!

Девочка улыбнулась почти робко.

— Мы с тобой друзья, Фрэнсис, поэтому я скажу тебе: плевать на старую Маргарет Мэри! Скажи мне, когда ты будешь взрослым, кем ты собираешься стать?

Он изумлено вытаращил на нее глаза.

— Я не знаю. А что?

Она с внезапным волнением принялась теревить подол платья.

— А, ерунда... только... ну... ты мне нравишься. Ты мне всегда нравился. Все эти годы я очень много думала о тебе и было бы очень неприятно, если бы ты... опять исчез.

— Да почему же я должен исчезнуть? — засмеялся он.

— Ты сейчас здорово удивишься! — ее все еще детские глаза широко открылись. — Я знаю тетю Полли... И сегодня я опять слышала, как она говорила, что отдала бы все на свете, лишь бы сделать тебя священником. А тогда тебе придется от всего отказаться, даже от меня.

Прежде чем Фрэнсис смог что-нибудь ответить, она вскочила на ноги и стала отряхиваться с напускным оживлением.

— Ну, пошли. Что мы, как дураки, сидим тут целый день! Просто смешно, когда на улице светит солнышко, да к тому же у нас сегодня гости.

Он хотел встать.

— Нет, подожди минуточку. Закрой глаза и ты что-то получишь.

И не успел Фрэнсис выполнить ее требование, как Нора молниеносно нагнулась и быстро чмокнула его в щеку. Его ошеломило это быстрое теплое прикосновение, ощущение ее дыхания, близость ее худого личика с крошечной коричневой родинкой на щеке. Вся ярко вспыхнув, она неожиданно скользнула вниз по лестнице и выбежала из сарая. Он медленно последовал за ней, густо покраснев и потирая маленькое влажное пятнышко на щеке, словно это была рана. Сердце его громко стучало.

Вечеринка в честь Дня всех святых началась в семь часов. Нэд, как дозволено неограниченному властелину, закрыл бар на пять минут раньше положенного срока. Всех посетителей, за исключением немногих избранных, попросили уйти. Гости собрались наверху в гостиной, украшенной стеклянными коробками восковых фруктов, портретом Парнелла^[11] на потолке, над люстрой голубого стекла, фотографией Нэда и Полли в бархатной рамке, запечатлевшей их в прогулочной машине из мореного дуба, — в память о посещении Килларни, аспидистой^[12] и лакированной дубинкой, что висела рядом на зеленой ленте. Массивная мягкая мебель испускала клубы пыли, когда на нее садились всей тяжестью. Стол красного дерева, с толстыми ножками и, похожими на страдающих водянкой женщин, был раздвинут и накрыт на двадцать персон. Жар от угля, которым чуть не доверху набили камин, мог бы довести до изнеможения даже исследователя Африки. Вкусно пахло жарким из птицы. Мэгги Мэгун, в чепце и фартуке, носилась как угорелая. В переполненной комнате находились: молодой священник отец Кланси, Тадеус Гилфойл, несколько местных торговцев, мистер Остин, директор трамвайного парка, с женой и тремя детьми само собой разумеется, Нэд, Полли, Нора и Фрэнсис. Среди этого шума и суматохи стоял с шестипенсовой сигарой во рту Нэд, излучая благоволение. Он что-то говорил нравоучительным тоном своему другу Гилфойлу — бледному молодому человеку лет тридцати, слегка простуженному, весьма прозаического вида. Он был клерком на газовом заводе, а в свободное время собирал плату с жильцов дома на Вэррел-стрит, принадлежащего Нэду. Еще Тадеус прислуживал в церкви святого Доминика. На него твердо можно было рассчитывать: он всегда готов был оказать услугу или выполнить случайное поручение, постоянно всем поддакивал, так как в голове у него не было ни одной мысли, которую он мог бы назвать своей собственной, он не знал противоречий, однако неизменно как-то ухитрялся оказываться там, где был нужен, — скучный и надежный, кивающий в знак согласия, с не проходящим никогда насморком, с привычкой теревить

пальцами значок какого-то религиозного братства, с рыбьими глазами и плоскими ступнями, торжественный и положительный, словом, Гилфойл был, что называется, степенным человеком.

— Вы скажете речь сегодня? — спрашивал он Нэда таким тоном, который давал понять, что если Нэд речи не скажет, то мир будет безутешен.

— Ах, я, право, не знаю, — со скромным, но многозначительным видом ответил Нэд, созерцая кончик своей сигары.

— Нет уж, вы скажете, Нэд!

— Гости вовсе и не ждут этого.

— Простите, Нэд, но я осмелюсь не согласиться с вами.

— Вы думаете, я должен сказать? Гилфойл торжественно заявил:

— Нэд! Вы должны сказать и вы скажете!

— Вы думаете, мне следовало бы...

— Вам следует, Нэд, и вы это сделаете.

Очень довольный, Бэннон перекачивал во рту сигару.

— Вообще-то мне нужно... — он многозначительно подмигнул, — мне нужно объявить... я хочу сделать одно важное сообщение. Ну, раз уж вы меня вынуждаете, я скажу потом несколько слов.

В виде своего рода увертюры к главному событию дня дети с Полли во главе начали игры, сопутствующие Дню всех святых. Сначала играли в снэпдрегон, пытаясь выхватить плоские синие изюминки из пламени горящего на большом фарфоровом блюде спирта. Потом играли в «ныряющее яблоко», бросая зубами вилку через спинку стула в лохань с плавающими яблоками. В семь часов явились «ряженные». Это были рабочие ребята с вымазанными сажей лицами, в нелепых нарядах, — они ходили из дома в дом с пением и пантомимами, как полагалось по традиции в канун Дня всех святых. Эти парни знали, чем угодить Нэду. Они спели «Милый маленький трилистник», «Кэтлин Мэворнин» и «Дом Мэгги Мэрфи», за что получили щедрые дары и, громко топая, ушли.

— Спасибо, мистер Бэннон! Да здравствует «Юнион»! Спокойной ночи, Нэд!

— Хорошие ребята! Все они, как один, хорошие ребята, — Нэд потирал руки, глаза его были увлажнены потому что, как всякий потомок кельтов, он был сентиментален. — Однако, Полли, у наших друзей уже подвело животы!...

Наконец, когда вся компания уселась за стол и отец Клэнси прочел молитву, Мэгги Мэгун с трудом внесла самого большого гуся в Тайн-касле. Фрэнсис никогда еще не ел такого, — он был восхитительно ароматен и

просто таял во рту. Тело Фрэнсиса приятно горело от долгой прогулки на свежем воздухе и от какой-то звенящей внутренней радости. Время от времени его глаза застенчиво встречались через стол с глазами Норы. Фрэнсис поражался, как глубоко они с Норой без слов понимали друг друга. Хотя сам он был очень тих, ее веселость возбуждала его. Чудо этого счастливого дня, тайная нить, протянувшаяся между ними, наполняли его чувством, похожим на боль. Когда ужин был окончен, Нэд медленно поднялся. Его встретили аплодисментами.

Он встал в позу оратора, сунув пальцы подмышки. Его волнение производило нелепое впечатление.

— Ваше преподобие, леди и джентльмены! Благодарю вас всех и каждого в отдельности. Я не умею говорить (крик Тадеуса Гилфойла: «Нет, нет!»). Я говорю, что думаю, и думаю, что говорю. (Во время маленькой паузы, Нэд собирает с духом). Я люблю, когда вокруг меня мои друзья, когда они счастливы и довольны, — хорошая компания и хорошее пиво никогда никому не повредят. (Тут его прервал с порога Скэнти Мэгун, который умудрился проникнуть в дом вместе с ряжеными, да так тут и остался. «Храни вас Бог, мистер Бэннон! — крикнул он, потрясая гусиной ножкой. — Вы хороший человек!» Нэд остался невозмутимым, что делать, у каждого великого человека имеются прихлебатели!) Как я говорил, когда муж миссис Мэгун запустил в меня кирпичом... /смех/ Я хочу воспользоваться тем, что мы собрались. Я уверен, что все мы, находящиеся здесь, каждый сын своей матери и каждая дочь, горды и довольны тем, что можем оказать сердечный прием мальчику брата моей бедной жены! (Громкие аплодисменты и голос Полли: «Поклонись, Фрэнсис!») Я не буду вдаваться в прошлое. Пусть мертвые хоронят мертвых, говорю я. Но я говорю, и я скажу это — посмотрите на него сейчас, говорю я, и вспомните, каким он приехал! (Аплодисменты и голос Скэнти в коридоре: «Мэгги, ради Бога, принеси мне еще кусочек гуся!») Ну, я не из тех, кто сам себя хвалит. Я стараюсь воздавать должное Богу, и людям, и животным. Посмотрите на моих гончих, если вы мне не верите. (Голос Гилфойла: «Лучшие собаки в Тайн-касле!» Последовала более длительная пауза, потому что Нэд потерял нить своей речи). — «О чем это я говорил?» — «О Фрэнсисе», — быстро подсказала Полли. — «А, да!..» — Нэд повысил голос. — Когда Фрэнсис приехал, я и говорю себе, я так говорю — вот мальчик, который может быть полезен. Что же, запихнуть его за стойку и пусть зарабатывает себе на жизнь? Нет, ей Богу, — извините за выражение, отец Клэнси, — мы не такие люди. Мы с Полли все обсудили. Мальчик молод, с мальчиком плохо обращались, у мальчика будущее впереди,

мальчик сын брата моей бедной покойной жены. Давай-ка пошлем его в колледж, говорим мы, мы можем это сделать. (Нэд помолчал). Ваше преподобие, леди и джентльмены! Я счастлив и горд сообщить, что в будущем месяце Фрэнсис отправится в Холиуэлл!

Произнеся последнее слово, как торжествующий заключительный аккорд своей речи, Нод, весь в испарине, сел под гром аплодисментов.

4

На подстриженные лужайки Холиуэлла уже легли длинные тени вязов, но северный июньский вечер был светел, как полдень. Темнота наступит так поздно, так близко к рассвету, что северная заря лишь мимолетно блеснет на высоком бледном небе. Фрэнсис сидел у открытого окна в высоком маленьком кабинете, которым он пользовался вместе с Лоренсом Хадсоном и Ансельмом Мили с тех пор, как был переведен в «философы». Он не мог сосредоточить внимание на записной книжке — прелестный вид, расстилавшийся перед ним, приковывал его взгляд, пробуждая в нем грустные мысли о мимолетности красоты.

Со своего места Фрэнсис видел всю школу — благородное баронское поместье из серого гранита было построено сэром Арчибальдом Фрейзером в 1609 году, а в нашем веке передано в дар католическому колледжу. Часовня в том же строгом стиле была соединена крытой аркадой с библиотекой и образовывала поросший дерном четырехугольник. За ними располагались площадки для игры в гандбол и футбольное поле, где еще шла игра. Еще дальше извивалась тонкая лента реки Стинчер и простиралась широкой полосой пастбища с флегматично пасущимися тучными черными коровами; буки, дубы и рябины окружали домик привратника, а совсем вдали виднелись синие, слегка зубчатые Грампианские горы.

Сам того не замечая, Фрэнсис вздохнул. Будто только вчера он высадился в Доуне, узловой станции на севере страны, — новичок, страшющийся до полусмерти той неизвестности, что ожидала его впереди... а страшный первый разговор с директором школы, отцом Хэймишем Мак-Нэббом... Фрэнсис очень хорошо помнил, как Рыжий Мак, грозный маленький шотландец, кровная родня ирландским Мак-Нэббам, пригнулся к своему письменному столу, словно собираясь напасть, и воззрился на него из-под кустистых рыжих бровей.

— Ну, мальчик, что ты умеешь делать?
— С вашего позволения, сэр, ничего...
— Ничего! И шотландский флинг не умеешь танцевать?!
— Нет, сэр.
— Вот так-так! С таким именем, как Чисхолм?!
— Мне очень жаль, сэр.
— Хм! Не очень-то много от тебя проку, а мальчик?
— Да, сэр. Разве только, сэр... — дрожа сказал он, — ...может быть, я умею удить.

— Может быть? А? — на губах Мак-Нэбба появилась неторопливая ироническая усмешка. — Тогда, может быть, мы с тобой подружимся. — Его усмешка стала шире. — Клан Чисхолмов и клан Мак-Нэббов удили вместе, да и сражались вместе, когда нас с тобой еще и в помине не было. Ну, а теперь беги, пока я не отколотил тебя палкой.

... А теперь еще один семестр, и он покинет Холиуэлл. Снова его взгляд скользнул вниз, к небольшим группам, прохаживающимся взад и вперед по усыпанным гравием террасам около фонтана. Семинарский обычай! Ну, и что из этого? Большинство из них отправится отсюда в семинарию Сан-Моралес в Испании. Среди других гуляющих Фрэнсис различил своих товарищей по комнате, они ходили вместе. Ансельм, как всегда не скрывавший своих привязанностей, нежно взял под руку своего спутника. Тот прохаживался, по привычке жестикулируя, но в меру, как и подобает абсолютному чемпиону кубка доброго товарищества Фрейзера. Сзади них, окруженный своими поклонниками, шагал отец Тэррент — высокий, темный, худой, сосредоточенный, отчужденный и одновременно насмешливый... При виде этого младожового священника лицо Фрэнсиса приняло не свойственное ему жесткое выражение. Он с отвращением посмотрел на открытую записную книжку на подоконнике перед ним, взял перо и, помедлив минуту, начал писать. Решительно сдвинутые брови не портили чистых очертаний его загорелого лица и темной ясности его карих глаз. К восемнадцати годам тело его приобрело гибкую грацию. Светлая чистота облика юноши, какой-то присущий ему вид нетронутости и трогательности странным образом усиливали его физическую привлекательность, но неизменно доставляли ему — увы! — немало горьких унижительных минут.

«14-го июня 1887г.

Сегодня случилось нечто столь удивительное, сенсационное и выходящее за рамки всех правил, что я должен отыгаться на этом противном дневнике (и на отце Тэрренте!), записав это. По существу мне

не следовало бы терять этот час перед вечерней — потом Ансельм припрет меня к стенке и заставит идти играть в мяч — мне нужно было бы коротко записать: Вознесенье... чудесный день... незабываемое приключение со свирепым Маком... и этим ограничиться. Но даже наш язвительный заведующий учебной частью признает одну мою врожденную добродетель — добросовестность. Сегодня после своей лекции он сказал мне:

— Чисхолм! я бы посоветовал вам вести дневник. Не для печати, конечно, — он не мог не блеснуть своей адской иронией, — а так... как своего рода испытание совести... Вы, Чисхолм, чрезмерно подвержены такому духовному упрямству. Если бы вы записывали свои сокровенные мысли... если бы вы смогли это делать... вам, может быть, удалось бы избавиться от этого.

Я, конечно, покраснел, как дурак, и вспыхнул:

— Вы хотите сказать, отец Тэррент, что я не подчиняюсь тому, что мне говорят?

Он еле глянул на меня, — руки привычно засунуты в рукава сутаны, худой, темный, со сжатыми губами и... такой неопровержимо умный! Видя, как он старается скрыть свою неприязнь ко мне, я вдруг живо представил себе грубую рубашку, которую он носит, и железную дисциплину, которой он, — я знаю это, — беспощадно себя мучает. Он ответил уклончиво:

— Бывает непослушание ума... — и ушел.

Может быть, это самомнение — воображать, что он так терпеть меня не может потому, что я не стараюсь подражать ему во всем? Большинство из нас делает это. С тех пор, как он приехал сюда два года назад, вокруг него образовался настоящий культ, с Ансельмом в роли дьякона. Вероятно, он не может забыть, тот случай, когда после его лекции о „единой, истинной и апостольской религии“ я вдруг сказал:

— Но, сэр, принадлежность к тому или другому вероисповеданию является, безусловно, такой случайностью рожденья, что Бог не может придавать ей столь исключительного значения.

В испуганной тишине, которая наступила вслед за этим, он стоял в замешательстве, но холодный, как лед.

— Какой великолепный еретик получился бы из вас, мой милый Чисхолм!

Но по одному пункту, по крайней мере, мы находимся в полном согласии: мы оба убеждены, что я никогда не стану священником. Я пишу смехотворно напыщенно для неоперившегося восемнадцатилетнего юнца. Может быть, это и называется аффектацией, присущей моему возрасту. Но

я очень обеспокоен... я беспокоюсь по нескольким причинам. Во-первых, я ужасно, — наверное, и нелепо, — беспокоюсь о Тайнкасле. Я думаю, что человек неизбежно теряет связь с домом, если его отпуск продолжается каких-то четыре недели. Эти короткие летние каникулы — единственное суровое ограничение, применяемое в Холиуэлле — может быть, и оправдывает себя, помогая людям укрепиться в своем призвании, но оно также подстегивает ваше воображение. Нэд никогда не пишет. Его общение со мной за эти три года, что я провел в Холиуэлле, осуществлялось посредством внезапных и фантастических продовольственных посылок: колоссальный мешок грецких орехов, присланный в первую мою зиму здесь, и прошлой весной — корзина бананов. Три четверти из них были перезрелы и вызвали здесь пренекрасивую эпидемию среди „духовенства и мирян“. Но даже и в молчании Нэда есть что-то странное, а письма тети Полли еще больше настораживают меня.

Ее милые неподражаемые сплетни обо всех событиях в нашем приходе заменились скудным перечислением фактов и, главным образом, сообщениями о погоде. И эта перемена тона произошла совершенно неожиданно. Нора, естественно, ничем мне в этом не помогла. Она-то вообще настоящая „открыточная“ девочка: все свои обязанности по писанию писем она ограничивает несколькими словами, нацарапанными раз в год у моря.

Однако, прошли уже, кажется, века с тех пор, как она прислала свою последнюю открытку с видом: „Закат на набережной в Скарборо“, а два мои последние письма не удостоились даже ответного „Луна над гаванью в Уитли“. Милая Нора! Я никогда не забуду того вечера в яблочном сарае. Это из-за тебя я с таким нетерпением жду приближающихся каникул. Интересно, пойдем ли мы опять в Госфорт? Затаив дыхание, я наблюдал, как ты растешь, как развивается твой характер (я имею ввиду все его противоречия). Я знаю, какая ты живая, застенчивая, храбрая, обидчивая, веселая, немножко испорченная лестью, но полная невинности и жизнерадостности. Даже сейчас я вижу перед собой твое озорное маленькое личико, вижу, как оно все светится задором, когда ты удивительно талантливо изображаешь тетю Полли или меня... — ты подбоченилась своими худенькими ручками, твои синие глаза вызывающе блестят... и вот ты уже несешься в веселом и лукавом танце. Вся ты такая земная и полная жизни... даже эти вспышки раздражительности и приступы дурного настроения, что неизменно кончаются рыданиями, сотрясающими твое хрупкое тело... И, несмотря на все твои недостатки, у тебя такое теплое и порывистое сердечко (я же это знаю!) Это оно

заставляет тебя бежать с внезапным румянцем стыда к тому, кого ты невольно обидела... Я часто лежу без сна и думаю о тебе и вижу взгляд твоих глаз, а когда я представляю себе худенькие ключицы над маленькими круглыми грудями, меня заливают нежность и жалость...» Фрэнсис остановился, внезапно вспыхнул и вычеркнул последнюю строчку. Потом добросовестно возобновил свое занятие.

«Во-вторых, хотя это и эгоизм, но меня беспокоит мое будущее. Теперь я образованнее — тут отец Тэррент опять согласится со мной — людей моего круга. Мне остается еще один семестр в Холиуэлле. Что же, после этого я должен с благодарностью вернуться к пивным кружкам „Юнион таверны“? Я больше не могу быть в тягость Нэду или, вернее, Полли, так как я недавно совершенно случайно узнал, что плату за мое ученье посылала из своих скромных доходов она, эта удивительная женщина! Я сам запутался в своих стремлениях. Моя любовь к тете Полли, моя безграничная благодарность заставляет меня страстно желать отплатить ей за ее добро. А ее самое заветное желание видеть меня священником. К тому же в таком месте, как это, где три четверти студентов и большинство твоих друзей будут священниками, трудно устоять перед притягательностью единой цели. Хочется занять свое место в общих рядах. Независимо от Тэррента отец Мак-Нэбб считает, что из меня получится хороший священник. Я чувствую это, когда он смотрит на меня с умным дружеским вызовом и в его почти богоподобном умении ждать. А он, директор колледжа, уж конечно, разбирается в том, есть ли у кого призвание или нет.

Конечно, я слишком порывист и горяч, и мое смешанное воспитание породило во мне некоторый еретический выверт. Я не могу претендовать на то, чтобы быть причисленным к тем „благословенным“ юношам, — а ими кишит наша библиотека, — которые с раннего детства уже лепетали молитвы, а позднее устраивали часовни в лесу и делали выговоры маленьким девочкам, толкавшим их на деревенской ярмарке: „Уйди, Тереза, (или Аннабель), я не для тебя“.

Но как описать те мгновения, которые иногда наступают совершенно внезапно: когда идешь один по дороге к Доуну, или когда вдруг проснешься в темноте своей безмолвной комнаты, или когда останешься абсолютно один в пустой церкви, где еще веет дыхание жизни и которую только что покинула шаркающая, кашляющая, перешептывающаяся толпа; моменты странных предчувствий, непостижимого прозрения... Это не тот сентиментальный экстаз, который так же отвратителен мне сейчас, как был отвратителен всегда (спрашивается, почему мне всегда становится тошно, когда я вижу восторг на лице руководителя новициев^[13]), — нет, это

чувство утешения, надежды.

Зачем я пишу все это, хотя оно и не предназначено для посторонних глаз? Такие интимные переживания на бумаге выглядят унылым вздором. Но я должен сказать о том ощущении своей неотвратимой принадлежности Богу, которое пронзает меня сквозь тьму, о глубоком убеждении, что в этой размеренно, согласованно, неумолимо движущейся вселенной человек не возникает из ничего и не исчезает в ничто. И в этом — не странно ли это? — я чувствую влияние Дэниела Гленни, милого чудаковатого „святого Дэна“, чувствую на себе его теплый неземной взгляд...

Ах, к чёрту все! И Тэррента туда же! Я и в самом деле изливаю свою душу. Если я такой уж „святой“, почему же я ничего не делаю для Бога? Почему я не борюсь с равнодушием, охватившим такое множество людей? Почему я не борюсь с материализмом, который с глумливой усмешкой завладевает современным миром... короче говоря, почему же я не становлюсь священником?.. Ну, что ж... я должен быть честным. Я думаю, что это из-за Норы. Красота и нежность моего чувства к ней переполняют мне сердце. Ее светлое милое личико стоит у меня перед глазами, даже когда я в церкви молюсь Пресвятой Деве. Милая, милая Нора. Ты истинная причина того, что я не беру билета на небесный экспресс в Сан-Моралес».

Он перестал писать, и взгляд его устремился куда-то вдаль. Лицо его приняло отрешенно-мечтательное выражение, лоб слегка нахмурился, но губы улыбались. С усилием Фрэнсис снова сосредоточился.

«А теперь я должен вернуться назад и рассказать о том утре и Свирепом Маке. Так как это был обязательный праздник, то в моем распоряжении было все утро. По пути к сторожке, куда я шел опустить письмо, я наткнулся на директора, возвращавшегося со Стинчера с удочкой и без рыбы. Он остановился, опираясь коротким плотным телом на багор. Его красное лицо под пламенем рыжих волос было смущенным и нахмуренным. Я люблю Свирепого Мака. Думаю, что он тоже привязан ко мне. Это объясняется очень просто — оба мы шотландцы до мозга костей и оба рыболовы... только мы двое во всей школе. Когда леди Фрейзер передала колледжу часть находящегося в ее владении Стинчера, Свирепый Мак заявил, что река принадлежит ему — он был страстный рыболов. По этому поводу „Холиуэлл Монитор“ поместила стишок, начинающийся словами:

Не позволю дуракам
Подходить к моим прудам.

Вот какую историю рассказывают о нем: однажды он служил мессу в замке Фрейзеров. Вдруг в самой середине службы в окно часовни просунулась голова его верного друга, пресвитерианца Джилли; казалось, он сейчас лопнет от сдерживаемого волнения.

— Ваше преподобие! Она, как безумная, идет в Локаберпул!

Никогда еще месса не была отслужена так быстро. Над ошеломленными прихожанами, среди которых была сама леди Фрейзер, были скороговоркой произнесены молитвы, с головокружительной быстротой им было дано благословение, а затем из сакристии^[14], как молния, вылетело нечто черное, похожее на дьявола, каким его представляют в этих местах.

— Джок, Джок! В какую сторону она идет?

Сейчас он смотрел на меня с негодующим видом.

— Ни одной рыбы! И как раз, когда мне так нужно было бы поймать хоть одну для наших знатных гостей!

(Епископ нашей епархии и уходящий в отставку ректор английской семинарии в Сан-Моралесе ожидалось в этот день к завтраку).

Я сказал:

— В Глиб-пуле есть одна рыба, сэр.

— Во всей реке нет ни одной рыбы, нет даже ни одного молодого лосося... Я был на реке с шести часов.

— Это большая рыба.

— Воображаемая!

— Я видел ее там вчера под запрудой, но, конечно, я не посмел попробовать поймать ее.

Он посмотрел на меня из-под своих рыжих бровей и сурово улыбнулся.

— Ты порочный демон-искуситель, Чисхолм. Если тебе охота зря тратить время, что ж, пожалуйста, я не возражаю, — он протянул мне свою удочку и ушел.

Я пошел к Глиб-пулу. Сердце прыгало у меня в груди, как всегда при шуме бегущей воды. Я уселся удить в заводи и удил около часа. Семга очень редко попадает в это время года. Один раз мне показалось, что темный плавник мелькнул в тени противоположного берега, но рыба не клевала. Вдруг я услышал осторожное покашливание. Я быстро обернулся. Свирипый Мак в своих лучших черных одеждах, в перчатках и парадном цилиндре остановился по пути на станцию Доун, куда он шел встречать гостей, чтобы выразить мне свое соболезнование.

— Да, Чисхолм, эти большие рыбы всегда достаются труднее всего, —

сказал он с замогильной усмешкой.

Пока он говорил, я в последний раз закинул удочку ярдов на тридцать через заводь. Она попала как раз в пену, крутящуюся в небольшом водовороте в дальнем конце запруды. В следующее мгновение я почувствовал, что рыба взяла, подсек и крепко вцепился в удочку.

— У тебя клюет! — закричал Свирепый Мак.

Потом из воды фута на четыре в воздух выскочила семга. Хоть я и сам чуть не свалился, но на Мака это произвело просто ошеломляющий эффект. Я почувствовал, что он застыл рядом со мной.

— Бога ради! — невнятно бормотал он, охваченный благоговейным страхом.

Такой большой семги я еще никогда не видел, ни здесь в Стинчере, ни в сетях моего отца в Твидсайде.

— Держи ей голову кверху! — вдруг заорал Свирепый Мак. — Парень, парень, стукни ее по голове!

Я старался изо всех сил. Но сейчас рыба управляла мной. Безумным неистовым броском она устремилась вниз по течению. Я побежал за ней. Свирепый Мак побежал за мной. Стинчер в Холиуэлле совсем не похож на Твид. Он несется коричневым стремительным потоком по узким ущельям, поросшим соснами, прыгая по скользким валунам и высоким глинистым уступам. Через десять минут мы с Маком пробежали уже с полмили вниз по реке и здорово умучились. Но рыбу я пока не упустил.

— Держи ее! Держи ее! — Мак охрип от крика. — Дурак! Ну что за дурак! Не пускай ее в заводь, не пускай!

Но рыбина, конечно, уже ушла туда и нырнула в глубокую яму, запутав грузило в массе затонувших корней.

— Отпусти ее! Отпусти ее немножечко! — Мак даже припрыгивал от страха и волнения. — Отпусти ее чуть-чуть, а я стукну ее камнем.

Осторожно, чуть дыша, он начал бросать камни, стараясь выгнать рыбу из ее убежища не повредив удочки. Это продолжалось мучительно долго. Потом „уирр“... — рыба помчалась дальше, а за ней мы с Маком. Через час или около того в широких отмелях с медленным течением напротив деревни Доу семга, наконец, проявила первые признаки поражения. Совершенно измученный, пыхтящий, терзаемый множеством страшных опасений, Свирепый Мак отдал последнюю команду:

— Ну, ну! Сюда ее, на этот песок! — затем прокаркал: — У нас нет багра. Если она потянет тебя дальше, она уйдет совсем.

Во рту у меня пересохло, я задыхался. Весь дрожа, я начал подводить рыбу. Она шла спокойно, потом вдруг сделала последнюю отчаянную

попытку удрать. Мак испустил глухой стон.

— Легче... легче! Если ты ее сейчас упустишь, я никогда не прощу тебе!

В мелководье рыба казалась невероятной. Я мог видеть перетершуюся нить, к которой крепился крючок. Если я ее упущу! — у меня мороз по коже прошел, будто мне под рубашку сунули комок льда. Я тихонько повел ее к небольшой песчаной отмели. В напряженном молчании Мак наклонился над ней, схватил под жабры и, высоко подняв, грохнул чудовище на траву.

О, это было величественное зрелище — на зеленом лугу распласталась рыба больше сорока фунтов весом. Она так недавно пришла из моря, что морские вши еще не упали с ее выгибающейся спины.

— Это рекорд, это рекорд! — запел Мак, подхваченный, как и я, волной неземной радости. Мы взяли за руки и начали отплясывать фанданго.

— Сорок два фунта, ни унции меньше... Мы запишем это в книгу, — он даже обнял меня. — Старина, ты отличный, отличный рыбак!

В этот момент с железной дороги через реку до нас донесся слабый свисток паровоза. Свирепый Мак остановился и растерянно посмотрел на дымок, на казавшийся игрушечным красно-белый сигнал, опустившийся над станцией Доун. И вдруг он вспомнил, что должен был идти встречать епископа. Мак в ужасе покопался в карманах в поисках своих часов.

— Боже милостивый, Чисхолм! Это поезд епископа! — он заговорил тоном директора Холиуэлла. Было件нятно, что он в затруднительном положении: или за пять минут он должен проделать пять миль по окружной дороге и дойти до станции, что очевидно, было невозможно, или переплыть реку. Я видел, как он медленно решается.

— Возьми и отнеси эту рыбу, Чисхолм, и скажи, чтобы ее сварили целиком к обеду. Пospеши. И помни о жене Лота и соляном столбе — ни в коем случае не оборачивайся назад!

Но я не мог удержаться. Когда я достиг первой речной излуины, я выглянул из-за куста, рискуя окончить свою жизнь соляным столбом. Отец Мак уже разделся догола и связал свои одежды в узелок. С цилиндром, твердо сидящем на голове, подняв вверх, подобно епископскому посоху, узелок, он нагишом вошел в воду. Свирепый Мак то шел вброд, то плыл, пока не достиг другого берега, там, мокрый, втиснулся в одежду и решительно пустился бежать навстречу приближающемуся поезду.

В каком-то восторженном исступлении я катался по траве. Не зрелище этого цилиндра, бесшабашно нахлобученного на лоб, хотя его я тоже не

забуду до конца жизни, но мужество и презрение к условностям, крившиеся за этой эскападой, было тому причиной. Я подумал: отец Мак, наверное, тоже не выносит нашу благочестивую притворную стыдливость, которая содрогается при виде человеческого тела и старается прикрыть женские формы, словно что-то постыдное».

Шум за дверью заставил Фрэнсиса остановиться. Дверь открылась, и Хадсон с Ансельмом Мили вошли в комнату.

Хадсон, спокойный темноволосый юноша, сел и начал переобуваться. У Ансельма в руках была вечерняя почта.

— Тебе письмо, Фрэнсис, — сказал он возбужденно. Мили вырос в красивого молодого человека с бело-розовой кожей. Щеки его отличались гладкостью, присущей совершенно здоровым людям. У него были светлые прозрачные глаза, а улыбка редко сходила с губ. Всегда энергичный, деловитый, улыбающийся, он, несомненно, был самым популярным учеником в школе. Хотя Ансельм и не блистал на занятиях, учителя любили его, и имя Мили частенько красовалось в списках учеников, удостоенных награды. Он хорошо играл в спортивные игры, не требующие силы и не грубые. Кроме того, он был просто гениален, когда дело касалось каких-нибудь процедурных вопросов. Ансельм руководил, по крайней мере, полудюжиной клубов, начиная с клуба филателистов и кончая клубом философов. Он знал такие слова, как «кворум», «протокол» и «господин председатель», и бойко оперировал ими. Если организовывалось какое-нибудь новое общество, обойтись без консультации Ансельма было просто невозможно, и он автоматически становился его президентом. Мили возносил проникновенные хвалы жизни духовенства. Единственным крестом, который ему приходилось нести, как это ни парадоксально, была искренняя неприязнь, которую питали к нему директор и еще несколько странных чудаков. Для всех же прочих Ансельм был героем, и он принимал свои успехи со скромной, чистосердечной улыбкой.

Теперь, протягивая Фрэнсису письмо, он сказал с теплой обезоруживающей ласковостью:

— Надеюсь, в нем куча добрых новостей, дружище. Фрэнсис распечатал письмо. Оно было без даты и написано карандашом на накладной с заголовком:

«Эдвард Бэннон.
„Юнион таверна“.
Угол Дайк-стрит и Кэнея-стрит.
Тайнкасл».

«Дорогой Фрэнсис, надеюсь, ты получишь это письмо в таком же добром здоровье, в каком я его пишу. Также извини, что пишу карандашом. Мы все расстроены. Мне очень прискорбно говорить тебе, Фрэнсис, что тебе нельзя будет в этот раз приехать домой на каникулы. Никто не огорчен этим больше меня, я ведь не видала тебя с прошлого лета и все такое. Но поверь мне, это невозможно, и мы должны смириться перед волей Божьей. Я знаю, ты не из тех, кто легко принимает отказы, но на этот раз ты должен, пусть мне будет свидетельницей Пресвятая Дева Мария. Я не буду скрывать, что у нас неприятности, как ты и сам должен догадаться, но, ты ничем не сможешь помочь. Это не деньги и не болезнь, так что не беспокойся. И все это пройдет с Божьей помощью и забудется. Тебе легко будет устроить, чтобы тебя оставили на каникулы в колледже. Нэд оплатит все дополнительные расходы... У тебя будут твои книги и приятное общество и прочее. Может быть, мы устроим так, что ты приедешь на Рождество, так что не волнуйся. Нэд продал своих гончих, но не из-за денег. Мистер Гилфойл нас всех очень поддерживает. Ты ничего не теряешь, погода у нас ужасно мокрая. И не забывай, Фрэнсис, что у нас в доме народ и нет места, ты не должен (подчеркнуто дважды) приезжать. Благослови тебя Бог, мой милый мальчик, и извини, что пишу наспех.

Полли Бэннон».

Сидя у окна, Фрэнсис перечитал письмо несколько раз. Хотя цель его была ясна, но его значение оставалось вызывающим беспокойство и загадочным. С напускным спокойствием он сложил листок и спрятал его в карман.

— Ничего плохого, надеюсь? — Мили заботливо смотрел на него.

Фрэнсис натянуто молчал, не зная, что сказать.

— Прости, старина, мне очень жаль, — Ансельм шагнул вперед, мягко, ободряюще положил руку на его плечо. — Если я чем-нибудь могу помочь, скажи мне, ради Бога. Может быть, — он помолчал серьезно, — может быть, тебе не до игры в мяч сегодня?

— Да, пожалуй, — проямлил Фрэнсис.

Ударил колокол к вечерне.

— Хорошо, мой милый Фрэнсис. Я вижу, что тебя что-то мучит. Я помолюсь за тебя сегодня вечером.

Всю вечерню юноша мучительно думал о непонятном письме Полли. По окончании службы на него вдруг нашло желание пойти со своей тревогой к Свирепому Маку. Он медленно поднялся по широкой лестнице.

Войдя в кабинет, Фрэнсис увидел, что директор не один — с ним сидел отец Тэррент, которого он не сразу разглядел за кипой бумаг. По странному внезапному молчанию, воцарившемуся с его появлением, юноша ясно почувствовал, что они говорили о нем.

— Простите, сэр, — он в замешательстве посмотрел на Свирепого Мака. — Я не знал, что Вы заняты.

— Ничего, ничего, Чисхолм. Садись.

Живая теплота его голоса побудила Фрэнсиса, уже было повернувшегося к двери, сесть на плетеный стул около письменного стола. Медленными движениями коротких толстых пальцев Свирепый Мак продолжал набивать махорку в свою прокуренную трубку.

— Ну, милый человек, чем мы можем быть тебе полезны?

Юноша покраснел.

— Я... я думал, что Вы будете один...

Неизвестно почему директор избегал его умоляющего взгляда.

— Но тебе же не помешает отец Тэррент? А? Что у тебя? Выхода не было. Не пытайся придумать какую-нибудь отговорку, он сказал с запинкой:

— Это из-за письма из дома... — он хотел показать письмо Полли Свирепому Маку, но в присутствии Тэррента гордость не позволила ему сделать это. — По каким-то неясным мне причинам они, по-видимому, не хотят брать меня на каникулы.

— О?! (Не ошибся ли он? — ему показалось, что эти двое быстро переглянулись). — Это, должно быть, большое разочарование для тебя?

— Да, сэр. И я беспокоюсь. Я думал... по правде говоря, я пришел спросить Вас, что же я должен делать.

Наступило неловкое молчание. Отец Мак-Нэбб, казалось, еще глубже погрузился в свое старое кресло и все еще вертел в руках трубку. Он знал многих мальчиков, знал их вдоль и поперек. Но в этом юноше, сидящем тут около него, была такая внутренняя утонченность, красота и упрямая честность, что он невольно прилепился к нему сердцем.

— У нас у всех бывают свои разочарования, Фрэнсис, — отец Мак говорил задумчиво и печально, и голос его был более мягок, чем обычно. — Отцу Тэрренту и мне тоже пришлось сегодня перенести разочарование.

В нашей семинарии в Испании сейчас многие уходят в отставку, — он помолчал. — Мы назначены туда, я — ректором, а отец Тэррент — заведующим учебной частью.

Фрэнсис попытался выдавить из себя какой-нибудь ответ.

В действительности перевод в Сан-Моралес означал повышение, которого многие домогались, — оттуда лишь шаг до получения сана епископа. Но как бы ни реагировал на это Тэррент — юноша бросил взгляд на ничего не выражающий профиль — Мак-Нэбб, конечно, не так относится к этому.

Сухие равнины Арагона будут чужды человеку, всей душой любящему зеленые леса и стремительные воды Холиуэлла. Свирепый Мак мягко улыбнулся.

— Мне так хотелось бы остаться здесь. А тебе хочется уехать. Что ты на это скажешь? А? Согласимся ли мы оба принять эту трепку от Всемогущего Бога?

Фрэнсис в замешательстве силился собраться с духом и сказать что-нибудь подходящее.

— Это просто... я просто беспокоюсь... я думал, что мне, может быть, следует узнать, что там случилось, и постараться помочь?

— Я бы подумал на твоём месте, нужно ли это делать, — живо ответил отец Мак-Нэбб. — А что Вы скажете, отец Тэррент?

Младший учитель пошевелился в полумраке.

— Неприятности, по-моему, лучше разрешаются сами собой, без вмешательства извне.

По-видимому, говорить больше было не о чем. Директор зажег лампу на письменном столе. Осветив темный кабинет, она как бы положила конец разговору. Фрэнсис встал. Хотя он смотрел на обоих, но обращался только к Свирепому Маку.

— Я не могу вам сказать, как мне жаль, что вы уезжаете в Испанию. Школа... я... мне будет так недоставать вас, — произнес он, запинаясь, но от всего сердца.

— Может быть, мы увидимся с тобой там? — в голосе отца Мака звучали надежда и спокойная привязанность.

Фрэнсис не ответил. Пока он стоял в нерешительности, не зная что сказать, терзаемый противоречивыми чувствами, его опущенный взгляд вдруг упал на письмо, что лежало распечатанным на письменном столе. Не столько это письмо — да Фрэнсис и не мог прочесть его на таком расстоянии — сколько яркий синий штамп в заголовке привлек его внимание. Он быстро отвел глаза, но успел прочесть: «Приход святого

Доминика. Тайнкасл». Юноша вздрогнул. Дома неблагополучно. Теперь он был в этом уверен. На его лице ничего не отразилось, оно осталось бесстрастным, и ни один из учителей не догадался о его открытии. Но, идя к двери, Фрэнсис уже знал, что ему делать, и ничто не смогло бы заставить его поступить иначе.

5

Поезд пришел в Тайнкасл в два часа. Стоял знойный июньский день. С чемоданом в руке Фрэнсис быстро шел от станции. Чем ближе подходил он к знакомой части города, тем билось его сердце. Странное безмолвие нависло над таверной. Фрэнсис хотел застать тетю Полли врасплох — он легко взбежал по боковой лестнице и вошел в дом. Здесь тоже было тихо и странно темно после ослепительного блеска пыльной улицы. В коридоре и в кухне царила пустота, нигде ни звука, только оглушительно тикали часы.

Фрэнсис прошел в гостиную. За столом, положив оба локтя на красную шерстяную скатерть, сидел Нэд. Он неотрывно смотрел на голую стену напротив себя. Не только его поза, но и перемена, происшедшая в нем, заставила юношу приглушенно вскрикнуть. Нэд потерял три стоуна^[15] в весе, одежда висела на нем; его круглое сияющее лицо стало мрачным и мертвенно-бледным.

— Нэд! — Фрэнсис протянул руку.

Наступила тишина, затем Нэд вяло повернулся, сквозь всепоглощающую апатию медленно пробивался проблеск сознания.

— Это ты, Фрэнсис? — он слабо улыбнулся. — Я и понятия не имел, что тебя ждут.

— А меня вовсе и не ждут, Нэд, — скрывая беспокойство, юноша сделал попытку засмеяться, — но когда нас распустили, я просто ни минуты не мог ждать. Где тетя Полли?

— Она уехала... да... Полли уехала на пару дней в Уитли-бей.

— Когда же она вернется?

— Возможно... завтра...

— А где Нора?

— Нора... — Нэд говорил совершенно безжизненным голосом. — Она уехала с тетей Полли.

— Понимаю, — Фрэнсис почувствовал прилив облегчения. — Вот почему она не ответила на мою телеграмму. Но Нэд... а ты... ты-то здоров,

я надеюсь?

— Я здоров, Френсис. Может быть, погода на меня немножко действует... Но таким, как я, ничего не делается, — тут его грудь вдруг стала вздыматься, и юноша с ужасом увидел, что по яйцеобразному лицу Нэда текут слезы.

— Ну, а теперь иди отсюда и поешь чего-нибудь. Там в буфете полно всякой всячины. Тэд даст тебе, что ты захочешь. Он внизу в баре. Он был опорой для нас, Тэд.

Взгляд Нэда побродил вокруг и снова уперся в стену. Фрэнсис, совершенно ошеломленный, повернулся и понес чемодан в свою маленькую комнату. Проходя по коридору, он увидел, что дверь к Норе была открыта. Чистое белое уединение этой комнаты заставило его в неожиданном смущении отвести глаза.

Фрэнсис поспешил вниз. Бар был безлюден, даже Скэнти исчез куда-то, — его опустевший угол приковывал к себе внимание и казался невероятным, как брешь, пробитая в прочной толще стены. Но за баром, ловко перетирая стаканы, без пиджака, стоял Тадеус Гилфойл. Когда юноша вошел, Тэд сразу перестал насвистывать. Заметно пораженный, он помедлил с минуту, прежде чем протянуть ему в знак приветствия мягкую, слегка влажную руку.

— Ну и ну! — воскликнул он. — Вот это приятное зрелище!

Вид собственника, с каким держал себя Гилфойл, был отвратителен. Но Фрэнсис, теперь уже крайне встревоженный, сумел принять безразличное выражение и беспечно сказал:

— Я удивлен, видя вас здесь, Тэд. Что случилось с газовым заводом?

— Я ушел оттуда, — ответил тот спокойно.

— Почему?

— Чтобы быть здесь. Постоянно, — он поднял стакан, и осмотрев его со знанием дела, подышал на него и начал полировать. — Когда они меня попросили, что еще я мог сделать?

Фрэнсис чувствовал, что нервы его напряжены до предела.

— Во имя неба, что все это значит, Гилфойл?

— Мистер Гилфойл, Фрэнсис, если вы не возражаете... — упрек прозвучал с явным самодовольством. — У Нэда просто сердце болело оттого, что я занимал такое неподходящее место. Он совсем сдал, Фрэнсис. Сомнительно, что он когда-нибудь опять станет самим собой.

— А что с ним произошло? Вы говорите так, будто он сошел с ума.

— Так оно и было, Фрэнсис, так оно и было, — Гилфойл тяжело вздохнул, — но теперь он опять в своем уме, бедняга.

Тэд внимательно наблюдал за Фрэнсисом и, видя, что он намерен сердито оборвать его, захныкал:

— Ну, ну... Вам вовсе ни к чему задирать нос передо мной. Я-то как раз поступаю хорошо. Спросите отца Фитцджеральда, если не верите мне. Я знаю, вы всегда меня недолюбливали. Я отлично помню, как вы высмеивали меня, когда подросли. А у меня лучшие намерения, Фрэнсис... я всей душой к вам... И нам надо держаться вместе... особенно теперь.

— Почему особенно теперь? — Фрэнсис скрипнул зубами.

— Ах, да, да... откуда же вам знать... ну, конечно... — Тэд боязливо, но самодовольно ухмыльнулся. — Ведь оглашение было сделано первый раз только в прошлое воскресенье. Видите ли, Фрэнсис, мы с Норой собираемся пожениться.

Тетя Полли и Нора вернулись на следующий вечер уже довольно поздно.

Фрэнсис был почти болен от охвативших его дурных предчувствий. Он ничего не сумел выведать у скрытного, как рыба, Гилфойла. В мучительном нетерпении юноша ждал их возвращения и сразу же сделал попытку припереть тетю Полли к стенке. Но та, опомнившись от первого испуга при виде него, тут же закричала:

— Фрэнсис, я же не велела тебе приезжать... — и она поспешила с Норой наверх.

Полли отмахивалась от его назойливых вопросов, снова и снова повторяя:

— Нора нездорова, она больна, говорю тебе... уйди с дороги... мне нужно позаботиться о ней.

Получив отпор, он, холодея от все сильнее овладевавших им мрачных мыслей о приближении какого-то неведомого ужаса, поднялся к себе. Нора едва взглянула на него и сразу же легла в постель. Еще с час он слышал, как Полли суетливо носилась с подносами и бутылками горячей воды и тихо умоляла Нору о чем-то, донимая ее своими заботами. Впрочем, Нора, худая как палка, действительно выглядела больной. Тетя Полли тоже была измучена и совершенно извелась. Фрэнсис заметил, что она небрежно одета и у нее появился новый жест — то и дело быстро прижимать руку ко лбу. Поздно ночью из ее комнаты, смежной с его, он услышал, как Полли тихо молится. Терзаясь этой загадкой, юноша кусал губы и беспокойно ворочался в постели.

Следующее утро выдалось ясным. Фрэнсис встал и по своей привычке пошел к ранней мессе. Вернувшись, он застал Нору во дворе. Девушка сидела на ступеньках крыльца, греясь в полосе солнечного света, у ее ног

пищали и суетились цыплята. Она не сдвинулась с места, чтобы дать ему пройти. Фрэнсис постоял с минуту, тогда Нора подняла голову, рассматривая его.

— А... это наш святоша... уже ходил спасать душу!

От ее тона, такого неожиданного, такого спокойно презрительного, он покраснел.

— Кто же служил? Его преподобие Фитцджеральд?

— Нет, служил его помощник.

— Этот бессловесный бык в стойле! Ну, этот хоть безвреден.

Девушка снова опустила голову и стала смотреть на цыплят, подперев худой подбородок совсем прозрачной рукой. Хотя она всегда была тоненькой, Фрэнсиса поразила ее почти детская хрупкость, так не вязавшаяся с замкнутым взрослым выражением глаз и новым серым платьем, уже женским и дорогим, которое ненавязчиво украшало ее. Его сердце плавилось в белом огне нестерпимой боли, которая, казалось, заполнила всю грудь. Беда Норы взывала к нему. Он не глядел на нее. Он колебался. Потом очень тихо спросил:

— Ты уже завтракала? Девушка кивнула.

— Полли насильно пропихнула завтрак мне в горло. Господи! Если бы только она оставила меня в покое!

— Что ты делаешь сегодня?

— Ничего.

Фрэнсис опять помолчал и вдруг выпалил:

— Почему бы нам не пойти погулять, Нора? Как мы когда-то ходили. Такой чудесный день!

Все его чувства к ней потоком устремились из его тревожных глаз. Она не пошевелинулась, но слабая краска оживления проступила на ее худых щеках.

— Меня нельзя беспокоить, — сказала она мрачно, — я устала.

— Ну пойдём, Нора... пожалуйста... Девушка уныло молчала.

— Ладно.

Его сердце застучало глухо и больно. Он бросился в кухню; спеша и нервничая, приготовил несколько бутербродов, отрезал кекса и неумело завернул все в бумагу. Полли не было видно, да сейчас, по правде говоря, ему очень хотелось улизнуть потихоньку от нее. Через десять минут они с Норой сидели в красном трамвае, с лязгом несущемся через весь город. Еще через час они брели бок о бок, не говоря ни слова, к Госфорт Хиллз. Фрэнсис сам не понимал, что побудило его направиться именно сюда. В этот день за городом, где все расцветало, было прелестно, но в самой этой

прелести было что-то трепетно-робкое, причинявшее невыносимую боль. Когда они подошли к саду Лэнга, стоявшему в пене цветов, он остановился и попытался разбить тяжелое молчание, лежащее между ними непроницаемой преградой.

— Посмотри, Нора! Давай обойдем вокруг, а потом зайдем поговорим с Лэнгом.

Она взглянула на сад — застывшие ряды деревьев, похожих на шахматные фигуры, окружали сарай — и сказала горько и грубо:

— Не хочу! Ненавижу это место!

Фрэнсис не ответил. Он смутно чувствовал, что эта горечь относится не к нему.

К часу они дошли до Госфортского маяка. Видя, что Нора устала, юноша, не спрашивая ее согласия, остановился под высоким буком позавтракать. День был необыкновенно тепел и ясен. Внизу, в равнине, блестя золотыми отсветами, лежал город с возвышающимися над ним куполами и шпилями. Издалека он казался несказанно прекрасным.

Она едва притронулась к приготовленным бутербродам и, вспомнив деспотическую навязчивость Полли, он не стал принуждать Нору поесть. Как хорошо было в тени! Они сидели на усыпанном буковыми орешками мху, и зеленые листья, трепещущие над их головами, бросали на него свой мягкий узор. В воздухе носился живительный запах древесных соков. Вверху, на высокой ветке, издавал гортанный клич дрозд. Через несколько минут девушка прислонилась к стволу дерева, запрокинула голову и закрыла глаза. Ее спокойная смягченная поза была для Фрэнсиса высшей наградой. Он смотрел на нее со все возрастающей нежностью. Изгиб ее шеи, такой тонкой и беззащитной, поднял в нем волну невыразимого сострадания. Нежность переполняла его, вызвала желание укрыть, защитить эту девушку. Голова ее немного соскользнула с дерева, но Фрэнсис не смел дотронуться до нее. Однако, думая, что она спит, он инстинктивно поддержал ее рукой. Мгновенно она высвободилась и принялась колотить его сжатыми кулачками в лицо и в грудь, истерически крича:

— Оставь меня! Скотина! Животное!

— Нора, Нора! Что с тобой?

Запыхавшись, с дергающимся, искаженным лицом она откинулась назад.

— И не пытайся обойти меня таким способом! Все вы одинаковые. Все до одного!

— Нора! — с отчаянием взмолился Фрэнсис. — Ради Бога! Умоляю

тебя! Давай выясним все!

— Что нам выяснять!?

— Да все... Почему ты такая... почему ты выходишь замуж за Гилфойла.

— А почему бы мне и не выйти за него замуж? — защищаясь, бросила она с горечью.

Его губы пересохли, он едва мог говорить.

— Но, Нора, он же такое ничтожество... он не стоит тебя.

— Он не хуже всякого другого. Я же сказала, что все вы одинаковы. По крайней мере, он будет знать свое место.

Ошеломленный, Фрэнсис, побледнев, смотрел на нее. И было в его неверящих глазах что-то ранившее ее так жестоко, что в ответ она нанесла рану еще более жестокою.

— Может быть, ты воображаешь, что мне нужно выйти замуж за тебя?.. за примерного мальчика с ясными глазками, прислуживающего у алтаря... за недопеченного попака?! — ее губы дергались в презрительной глумливой усмешке. — Так вот, что я тебе скажу: по-моему, ты просто посмешище... истеричный ханжа... ты сам не знаешь, как ты смешон... святой отче наш... умора... да будь ты единственным человеком во всем мире, я бы не... — она задохнулась и, вся дрожа, мучительно и тщетно старалась сдержать слезы, зажимая рот рукой, и вдруг разрыдавшись, бросилась к нему на грудь.

— О, Фрэнсис, Фрэнсис, милый, прости меня! Ты же знаешь, что я всегда любила тебя. Убей меня, если хочешь... мне все равно.

Успокаивая ее, неловко глядя по голове, он сам дрожал так же сильно, как она. Мало-помалу сотрясавшие ее рыдания стихли. Нора лежала в его объятиях, обессиленная и покорная, как раненая птица, спрятав лицо в его куртку. Затем она медленно выпрямилась, не глядя на него, достала носовой платок, вытерла измученное, заплаканное лицо, поправила шляпу и проговорила усталым ровным голосом:

— Нам, пожалуй, пора идти.

— Нора, взгляни на меня.

Но девушка, по-прежнему, избегая его молящего взгляда, только сказала тем же странным монотонным голосом:

— Ну, говори... что ты еще хочешь сказать.

Фрэнсис заговорил с юношеской горячностью:

— Ладно, Нора, я скажу. Я не намерен примириться с этим! Я отлично понимаю, что тут что-то не так! Но я докопаюсь, я узнаю, в чем дело. Ты не выйдешь за этого дурака Гилфойла. Я люблю тебя, Нора! Я постою за тебя!

Она помолчала, жалея его, потом с бесцветной улыбкой сказала:

— Я чувствую себя так, будто живу уже, по крайней мере, миллион лет.

Встав, Нора наклонилась и, как когда-то, поцеловала его в щеку. Они в молчании стали спускаться с холма, и дрозд уже не пел на своем высоком дереве.

Вечером, твердо решившись добиться своего, Фрэнсис отправился в сторону доков, где жили Мэгуны. Он нашел изгнанника Скэнти одного — Мэгги еще не вернулась со своей поденщины. Скэнти сидел у слабо тлеющего огня в единственной комнате их «квартиры». При свете сальной свечи он с мрачным видом мастерил челнок для ткацкого станка. В мутных глазах изгнанника, несомненно, блеснуло удовольствие, когда он узнал своего гостя. Блеск этот стал еще ярче при виде полпинты ^[16] виски, извлеченной Фрэнсисом (он стащил ее в баре). Скэнти живо достал щербатую фаянсовую чашку и торжественно выпил за своего благодетеля.

— Вот это вещь! — пробормотал он, утираясь рваным рукавом. — С тех пор, как этот скряга Гилфойл заграбастал бар, чёрта лысого получишь там глоточек!

Фрэнсис уселся на деревянный стул без спинки. Под глазами у него залегли глубокие тени. Он заговорил с хмурой настойчивостью:

— Скэнти! Что произошло в «Юнион»? Что случилось с Норой, с Полли, с Нэдом? Вот уже три дня, как я вернулся, и все еще ничего не понимаю. Ты должен сказать мне.

Лицо Скэнти выразило тревогу. Он переводил взгляд с Фрэнсиса на бутылку, с бутылки на Фрэнсиса.

— Ха! Откуда же мне знать?

— Ты знаешь, я вижу по твоему лицу.

— Разве Нэд ничего тебе не сказал?

— Нэд! Он как глухонемой все эти дни.

— Бедный старый Нэд! — Скэнти тяжело вздохнул, перекрестился и налил себе еще виски. — Господи, помилуй нас, грешных! Кто бы мог подумать! Вот уж правда, что никто не может за себя поручиться! — И он хрипло, с неожиданной силой воскликнул: — Нет, Фрэнсис! Ничего я тебе не скажу, стыдно просто и вспоминать, да и что толку? Фрэнсис настаивал:

— Очень большой толк, Скэнти. Если я буду знать, я смогу что-нибудь сделать.

— Ты думаешь... с Гилфойлом... — Скэнти задрал голову кверху, подумал, медленно кивнул. Он глотнул разочек, чтобы подкрепиться, его помятое лицо стало необычайно серьезным, понизив голос, Скэнти

решился:

— Ладно уж, Фрэнсис, я скажу тебе, побожись только, что никому не проговоришься. Дело-то в том... Господи помилуй... У Норы родился ребенок.

Наступившее молчание длилось так долго, что Мэгун успел подкрепиться еще разок.

— Когда? — спросил, наконец, Фрэнсис.

— Вот уже шесть недель. Она уезжала в Уитли-бей. Там у одной женщины и оставили ребенка... дочку... Нора видеть ее не может.

Холодно и неумолимо Фрэнсис силился подавить охватившее его смятение. Он заставил себя спросить:

— Значит, Гилфойл отец этого ребенка?

— Эта безмозглая дрань?! — ненависть Скэнти пересилила осторожность. — Что ты, нет, нет! Он просто «предложил свои услуги», как он изволит выражаться: он дает малышке свое имя, а за это получает «Юнион». Подлец! Но за ним стоит отец Фитцджеральд. Да, Фрэнсис, они ловко все это обстряпали, ничего не скажешь. Свидетельство о браке в кармане, все шито-крыто, а дочку привезут позднее, будто после летних каникул. Разрази меня Бог на этом месте, свинью и ту стошнит от всего этого!

Сердце юноши невыносимо сжалось, словно хваченное обручем. Он изо всех сил старался говорить твердо.

— Я никогда не знал, что Нора была влюблена... Скэнти... ты знаешь, кто это... ну, понимаешь... кто отец ребенка?

— Вот как Бог свят, не знаю! — кровь бросилась Скэнти в лицо, от его шумных отрицаний даже пол застонал под ним. — Я совершенно ничего об этом не знаю. Да и откуда мне, бедняге, знать! Да и сам Нэд не знает тоже, истинная правда! Нэд всегда хорошо обращался со мной... Он хороший, честный, великодушный человек... Правда, иной раз, когда Полли уезжала, он уж слишком напивался... Нет, нет, Фрэнсис поверь мне, нет никакой надежды узнать, кто этот человек.

— Снова наступило молчание, нескончаемое, леденящее душу. Все туманилось перед глазами Фрэнсиса. Он чувствовал, как тошнота подступает к горлу. Наконец, сделав над собой страшное усилие, юноша встал.

— Спасибо, Скэнти, что сказал мне.

Он вышел из комнаты, нетвердыми шагами спустился по голой лестнице. На лбу и ладонях выступил холодный пот, перед глазами стояла, преследуя и мучая его, Норина комната — ее опрятная нарядность, белизна

и покой. Фрэнсис не чувствовал ненависти, только жгучую жалость, судорожно стискивающую его душу. Выйдя на грязный двор, он прислонился к фонарному столбу, и его стошнило в канаву. Теперь ему стало холодно, но он не оставил своего намерения и решительно зашагал к церкви святого Доминика.

Скромная экономка священника бесшумно впустила его в дом. Спустя минуту, она так же бесшумно вернулась в полуосвященную комнату и впервые слабо улыбнулась ему.

— Вам посчастливилось, Фрэнсис. Его преподобие свободен и может принять вас.

Отец Джеральд Фитцджеральд поднялся навстречу юноше с табакеркой в руке. За сердечностью его манер проглядывало недоумение. Осанистый и красивый, он очень подходил к этой комнате с французской мебелью, старинным *prie-dieu*^[17], отличными копиями итальянских примитивистов на стенах и вазой с лилиями на секретере, наполнявшими своим благоуханием обставленную со вкусом комнату.

— Ну, молодой человек, а я думал, что ты на севере. Садись! Как поживают мои милые друзья в Холиуэлле? — он остановился, чтобы сделать понюшку табаку и одобрительно посмотрел на форменный галстук Фрэнсиса. — Я ведь тоже учился там, и знаешь, прежде, чем отправился в Рим... Прекрасное место... Милый старый Мак-Нэбб... и отец Тэррент... Мы с ним учились в одном классе в английском колледже в Риме. Прекрасный человек, с большим будущим! Так в чем дело, Фрэнсис? Чем могу тебе служить? — он замолчал, прикрывая свою пронизательность светской учтивостью.

В мучительном замешательстве, с участвующимся дыханием, юноша не поднимал глаз.

— Я пришел к Вам насчет Норы.

Эти слова, произнесенные с запинкой, нарушили безмятежность комнаты, ворвались диссонансом в ее вычурный уют.

— А что насчет Норы, скажи пожалуйста?

— Ну, насчет ее брака с Гилфойлом... она не хочет... она несчастна... и все это выглядит так глупо и несправедливо... такая ненужная и страшная история...

— Что ты знаешь об этой страшной истории?

— Ну все... в общем, она не виновата.

Наступило молчание. На красивом лице Фитцджеральда выразилась досада, но он смотрел на потерявшегося от горя юношу с какой-то величавой жалостью.

— Мой милый мальчик, если ты станешь священником, а я полагаю, что ты им станешь, и если ты приобретешь хоть половину того жизненного опыта, которым, к несчастью, обладаю я, то ты поймешь, что некоторые нарушения социального порядка требуют специфических средств для их излечения. Ты потрясен этой, — он повторил слова Фрэнсиса, — «страшной историей». А я нет. Я даже предвидел ее. Я знаю, что такое торговля виски, и ненавижу ее за то влияние, которое она оказывает на грубый люд, населяющий наш приход. Мы с тобой можем спокойно сесть и наслаждаться нашим *Lachryma Christi*^[18], как подобает джентльменам. Ну, а мистер Эдвард Бэннон этого не умеет. Но хватит! Я не хочу делать никаких голословных утверждений. Я только хочу сказать, что перед нами стоит проблема, к сожалению, вовсе не редкая для тех, кто проводит много тягостных часов в исповедальне, — Фитцджеральд замолчал и потянулся холеной рукой за табаком. — Как же нам ее разрешить? Я скажу тебе. Во-первых, мы должны узаконить и окрестить ребенка. Во-вторых, выдать мать замуж за порядочного человека, если нам удастся найти такого, который согласится жениться на ней. Мы должны ввести эту ситуацию в нужное русло, нужно из этой неприглядной путаницы сделать хорошую католическую семью, построить из этого хаоса здоровую социальную единицу. Поверь мне, Норе Бэннон еще повезло, что ей попался такой Гилфойл. Он, правда, умом не блещет, но он надежный человек. Вот увидишь, года через два она будет ходить к мессе с мужем и детьми... и будет совершенно счастлива.

— Нет, нет, — вырвалось сквозь сжатые губы Фрэнсиса, — она никогда не будет счастлива с ним. Она будет сломлена и несчастна.

Фитцджеральд чуть вскинул голову.

— А по-твоему, основной целью нашей земной жизни является счастье?

— Она сделает что-нибудь с отчаяния. Нору нельзя принуждать. Я знаю ее лучше, чем Вы.

— Ты, кажется, знаешь ее очень близко, — Фитцджеральд улыбнулся с уничижающей учтивостью. — Я надеюсь, ты сам не заинтересован в ней как в женщине.

Темно-красные пятна загорелись на бледных щеках Фрэнсиса.

— Я очень привязан к Норе. Но если я люблю ее, то в этой любви нет ничего, что сделало бы ваши обязанности исповедника более тягостными. Я прошу Вас, — в его голосе была тихая отчаянная мольба, — не принуждайте ее к этому браку. Она не такая, как все. Нельзя навязывать ей ребенка и постылого мужа только потому, что в своем неведении она...

Задетый за живое, Фитцджеральд стукнул табакеркой по столу.

— Не поучайте меня, сэр!

— Простите! Вы же видите, что я и сам не знаю, что говорю. Я стараюсь упросить Вас воспользоваться вашей властью, — Фрэнсис сделал последнее отчаянное усилие, — дайте ей хоть какую-то отсрочку!

— Хватит, Фрэнсис!

Приходской священник слишком хорошо владел собой и слишком привык управлять другими, чтобы надолго потерять равновесие. Он резко встал со стула и посмотрел на плоские золотые часы.

— У меня в восемь часов собрание братства. Тебе придется извинить меня.

Когда Фрэнсис встал, отец Фитцджеральд с упреком, но ласково похлопал его по спине.

— Милый мой мальчик, ты очень молод и, я бы сказал, безрассуден. Но, слава Богу, в лице святой церкви ты имеешь мудрую старую мать. Не пытайся пробить стену головой, Фрэнсис. Эти стены стоят уже много поколений и выдерживали более сильные натиски. Ну, ладно, ладно, я знаю, что ты хороший мальчик. После свадьбы заглядывай, поболтаем о Холиуэлле. А пока... как небольшое искупление за твою грубость прочти за меня *Salve Regina*^[19]. Ладно?

Юноша молчал. Все было бесполезно, совершенно бесполезно.

— Хорошо, отец, — наконец, проговорил он.

— Ну, тогда доброй ночи, сын мой... да благословит тебя Бог!

Сырой и прохладный ночной воздух окутал его. Потерпевший поражение, сломленный своим юношеским бессилием, Фрэнсис побрел прочь от дома священника. Шаги его глухо отдавались на безлюдной дороге. Когда он проходил мимо церкви, ризничий закрывал боковую дверь. Юноша остановился в темноте с непокрытой головой и смотрел, как исчезала последняя полоска света. Взгляд его обратился к верхнему ряду окон, освещающих хоры с помощью конькового фонаря. Этот неверный свет показался Фрэнсису видением духа смерти. Из глубины овладевшего им отчаяния у него вырвалось: «О, Господи! Сделай так, как будет лучше для всех нас!»

Приближался день свадьбы. Фрэнсиса измучила беспощадная бессонница. Его лихорадило. Атмосфера в таверне как-то незаметно стала спокойной, подобно стоячей воде. Нора была тиха. Тетя Полли питала какие-то смутные надежды. Нэд все еще сидел съездившись в одиночестве, однако мутный страх в его глазах стал исчезать. Венчание произойдет, конечно, в самом тесном кругу. Но что касается приданого... тут не знали

никакого удержу... было обдуманно и все, связанное с предстоящим медовым месяцем в Килларни. Весь дом был завален нарядами, бельем и кусками дорогих материй и полотна. Тетя Полли пробиралась через них со ртом, полным булавок, умоляя сделать еще одну «примерочку». Она была словно окутана милосердным туманом. Гилфойл наблюдал происходящее с самодовольным видом, курил лучшие сигары, имеющиеся в «Юнионе» и время от времени совещался с Нэдом по денежным вопросам. Был составлен и должным образом подписан акт о вступлении его в компаньоны, велись долгие разговоры об устройстве жилья новой четы. Многочисленные бедные родственники Тэда уже толклись в доме, они были льстивы, но нахальны. Его замужняя сестра, миссис Нейли, с дочерью Шарлоттой были, пожалуй, хуже всех. Нора почти не говорила. Однажды, встретив Фрэнсиса в коридоре, она остановилась.

— Ты знаешь?.. Ты ведь все знаешь, да?

Его сердце разрывалось, он не смел взглянуть ей в глаза.

— Да, знаю.

Наступило гнетущее молчание. Фрэнсис не мог выдержать этой пытки и начал говорить бессвязно, плача, как мальчишка.

— Нора... этого нельзя допустить... Если бы ты знала, как я переживаю за тебя... Я мог бы заботиться о тебе, работать для тебя, Нора... позволь мне увезти тебя.

Она посмотрела на него со странной сострадательной нежностью.

— Куда же мы уедем?

— Куда угодно, не все ли равно?

Он говорил как одержимый, его щеки были мокры от слез и блестели. Она не ответила, молча сжала его руку и ушла мерить платье.

За день до свадьбы Нора немного оттаяла, отбросила свою холодную бесчувственную покорность. Сидя за одной из бесчисленных чашек чая, которые навязывала ей Полли, она вдруг объявила:

— Я, пожалуй, съезжу сегодня в Уитли-бей.

В изумлении тетя Полли повторила:

— В Уитли-бей? — затем взволнованно добавила: — Я поеду с тобой.

— В этом нет никакой необходимости, — Нора помолчала, легонько помешивая свой чай. — Впрочем, если ты хочешь, то конечно...

— Конечно, я хочу, дорогуша моя!

Легкость, с какой говорила Нора, успокоила тетю Полли. Ей даже показалось, что она уловила в ее словах отзвук былой лукавой веселости, прозвучавшей, подобно отдаленной музыке, где-то в глубине ее существа. Теперь Полли взглянула на предстоящую поездку более благожелательно.

Она с изумлением и радостью подумала, что, пожалуй, Нора приходит в себя и все образуется. Допив чай, она принялась вспоминать красоты Килларнийского озера, которое однажды посетила, еще будучи девочкой. Там еще был очень забавный лодочник.

Обе женщины, одетые по-дорожному, после обеда отправились на станцию. Поворачивая за угол, Нора обернулась и посмотрела на окно, около которого стоял Фрэнсис. Помедлив секунду, она улыбнулась печально и помахала рукой. Потом она ушла.

Известие о несчастном случае дошло до них раньше, чем успели привезти на извозчике тетю Полли, находящуюся в состоянии полной прострации. Взволновался весь город. Такой всеобщий интерес к случившемуся, конечно, не мог быть вызван только тем, что неосмотрительная молодая женщина оступилась и упала между платформой и идущим поездом. Особую остроту происшествию придавало то, что это случилось накануне свадьбы. Всюду в районе доков закутанные в шали женщины выбегали из дверей, собирались кучками и, подбоченившись, начинали обсуждение. В конце концов виновниками трагедии были признаны новые туфли жертвы. Все чрезвычайно сочувствовали Тадеусу Гилфоилу и всей семье, а также всем молодым женщинам, собиравшимся выходить замуж и вынужденным ездить на поездах. Поговаривали о том, что для погребения искалеченных останков будут устроены торжественные публичные похороны, даже с оркестром религиозного братства.

Поздно ночью, сам не зная как, Фрэнсис очутился в церкви святого Доминика. Она была совершенно пуста. Мерцающий огонек неугасимого светильника у алтаря притягивал его измученные глаза, как слабый свет маяка. Недвижимый, бледный, он застыл на коленях. Юноша чувствовал, что неотвратимая, беспощадная судьба как бы сжимает его в своих объятьях. Никогда еще не испытывал он такого отчаяния, никогда еще не чувствовал себя таким покинутым. Плакать Фрэнсис не мог. Его потрескавшиеся холодные губы не могли произнести слова молитвы, но в его терпящей смертные муки душе росла мысль о жертве. Сначала родители... теперь Нора. Он не мог больше оставлять без ответа эти призывы. Он уедет... он должен уехать... к отцу Мак-Нэббу... в Сан-Моралес. Он всецело отдаст себя Богу. Он должен стать священником.

В 1892 году, на Пасху, в Сан-Моралесе произошло событие, заставившее всю английскую семинарию зажужжать от ужаса, как потревоженный улей. Один из семинаристов исчез на целых четыре дня. Естественно, что семинарии, основанной в этих Арагонских нагорьях пятьдесят лет назад, случалось быть свидетельницей нарушений порядка. Иногда на час-другой взбунтовавшиеся студенты, скрываясь за стенами второразрядных гостиниц, поспешно приводили в беспорядок совесть и пищеварение длинными сигарами и местной водкой. Раза два приходилось даже вытаскивать непокорных насильно из сомнительных гостиных Виа Амороза в городе.

Но чтобы случилось такое! Чтобы студент среди бела дня вышел через открытые ворота и через полнедели, опять среди бела дня, вошел, прихрамывая, в те же самые ворота запыленный, небритый, всклоченный! Весь вид уличал его в ужасном беспутстве. И чтобы потом этот студент, не придумав другого оправдания, кроме «Я ходил гулять», — бросился на кровать и проспал целые сутки... Нет! Это уже было отступничеством!

Во время перемены студенты боязливо обсуждали случившееся. Они собирались небольшими группами — их черные фигуры живописно выделялись на залитых солнцем склонах горы среди яркой зелени виноградников, в которой уже проблескивала медь. Под ними белая, как бы светящаяся на фоне розовой в лучах солнца земли, лежала семинария. Все решили, что Чисхолм, без сомнения, будет исключен. Немедленно была создана комиссия для расследования чрезвычайного происшествия. Как это всегда делалось в случаях серьезных нарушений дисциплины, она состояла из ректора, администратора, руководителя новициев и старосты — представителя от семинаристов. Комиссия собралась в зале для теологических диспутов на следующий день после возвращения ренегата, проведя несколько предварительных совещаний.

На улице дул «солано». Спелые черные оливки падали с остролистных деревьев и лопались на солнце. Из апельсиновой рощи за лазаретом доносился аромат цветущих деревьев. Иссушенная солнцем земля трескалась от зноя. Когда Фрэнсис вошел в белую комнату с величавыми колоннами и пустыми темными полированными скамьями, казавшимися прохладными, он был внешне совершенно спокоен. Черная шерстяная сутана подчеркивала его худобу. Коротко стриженные волосы и тонзура усугубляли темноту его глаз и подчеркивали замкнутую сдержанность юноши.

Руки его были странно неподвижны.

Перед ним на возвышении, предназначенном для главных участников

диспутов, стояли четыре стола. За ними сидели отец Тэррент, монсеньор Мак-Нэбб, отец Гомес и дьякон Мили. Все взгляды устремились на него, в них Фрэнсис прочитал и осуждение и огорчение. Он опустил голову, а Гомес, руководитель новициев, скороговоркой зачитал обвинение. После наступившего молчания заговорил отец Тэррент.

— Как вы это объясните?

Несмотря на спокойствие, которым Фрэнсис как бы отгородился от всего, он вдруг начал краснеть. Голова его все еще была опущена.

— Я пошел гулять, — такой ответ прозвучал малоубедительно.

— Это достаточно очевидно. Мы пользуемся своими ногами независимо от того, хороши или дурны наши намерения. Вы совершили явный грех, покинув семинарию без разрешения. Были ли у вас при этом какие-либо дурные намерения?

— Нет.

— Употребляли ли вы спиртные напитки во время вашего отсутствия?

— Нет.

— Посещали ли вы бой быков, ярмарку, казино?

— Нет.

— Общались ли вы с женщинами легкого поведения?

— Нет.

— Тогда что же вы делали?

Снова наступила тишина, затем еле слышно прозвучал невнятный ответ:

— Я же уже сказал вам. Но вы все равно не поймете. Я... я пошел гулять.

Отец Тэррент неприятно улыбнулся.

— И вы хотите, чтобы мы поверили, что вы провели целых четыре дня, расхаживая по округе?

— Ну... фактически так оно и было.

— И куда же вы в конце концов пришли?

— Я... я пришел в Коссу.

— В Коссу! Но ведь это за пятьдесят миль отсюда!

— Да, вероятно.

— Вы шли туда с какой-нибудь определенной целью?

— Нет.

Отец Тэррент закусил тонкую губу. Он не выносил сопротивления. Ему вдруг страстно захотелось пустить в ход дыбу, колодки, колесо... Не удивительно, что в Средние века прибегали к помощи этих орудий. Бывают такие обстоятельства, когда это вполне извинительно.

— Я думаю, Чисхолм, что вы лжете.

— Зачем мне лгать вам?

Тут дьякон Мили издал приглушенное восклицание. Его присутствие здесь было чисто формальным. Он, староста, сидел здесь как символ, выражающий мнение семинаристов. Но он не мог удержаться и горячо попросил:

— Пожалуйста, Фрэнсис! Ради всех студентов, ради всех нас, которые любят тебя... я... умоляю тебя сознаться.

Фрэнсис продолжал молчать. Тогда отец Гомес, молодой испанец, руководитель новициев, склонил голову к Тэрренту и зашептал:

— У меня нет никаких свидетельских показаний из города, совершенно никаких, но мы могли бы написать священнику в Коссу.

Тэррент бросил быстрый взгляд на иезуитское лицо испанца.

— Да, это мысль.

Тем временем ректор воспользовался перерывом в разговоре. Мак-Нэбб постарел и стал более медлительным, чем был в Холиуэлле. Он наклонился вперед и заговорил медленно и доброжелательно:

— Вы, конечно, понимаете, Фрэнсис, что в данных обстоятельствах такое общее объяснение вряд ли может считаться достаточным. В конце концов, все это очень серьезно... ведь дело не только в том, что вы самовольно отлучились, нарушили правила семинарии, допустили непослушание... Гораздо важнее, что кроется за этим, что побудило вас так поступить. Скажите мне! Вы несчастливы здесь?

— Нет, я счастлив.

— Отлично! У вас есть какие-нибудь причины сомневаться в вашем призвании?

— Нет! Мне больше чем когда-либо хочется попытаться совершить что-нибудь хорошее в этом мире.

— Очень рад это слышать. Вы не хотите, чтобы вас отослали отсюда?

— Нет!

— Ну, тогда расскажите нам, как это случилось, что вы пустились в такую... в такую необыкновенную авантюру.

Спокойный тон ректора приободрил Фрэнсиса, и он поднял голову. Глаза его смотрели отрешенно, по лицу было видно, что ему очень трудно. С большим усилием юноша заговорил:

— Я... я был в церкви, но молиться не мог. Я никак не мог сосредоточиться. Дул солано, и горячий ветер словно делал меня еще беспокойнее. Семинарская рутина вдруг показалась мне мелочной и раздражающей. Внезапно за воротами я увидел дорогу, она была белая и

мягкая от пыли. Я не мог удержаться. Я вышел на дорогу и пошел. Я шел всю ночь, мили и мили... Я шел...

— Весь следующий день... — ядовито прервал его отец Тэррент. — И весь следующий тоже!

— Именно так я и делал.

— В жизни не слышал подобной чепухи! Он думает, что все мы здесь идиоты.

Ректор, нахмурился, вдруг выпрямился на стуле.

— Я предлагаю пока прервать наше заседание.

Оба священника посмотрели на него с изумлением, а он твердо сказал Фрэнсису:

— Вы сейчас можете идти. Если нам понадобится, мы опять позовем вас.

Юноша вышел из комнаты среди гробового молчания. Только тогда ректор повернулся к оставшимся и холодно сказал:

— Уверяю вас, что запугиванием мы ничего от него не добьемся. Мы должны быть осмотрительны. Это не так просто, как кажется на первый взгляд.

Тэррент раздраженно сказал:

— Это высшая степень свойственной ему необузданности.

— Вовсе нет, — возразил ректор. — Все время своего пребывания здесь он был очень прилежным и упорным в занятиях. Отец Гомес, есть ли в его характеристике что-нибудь дискредитирующее?

Гомес полистал страницы.

— Нет, — он говорил медленно, читая характеристику. — Несколько грубых шуток. Прошлой зимой он поджег английскую газету, когда отец Деспард читал ее. Когда его спросили, зачем он это сделал, он засмеялся и сказал: «Дьявол сумеет найти работу для праздных рук».

— Ну, это ерунда, — резко сказал ректор. — Всем известно, что отец Деспард завладевает всеми газетами, приходящими в семинарию.

— Потом, — продолжал Гомес, — когда он был назначен читать в трапезной, он потихоньку принес туда книжонку под названием: «Когда Ева украла сахар» и читал ее вместо «Жития святого Петра из Алькантары», пока его не остановили, что вызвало совершенно непристойное веселье.

— Безвредная шалость.

— Потом... — Гомес перевернул страницу. — В комической процессии студентов, помните, они представляли таинства... один, одетый младенцем, изображал крещение, двое изображали брак и т.д. ... все это,

конечно, делалось с разрешения. Но... — тут Гомес с сомнением посмотрел на Тэррента, — к спине покойника Чисхолм прицепил картонку с надписью:

«Лежит здесь Тэррент, наш отец,
Ура! он умер, наконец...»

— Хватит! — резко оборвал его Тэррент. — У нас есть более важные заботы, чем разбирать эти глупые пасквилы.

Ректор кивнул.

— Глупые, это верно, но не зlostные. Мне нравится, когда юноша умеет посмеяться и пошутить. Но мы не должны забывать о том, что Чисхолм — незаурядный мальчик, в высшей степени незаурядный. В нем большая глубина и страстность. Он очень чувствителен и подвержен приступам грусти, которые он скрывает, прикидываясь веселым. Понимаете, он боец, он никогда не сдается. В нем причудливо сочетаются детская простота и бескомпромиссная прямота. И прежде всего он совершеннейший индивидуалист.

— Индивидуализм, пожалуй, опасное качество в богослове, — едко вставил отец Тэррент. — Он дал нам Реформацию.

— А Реформация дала нам более совершенную католическую церковь.

Ректор мягко улыбнулся, глядя в потолок.

— Но мы отвлекаемся от сути. Я не отрицаю, что он допустил грубое нарушение дисциплины, и оно должно быть наказано. Но незачем торопиться. Я не могу исключить такого студента, как Чисхолм прежде, чем не буду совершенно уверен в том, что он этого заслуживает. Поэтому, давайте подождем несколько дней, — он поднялся и с невинным видом добавил:

— Я уверен, что вы все согласны со мной. Гомес и Тэррент вышли вместе.

В течение двух следующих дней самый воздух над головой бедного Фрэнсиса казался тяжелым от нависшего над ним приговора. Его ни в чем не стесняли, никто не запрещал ему продолжать занятия. Но куда бы он ни пошел — в библиотеку ли, в трапезную ли, в комнату ли отдыха — товарищи встречали его неестественным молчанием, быстро сменявшимся преувеличенной непринужденностью, которая никого не могла обмануть. Сознание, что все говорят о нем, придавало ему виноватый вид. Хадсон, его товарищ по Холиуэллу, преследовал его знаками нежного внимания, но лоб его был озабоченно нахмурен. Ансельм Мили стоял во главе другой фракции — тех, кто явно считали себя оскорбленными. Во время перемены, посоветовавшись между собой, они подошли к одиноко стоящему Фрэнсису.

Говорил от лица всех Мили.

— Мы не хотим бить лежачего, Фрэнсис. Но это затрагивает всех нас и кладет пятно на всех студентов в целом. Мы считаем, что было бы благороднее с твоей стороны сознаться во всем, как подобает мужчине.

— В чем сознаться?

Ансельм пожал плечами, что еще мог он сделать? Все молчали. Мили повернулся и, уходя вместе со всеми, сказал:

— Мы решили прочесть за тебя новену^[20]. Я, конечно, особенно переживаю всю эту историю. Я-то воображал, что ты мой лучший друг.

Фрэнсису становилось все труднее делать вид, будто все обстоит нормально. Он принимался ходить по парку, окружавшему семинарию, потом вдруг резко останавливался, вспомнив, что именно любовь к ходьбе и привела его к гибели. Фрэнсис слонялся по семинарии, сознавая, что для Тэррента и других профессоров он просто перестал существовать. Он слушал лекции, но ничего не слышал. Он надеялся, что его, наконец, позовут к ректору, но его не звали.

Чувство внутреннего напряжения все росло. Он уже сам себя не мог понять. В чем загадка? Он с грустью думал, что, наверное, правы те, кто считал, что у него нет никакого призвания. Ему приходили в голову дикие мысли уехать в качестве светского брата в какую-нибудь отдаленную и опасную миссию. Он начал все чаще заходить в церковь, правда, тайком. Но тяжелее всего была необходимость постоянно притворяться перед своим маленьким мирком.

На третий день утром — это была среда — отец Гомес получил письмо. Возмущенный, но страшно довольный тем, что его находчивость оправдала себя, он побежал с ним к Тэрренту. Пока тот читал записку, Гомес стоял около него, как умная собака, ожидающая в награду доброе слово или кость.

«Мой друг, в ответ на Ваше письмо от Троицына дня, я с глубоким сожалением должен Вам сообщить, что полученные нами сведения подтверждают факт пребывания 14-го апреля в Коссе студента семинарии, все приметы которого совпадают с описанными Вами. Его видели входящим в дом некоей Розы Ойарзабаль поздно вечером и выходящим оттуда рано утром на следующий день. Вышеназванная особа живет одна, плохая репутация ее хорошо известна, и уже семь лет она не посещает церковь. Имею честь, дорогой отец, оставаться братом во Христе Сальвадор Болас. Косса».

Гомес пробормотал:

— Ну, вы согласны, что это был неплохой ход?

— Да, да, конечно, — темнее тучи, Тэррент отстранил испанца.

Держа письмо так, будто оно могло запачкать его, он устремился в комнату ректора в конце коридора. Но ректор служил мессу. Он освободится только через полчаса.

Отец Тэррент не мог ждать. Как вихрь, он пронесся через двор и, не стучась, вломился в комнату Фрэнсиса. Она была пуста. Тэррент вынужден был остановиться — он понял, что Чисхолм тоже был на мессе — он старался подавить свой гнев, подобно неукротимой лошади, грызущей удила. Отец Тэррент резко сел, вынуждая себя ждать. Его тонкая темная фигура, казалось, была заряжена молниями. Эта келья была даже более голой, чем другие. Вся обстановка состояла из кровати, комода, стола и стула, на котором он сидел. На комодe стояла выцветшая фотография угловатой женщины в ужасной шляпе, она держала за руку маленькую девочку в белом платье. Надпись гласила: «От любящих тети Полли и Норы». Тэррент подавил усмешку, но его губы презрительно скривились при виде единственной картины, украшавшей побеленные стены, — это была маленькая копия Сикстинской мадонны, Непорочной Девы. Вдруг он увидел на столе открытую тетрадь. Это был дневник Фрэнсиса. Тэррент вздрогнул, как нервная лошадь, ноздри его раздулись, глаза загорелись мрачным огнем.

С минуту он сидел, борясь со своей щепетильностью, затем встал и медленно подошел к тетради. Тэррент был джентльменом и ему было противно совать нос в чужие секреты так, словно он был обыкновенной горничной, однако к тому его вынуждал долг. Кто знает, какие еще мерзости содержатся в этой писание? С непреклонно строгим лицом отец Тэррент начал читать.

«...кажется, это святой Антоний говорил о своем „неразумии, упрямстве и несговорчивости“? Что ж, приходится утешаться этим сейчас, когда я переживаю такое уныние, какого никогда еще не испытывал. Если они отошлют меня отсюда, моя жизнь будет разбита. Я просто какой-то несчастный извращенный тип, я не умею думать правильно, как все, я не могу приучить себя идти в общей упряжке. Но я всей душой, страстно хочу трудиться для Бога. В доме Отца нашего обитателей много! Там нашлось место для таких противоположностей, как Жанна д'Арк и, скажем, блаженный Бенедикт Лабре, который не препятствовал даже вшам ползать по нему. Там, без сомнения, найдется место и для меня!

Они просят меня объяснить им. Но как я могу объяснить, когда мне нечего объяснять, когда все ясно... Святой Франсуа де Саль говорил: „Я бы скорее согласился быть стертým в порошок, чем нарушить правила“. Но

когда я вышел из ворот семинарии, я вовсе не думал о правилах или о том, что я их нарушаю. Некоторые порывы бывают совершенно подсознательны.

Мне легче, когда я пишу об этом: это придает моему проступку какую-то видимость причины. В течение нескольких дней я очень плохо спал, целыми ночами, такими жаркими, я метался в каком-то лихорадочном беспокойстве. Может быть, мне здесь приходится труднее, чем другим? Во всяком случае, в обширной литературе на эту тему путь к священству изображается, как путь светлых, ничем не омрачаемых радостей, которые буквально громоздятся одна на другую. Если бы наши возлюбленные миряне знали, как приходится бороться с собой! Здесь мне труднее всего переносить чувство своей изолированности, физической пассивности — какой никудышный мистик получился бы из меня! — а тут еще эти случайные, проникающие сюда иногда отголоски внешнего мира! И потом я же понимаю, что мне уже двадцать три года, что за всю свою жизнь я ничем не помог ни одной живой душе, и я не могу найти себе места от этих мыслей. Письма Уилли Таллоха оказывают на меня самое пагубное влияние (как сказал бы отец Гомес). Теперь Уилли уже врач, а его сестра Джин окончила курсы сестер. Оба они работают в Тайнкасле, лечат бедноту, посещают трущобы... я чувствую, что мне тоже пора выходить в жизнь и начинать борьбу... Настанет, конечно, и мой день... я должен быть терпеливым. Но меня приводят в еще большее смятение известия о Полли и Нэде. Я был страшно рад, когда они решили сменить квартиру и взять к себе Джуди, Норину дочь. Полли сняла маленькую квартирку в Клермонте, на окраине города. Но Нэд болел, Джуди оказалась трудным ребенком, а Гилфойл, которому доверили все дела по таверне, как компаньон никуда не годен. Нэд теперь совсем опустился. Он нигде не бывает, никого не хочет видеть. Достаточно было одного безрассудного, невообразимо глупого, опрометчивого поступка, чтобы погубить его. Будь он более толстокожим, он бы сумел это пережить.

Жизнь требует иногда большой веры. Дорогая Нора! За этой нежной банальностью кроется столько мыслей и чувств. Отец Тэррент однажды сказал (и, по-моему, совершенно правильно): „С некоторыми искушениями нельзя бороться — нужно запретить свою душу и бежать от них“.

Моя вылазка в Коссу и была, должно быть, таким бегством. Сначала, выйдя из ворот семинарии, я не собирался уходить далеко, хотя и шел очень быстро. Но облегчение, чувство освобождения от самого себя, которые мне принесла эта неистовая ходьба, вели меня все дальше. Я здорово вспотел, так потеют крестьяне, работающие в поле. Соленые струи

пота, казалось, очищали от всякой скверны. На душе у меня стало легче, сердце запело, хотелось идти и идти вперед, пока не свалюсь! Я шел целый день без еды и питья. Я прошел большое расстояние, потому что к вечеру услышал запах моря. А когда в бледном небе загорелись звезды, я дошел до вершины горы и у себя под ногами увидел Коссу. Деревня приютилась в укрытой бухте, море едва-едва плескалось о берег. Единственная улица была обсажена цветущими акациями. Это было невыразимо прекрасно. Я смертельно устал, на пятке у меня вздулся громадный волдырь. Но когда я спустился с горы, меня приветливо встретило спокойное биение жизни этого селения.

На маленькой площади жители наслаждались вечерней прохладой, напоенной запахом акаций. Сумерки казались темнее от света ламп, горевших в маленькой гостинице, около открытой двери которой стояли две сосновых скамьи. Перед скамьями в мягкой пыли несколько стариков играли в кегли, катая деревянные шары. Из бухты доносилось лягушачье кваканье. Бегали и смеялись дети. Это было просто и прекрасно. Хотя я и сознавал, что у меня не было ни песеты в кармане, я все же уселся на одну из скамеек около двери. Как хорошо было отдыхать! Я просто осовел от усталости. Вдруг из тихой тьмы под деревьями раздался тихий звук каталонской волынки. Он был как бы созвучен этой ночи. Кто никогда не слышал волынки, её пронзительных и нежных мелодий, тот не сможет себе представить, какая радость охватила меня. Я был очарован. Думаю, это оттого, что я шотландец, и голос волынки живет у меня в крови. Я сидел, опьянев от музыки, темноты и красоты ночи, моей крайней слабости.

Ночь я решил провести на берегу моря. Но как раз, когда я собирался пойти туда, с моря надвинулся туман. Он окутал деревню покровом тайны. В пять минут вся площадь заполнилась вьющимися испарениями, с деревьев закапало, все стали расходиться по домам. Очень неохотно я решил идти к местному священнику, „отдаться на его милость“ и переночевать у него. Вдруг женщина, сидевшая на другой скамье, заговорила со мной. Я уже некоторое время чувствовал на себе ее взгляд. Она смотрела на меня с той жалостью, смешанной с презрением, которую почему-то вызывает самый вид священнослужителя в христианских странах. Словно читая мои мысли, она сказала:

— Народ здесь прижимистый. Никто не пустит вас к себе.

Женщине было около тридцати; скромно одетая в черное, с бледным лицом, темными глазами и начинавшей уже полнеть фигурой.

Она продолжала равнодушно:

— В моем доме есть постель. Если вам будет угодно, вы можете занять

ее.

— У меня нет денег, чтобы заплатить за ночлег. Она презрительно засмеялась:

— Вы можете заплатить мне своими молитвами. Пошел дождь. Гостиницу закрыли. Мы сидели на мокрых скамейках, с акаций на нас капала вода. Площадь совсем опустела.

Видимо, она поняла всю нелепость нашего положения и встала.

— Я иду домой. Если вы не дурак, то примете мое гостеприимство.

Моя тонкая сутана промокла, я начал дрожать. Я подумал, что смогу послать ей деньги за комнату, когда вернусь в семинарию. Я встал и пошел с ней по узкой улице.

Ее дом стоял в середине улицы. Мы спустились на две ступеньки и вошли в кухню. Она зажгла лампу, потом сбросила с себя черную шаль, поставила на стол кастрюльку шоколада и достала из печи свежий каравай хлеба. На стол была постелена красная клетчатая скатерть. По маленькой чистой комнате распространился аппетитный запах кипящего шоколада и горячего хлеба. Наливая шоколад в толстые чашки, она посмотрела на меня через стол.

— Вы бы прочли молитву перед едой. Это сделает пищу вкуснее.

Хотя в ее голосе теперь была уже несомненная ирония, я прочел молитву. Мы принялись за еду, которая была так вкусна, что лучше некуда.

Она все наблюдала за мной. Когда-то она была очень хороша собой, но следы былой красоты придавали ее темноглазому оливковому лицу какую-то суровость. Маленькие уши, плотно прижатые к голове, были проткнуты тяжелыми золотыми кольцами. Пухлые руки напоминали руки рубенсовских женщин.

— Ну, маленький падре, вам повезло, что я вас пустила сюда. Я не очень-то люблю священников. В Барселоне, когда мне случалось встречать их, я смеялась им прямо в лицо.

Я не мог удержаться от улыбки.

— Меня это нисколько не удивляет. Первое, чему нам приходится учиться, — это быть осмеянными. Лучший человек, какого я когда-либо знал, проповедовал на улицах. Весь город собирался, чтобы посмеяться над ним. Они звали его в насмешку „святой Дэниел“. Видите ли, в наши дни мало кто сомневается, что каждый, кто верит в Бога, или лицемер, или дурак.

Она медленно тянула шоколад, глядя на меня поверх чашки.

— А вы не дурак. Скажите, я вам нравлюсь?

— По-моему, вы очаровательны и добры.

— Я по натуре добрая. У меня была грустная жизнь. Мой отец был знатным кастильцем. Мадридское правительство отобрало у него все его владения. Муж мой командовал большим военным кораблем. Он погиб в море. Я сама — актриса, живу пока здесь в глуши в ожидании того, что мне вернут поместье моего отца. Вы, конечно, понимаете, что я вру?

— Да, отлично понимаю.

Она не приняла это за шутку, как я надеялся, и слегка покраснела.

— Вы слишком умны. Но я тоже знаю, почему вы здесь, мой беглый попик, все вы одинаковы, — она преодолела приступ досады и стала надо мной подсмеиваться. — Вы бросили мать-церковь ради матери Евы.

Я был озадачен. Потом до меня дошел смысл ее слов. Это было так нелепо, что мне хотелось рассмеяться, но это было и противно, и я подумал, что мне надо уходить отсюда. Прикончив свой хлеб и шоколад, я встал и взял шляпу.

— Я вам страшно благодарен за ужин, он был просто великолепен.

Выражение ее лица изменилось — из злого оно стало удивленным.

— Ага, так вы, значит, лицемер.

Она надулась и прикусила губу. Когда я уже был у двери, она вдруг сказала:

— Не уходите!

Я молчал. Тогда она сказала вызывающе:

— Нечего на меня так смотреть! Я могу поступать, как мне заблагорассудится. Мне это доставляет удовольствие. Посмотрели бы вы на меня в субботние вечера в Барселоне! Я так веселилась, что вам и не снилось! Ступайте наверх и ложитесь спать.

Опять наступило молчание. Она, казалось, стала более рассудительной. Я слышал, что на улице все еще шел дождь. Поколебавшись, я направился к узкой лестнице. Нога моя распухла и очень болела. Должно быть, я сильно хромал, потому что она внезапно холодно спросила:

— Что случилось с вашей драгоценной ногой?

— Ничего, просто натер ее.

Она изучающе посмотрела на меня своим странным непроницаемым взглядом.

— Я промою ее.

Несмотря на все мои протесты, женщина заставила меня сесть. Носок прилип к живому мясу. Она отмочила его водой и отодрала. Ее неожиданная доброта очень смущала меня. Она вымыла обе мои ноги и чем-то смазала их. Потом встала.

— Теперь вам будет легче, а носки ваши будут готовы к утру.

— Как мне благодарить вас?

Она вдруг сказала глухим бесцветным голосом:

— На что человеку такая жизнь, как моя!

Прежде чем я мог что-нибудь ответить, она подняла кувшин.

— Пожалуйста, не вздумайте читать мне проповеди, а то я разобью его о вашу голову. Ваша постель на втором этаже. Спокойной ночи.

Она отвернулась к огню, а я пошел наверх, нашел маленькую комнатку под самой крышей и спал как мертвый.

Когда утром я спустился вниз, она уже суетилась на кухне, готовя кофе. Она дала мне позавтракать. Уходя, я попытался выразить ей мою благодарность, но она резко оборвала меня. На прощание женщина улыбнулась мне своей странной печальной улыбкой.

— Вы слишком невинны, чтобы быть священником. У вас ничего не выйдет.

Я отправился в обратный путь в Сан-Моралес. Я хромал, и мне вдруг стало страшно: как-то меня там примут? Я очень боялся и не спешил».

Отец Тэррент долго стоял у окна, не двигаясь, потом тихо положил дневник на стол. Он вдруг вспомнил, что это он же и посоветовал Фрэнсису вести его. Методичными движениями Тэррент порвал письмо испанского священника на мелкие клочки. Его лицо приняло необычное выражение. Вся холодная суровость и непреклонная строгость — следы безжалостных умерщвлений плоти, которым он себя подвергал, — исчезли с него, оно стало молодым, великодушным и задумчивым. Все еще сжимая в руке обрывки письма, почти не сознавая, что он делает, он три раза покаянно ударил себя в грудь. Потом резко повернулся и вышел из комнаты. Спускаясь по широкой лестнице, он столкнулся с Ансельмом Мили. Следовавший во всем отцу Тэрренту примерный семинарист — Мили восхищался им беспредельно и быть замеченным им было бы для него блаженством — осмелился остановиться и скромно спросить:

— Простите, сэр. Мы все очень волнуемся. Я хотел бы узнать, есть ли какие новости... относительно Чисхолма?

— Какие новости?

— Ну... насчет его отъезда...

Тэррент посмотрел на свою креатуру с легким отвращением.

— Чисхолм никуда не уезжает, — и с внезапной яростью добавил: — Вы дурак!

В этот вечер, когда Фрэнсис сидел у себя в комнате, ошеломленный своим чудесным избавлением, и все еще не мог в него поверить, один из

слуг семинарии молча передал ему сверток. В нем была чудесная статуэтка Монсерратской мадонны, вырезанная из черного дерева, — маленький шедевр испанского искусства пятнадцатого века. Никакой записки, ни слова объяснения не было приложено к этой восхитительной вещице. Вдруг юношу осенила смутная догадка — он вспомнил, что видел ее над *grie-dieu* в комнате отца Тэррента.

Ректор, встретившись с Фрэнсисом в конце недели, не преминул уязвить его.

— Меня поражает, мой друг, как вы легко отделались. В мое время такие прогулы считались преступлением, заслуживающим наказания.

Он вперил во Фрэнсиса свой умный взгляд, в котором мелькал хитрый огонек.

— Как покаяние, вы могли бы написать мне сочинение, тысячи две слов, на тему: «Прогулки и их достоинства».

В маленьком семинарском мирке и у стен есть уши, а замочные скважины обладают поистине дьявольским зрением. История побега Фрэнсиса постепенно стала известна всем. Передаваемая шепотом друг другу, она обростала все новыми подробностями, приукрашалась и отшлифовывалась, как шлифуются грани драгоценного камня, подвергающегося обработке. Вероятно, ей суждено было стать классической в истории семинарии.

Когда отец Гомес узнал все подробности, он написал обо всем своему другу, приходскому священнику Коссы. На отца Боласа это произвело громадное впечатление. Он ответил пылким письмом на пяти страницах. Последний абзац этого письма заслуживает цитирования:

«Конечно, высшим достижением было бы обращение этой женщины. Розы Ойарзабаль. Как замечательно было бы, если бы в результате посещения нашего молодого апостола она явилась ко мне и пала на колени, заливаясь слезами сокрушения. Но, увы! Она вступила в компанию с другой „дамой“ и открыла в Барселоне публичный дом, который, с прискорбием должен Вам сообщить, процветает».

III.

Неудачливый священник

1

Фрэнсис прибыл в Шейлсли (в сорока милях от Тайнкасла) в январе. Был ранний субботний вечер, дождь лил не переставая, но ничто не могло охладить его пыла и горенья его духа.

Поезд исчез в тумане, а он все еще стоял на открытой мокрой платформе, окидывая живым взглядом ее унылую пустоту. Никто не пришел встретить его, однако ничуть этим не обескураженный, молодой священник поднял свой чемодан и пошел к главной улице шахтерского поселка. Вероятно, не так уж трудно будет найти церковь Спасителя.

Это было его первое назначение, его первый приход. Он все еще не мог поверить... Сердце его пело... наконец, наконец-то... Фрэнсис недавно был посвящен и теперь мог вступить в битву за человеческие души.

Хотя его и предупреждали, все же Фрэнсис был поражен — никогда еще он не видел ничего более уродливого, чем окружавший его поселок. Шейлсли состоял из длинных рядов серых домов и убогих лавчонок, перемежавшихся кучами шлака, свалками мусора, пустырями; было, правда, еще несколько таверн и часовен, и над всем возвышались высокие черные терриконы угольных шахт Реншо. Фрэнсис весело сказал себе, что ему важны люди, а не место.

Католическая церковь находилась в восточной части поселка, по соседству с шахтами, и вполне гармонировала с окружающим пейзажем. Это было большое здание из необожженного красного кирпича, с готическими окнами голубого цвета, с темно-красной рифленой железной крышей и ржавым шпилем. По одну сторону от нее стояла школа, по другую — дом священника, перед которым красовался заросший бурьяном пустырь, обнесенный поломанным забором.

Волнуясь и тяжело дыша, Фрэнсис подошел к маленькому ветхому домику и дернул звонок. Ему долго не отворяли, и он уже собирался позвонить еще раз, как дверь открыла толстуха в голубом полосатом фартуке. Она оглядела его и кивнула:

— А, это вы, отец! Его преподобие ожидает вас. Входите! — она

добродушно показала ему дверь гостиной. — Ну, и погодка, нечего сказать. Пойду, добавлю копченых селедочек.

Фрэнсис решительно вошел в комнату. За столом, покрытым белой скатертью, в ожидании ужина сидел коренастый священник лет пятидесяти и нетерпеливо стучал ножом по столу, но прекратил это занятие, чтобы поздороваться со своим новым помощником.

— А, вот и вы, наконец! Входите.

Фрэнсис протянул ему руку.

— Отец Кезер, не правда ли?

— Правильно. А кого еще вы могли ожидать? Короля Вильгельма Оранского? Ну ладно, вы как раз подросли к ужину. Тем лучше для вас, — откинувшись на спинку стула, он крикнул: — Мисс Кэфферти! Вы что, собираетесь всю ночь копать?

Потом он обратился к Фрэнсису:

— Садитесь и не смотрите, как потерянный. Я надеюсь, вы играете в криббидж^[21]? Люблю сыграть партию вечером.

Фрэнсис придвинул стул к столу. Вскоре мисс Кэфферти поспешно внесла большое закрытое блюдо с копчеными селедками и вареные яйца. Пока отец Кезер клал себе в тарелку пару селедочек и два яйца, она поставила прибор для Фрэнсиса. Тогда отец Кезер передал ему блюдо и сказал с полным ртом:

— Валяйте, кладите себе. И не скупитесь, вам придется много работать, так что лучше ешьте побольше.

Сам он ел быстро. Его жующие челюсти и ловкие руки, покрытые черными волосами, как войлоком, ни минуты не оставались без движения. Отец Кезер был плотным мужчиной, с круглой, коротко остриженной головой. Сжатые губы, плоский нос с широкими ноздрями, из которых росли два темных запачканных табаком клочка волос, создавали впечатление силы и властности. Каждое его движение было образцом бессознательного самоутверждения. Разрезая пополам яйцо и засовывая одну половинку в рот, он маленькими глазками наблюдал за Фрэнсисом и составлял о нем свое мнение, подобно тому, как мясник оценивает качества молодого бычка.

— Вы выглядите не очень-то сильным. Верно, не потянете и одиннадцати стоунов, а? И до чего только вы, помощники священников, дойдете? Мой последний был совсем слабосильный, еле на ногах держался. Ему надо было бы зваться Фли, а не Ли^[22], уж больно он был никчемный. Это все эти иностранные штучки вас портят. В мое время... те парни, с

которыми я учился в Мейноте, были настоящими мужчинами.

— Ну, я думаю, вы увидите, что я здоров и телом и духом, — улыбнулся Фрэнсис.

— Мы это скоро увидим, — проворчал отец Кезер. — Когда кончите ужинать, идите исповедовать. Я приду позже. Впрочем, сегодня будет мало народа... вон как льет. Сделаем скидку на погоду. Они ленивы до мозга костей, мои прелестные прихожане!

Наверху, в своей комнате с тонкими стенками, солидно обставленной неуклюжей кроватью и громадным гардеробом времен королевы Виктории, Фрэнсис вымыл руки и умылся у крашеного умывальника. Затем он поспешил вниз, в церковь.

Отец Кезер произвел на него неприятное впечатление, но он говорил себе, что надо быть справедливым: первые суждения слишком часто бывают ошибочными. Он долго сидел в холодной исповедальне, на которой все еще висела табличка с именем его предшественника, отца Ли, слушая, как дождь барабанит по жестяной крыше. Наконец, он вышел оттуда и стал бродить по пустой церкви. Она являла собой печальное зрелище — пуста, как сарай, и не очень чиста. По-видимому, кто-то сделал неудачную попытку покрасить неф темно-зеленой краской под мрамор. У статуи св. Иосифа отломилась рука, и ее кое-как приделали. Картины, изображавшие крестный путь, были жалкой мазней. На алтаре, в вазах из тусклой латуни, стояли безвкусные бумажные цветы, оскорблявшие глаз. Но все эти недостатки только увеличивали его желание улучшить жизнь своих прихожан. Фрэнсис опустил перед дарохранительницей на колени и стал исступленно молиться — он отдавал свою жизнь Богу.

Фрэнсис привык к культурной атмосфере Сан-Моралеса, служившего перепутьем для ученых и проповедников, которые ехали из Лондона в Рим или Мадрид, людей высокообразованных и прекрасно воспитанных.

Прошло несколько дней, и с каждым днем ему становилось все труднее. Отец Кезер не был человеком легким, по натуре он был раздражителен и склонен к угрюмости, а годы, трудный жизненный путь и неумение завоевать любовь своей паствы сделали его характер еще тяжелее.

Когда-то у него был прекрасный приход на морском курорте в Истклиффе. Но отец Кезер был столь неуживчив, что влиятельные люди города обратились к епископу с просьбой перевести его в другое место. Этот случай, сначала страшно его разобидевший, со временем стал изображаться им как добровольное самопожертвование, и он любил повторять: «Да, я по своей собственной воле сменил трон на скамеечку для

ног, но... тогда были другие времена...»

Одна лишь мисс Кэфферти, его кухарка и экономка в одном лице, не покинула его. Она была с ним все эти годы. Она его понимала, потому что оба были одного поля ягодой, переносила его брань и отвечала ему тем же. В общем, они уважали друг друга. Когда Кезер ежегодно уезжал в шестинедельный отпуск в Хэрроугейт, то ее он тоже отпускал домой.

В домашнем быту он был беззастенчив и невоспитан: он громко хлопал дверью ванной и звук выпускаемых им газов сотрясал дощатые стены дома. Вера его непроизвольно свелась к голой форме — он не понимал ее внутреннего смысла, не признавал никаких «тонкостей», никакой широты взглядов. Его глубочайшим убеждением было: делай так или будешь проклят. Отправляемые им обряды стали всего лишь некими актами, которые он совершал с помощью слов, воды, масла и соли. Без этого, провозглашал отец Кезер, паству ожидал жаркий, зияющий своей пастью ад. Кезер был чрезвычайно нетерпим и громко заявлял о своем презрении ко всем другим вероисповеданиям, что не способствовало ему в приобретении друзей. Даже его отношения с собственными прихожанами не были мирными. Приход был очень беден, на церкви лежал крупный долг, и, несмотря на строжайшую экономию, ему часто бывало отчаянно трудно сводить концы с концами. У него были вполне законные основания обращаться за помощью к своей пастве, однако его природная вспыльчивость в сочетании с полным отсутствием такта настраивала людей против него. В своих проповедях, твердо стоя на расставленных ногах и агрессивно выпятив подбородок, он бичевал своих немногочисленных слушателей за их небрежение к церкви.

— Как, по-вашему, я должен платить аренду, налоги и страховку? И еще ремонтировать церковную крышу, чтобы она не свалилась вам на головы? Вы же не мне даете эти деньги, а Всемогущему Богу. Так вот, слушайте, что я вам скажу, слушайте все, и мужчины и женщины, — я хочу видеть на этой тарелке серебро, а не ваши жалкие медяки. Вы, мужчины, почти все обеспечены работой, благодаря великодушию сэра Джорджа Реншо. Никаких ваших отговорок я не признаю! А что касается женщин, им подобало бы тратить побольше денег на церковь и поменьше на свои тряпки.

Отгремев, он сам брал тарелку для сбора пожертвований и обвиняющим взором пронзал каждого прихожанина, потрясая ею перед их носами.

Его требования привели к острой вражде между ним и его прихожанами. Чем больше он бранил их, тем меньше они ему давали. Тогда

он придумал новый план — стал раздавать им маленькие темно-желтые конверты и, когда они оставались пустыми, он, обходя церковь после службы, собирал мелкие монеты и в ярости бормотал: «Вот как они обращаются со Всемогущим Богом!»

Однако на этом мрачном финансовом небе иногда светило и солнце. Сэр Джордж Реншо, владелец шахт в Шейлсли и еще пятнадцати шахт в графстве был не только очень богатым человеком и ревностным католиком, но и неисправимым филантропом. Хотя его поместье, Реншо Холл, находилось в семидесяти милях, на другом конце графства, все же церковь Спасителя попала в его филантропический список. Каждое Рождество, с завидной регулярностью, приходский священник получал чек на сто гиней.

— Гиней, учтите! Не каких-то там жалких фунтов! Вот это джентльмен! — захлебывался от восторга отец Кезер.

Он видел сэра Джорджа всего два раза на каких-то общественных собраниях в Тайнкасле много лет тому назад, но говорил о нем с уважением и благоговейным страхом. И втайне чрезвычайно боялся: а вдруг этот магнат по какой-то причине — конечно, не по его вине — прекратит свои пожертвования.

К концу первого месяца жизни в Шейлсли постоянное общение с отцом Кезером начало сказываться и на Фрэнсисе. Он был все время в напряжении. Не удивительно, что молодой отец Ли заболел нервным расстройством. Духовная жизнь Фрэнсиса омрачилась, его представления о ценностях спутались. Он ловил себя на том, что смотрит на отца Кезера со все возрастающей враждебностью. Тогда он спохватывался и, подавив внутренний стон, отчаянно боролся с собой, стараясь добиться от себя послушания и смирения.

Его работа по приходу была крайне тяжела, особенно в эту холодную пору. Три раза в неделю он должен был ездить в дальние деревушки Броутон и Гленберн и служить там мессы, исповедовать и учить детей катехизису. Полная безучастность его подопечных делала его работу еще труднее. Даже дети были сонны, вялы и всячески старались от него отвертеться. Фрэнсис видел вокруг себя бедность и душераздирающую нищету. Весь приход, казалось, был погружен в глубокую, ничем не нарушаемую апатию. Он страстно твердил себе, что не поддастся этой рутине. Молодой священник отлично понимал свою неумелость и неловкость, но его сжигало желание тронуть сердца этих несчастных, помочь им. оживить их. Чего бы это ему ни стоило, он раздует искру и заставит разгореться огонь под этим почти угасшим пеплом. А старший священник, наблюдательный и проницательный, казалось, с каким-то

мрачным юмором взирал на трудности своего помощника и, иронически подсмеиваясь, ждал, когда тот сменит свой идеализм на его практический здравый смысл. Фрэнсису от этого было еще хуже.

Однажды, когда он вернулся домой, после того как проехал десять миль под дождем и ветром, чтобы попасть в Броутон к умирающему, отец Кезер выразил свое отношение к Фрэнсису единственной насмешливой фразой:

— Что? Не так-то легко делать праведников, как вы думали, а? — и добавил: — Все они ни на что не годные бездельники.

Фрэнсис вспыхнул.

— Христос умер за этих бездельников.

Молодой священник глубоко переживал свои неудачи, и наложил на себя аскезу, умерщвляя свою плоть. Он стал очень мало есть, нередко ограничиваясь чашкой чая и несколькими гренками. Часто Фрэнсис просыпался среди ночи, мучимый своими мыслями, и тихонько пробирался в церковь. Ночью, в лунном свете, церковь не казалась такой голой и некрасивой, как днем. Таинственные тени и молчание наполнили ее. Он падал на колени и исступленно молился о ниспослании ему мужества в борьбе с испытаниями. Наконец Фрэнсис поднимал глаза к распятому на кресте — терпеливому, кроткому, страдающему — и мир нисходил в его душу.

Однажды, вскоре после полуночи, когда он возвращался из церкви и на цыпочках пробирался к себе наверх, он увидел отца Кезера, который ожидал его. Тот был в ночной рубашке и в пальто, горящая свеча освещала его недовольное лицо. Стоя волосатыми ногами на верхней площадке, настоятель сердито преградил ему путь.

— Хотел бы я знать, что вы делаете?

— Иду к себе в комнату.

— И где же вы изволили быть?

— В церкви.

— Что! В это время!

— А почему бы нет? — Фрэнсис заставил себя улыбнуться. — Или вы думаете, что я могу разбудить Господа Бога?

— Нет. Но вы можете разбудить меня, — отец Кезер вышел из себя. — Я не потерплю этого. В жизни не слыхивал такой глупости. Я ведаю приходом, а не монашеским орденом. Можете молиться сколько угодно днем, а ночью, пока вы находитесь у меня под началом, извольте спать.

Фрэнсис подавил готовую сорваться у него с языка резкость и молча прошел в свою комнату. Он должен обуздать себя, должен приложить все

усилия, чтобы поладить со своим начальником, если хочет сделать хоть что-то полезное в приходе. Фрэнсис старательно перебирал в уме все хорошие качества отца Кезера: его искренность и мужество, его несокрушимую чистоту.

Через несколько дней, выбрав, как ему казалось, подходящий момент, он дипломатично заговорил со старшим священником:

— Я вот все думаю, отец... у нас такой отдаленный и разбросанный приход и нет никаких подходящих развлечений... вот я и подумал, не могли бы мы устроить клуб для нашей молодежи...

— Ага! — отец Кезер был в шутовском настроении, — теперь, мой мальчик, вы ищете популярности!

— О, Господи! Нет, конечно, — ответил Фрэнсис в тон ему — ему страшно хотелось добиться своего. — Я, разумеется, не могу заранее поручиться, что из этого что-нибудь выйдет, но клуб мог бы отвлечь молодежь от улицы, а более взрослых от кабаков. Это помогло бы физическому и социальному развитию молодых людей, — он улыбнулся. — Это даже могло бы привлечь их к церкви.

— Хо-хо-хо! — загоготал отец Кезер. — Хорошо, что вы так молоды. Думается мне, вы еще хуже, чем был Ли. Ну, что ж, валяйте, коли вам так хочется. Но не ждите благодарности от наших бездельников.

— Спасибо, большое спасибо. Мне нужно было только ваше позволение.

И он с горячностью взялся за осуществление своего плана.

Дональд Кайл, управляющий рудником, был шотландцем и верным католиком, неоднократно проявлявшим свою доброжелательность. Два других служащих шахты — Моррисон, контролер-весовщик, чья жена иногда приходила помогать в дом священника, и Криден, главный подрывник, тоже принадлежали к их церкви. Через управляющего Фрэнсис получил разрешение пользоваться три вечера в неделю помещением Красного Креста. С помощью двух других он начал возбуждать интерес к предполагаемому клубу. Подсчитав свои капиталы, Фрэнсис увидел, что они не составляют и двух фунтов, но он скорее бы согласился умереть, чем попросить помощи у прихода. Фрэнсис написал Уилли Галлоху, который по своей работе был связан с клубами Тайнкасла, и просил его выслать старые, вышедшие из употребления гимнастические снаряды.

Ломая голову над тем, как бы получше начать свое рискованное предприятие, он решил, что ничто так не привлечет молодежь, как танцы. В комнате было пианино, а Криден прекрасно играл на скрипке. На двери он повесил объявление, а когда наступил четверг, потратил все свои деньги на

пирожные, фрукты и лимонад.

Успех вечера, начавшегося довольно натянуто, превзошел самые смелые ожидания. Народу пришло так много, что лансье^[23] танцевали даже восемь групп. У большинства парней не было ботинок, и они танцевали в своих шахтерских сапогах. В перерывах между танцами они сидели на скамейках, расставленных вдоль стен, и лица у них были раскрасневшиеся и счастливые, а девушки шли в буфет и приносили им угощение. Танцую вальс, все пели припев. Небольшая кучка шахтеров, возвращавшихся со смены, собралась у входа и с любопытством разглядывала веселых молодых людей. В свете газовых фонарей их зубы сверкали на почерневших от угольной пыли лицах. Под конец шахтеры тоже стали подпевать, а один-другой побойчее приникли внутрь и смешались с танцующими. Да, это был прекрасный вечер! Стоя в дверях и выслушивая прощальные приветствия юношей и девушек, Фрэнсис думал: «Они начинают оживать. Боже мой, я, кажется, чего-то добился», — его залило волной тихой радости. На следующее утро отец Кезер вышел к завтраку в страшной ярости.

— Что это я слышу!? Хорошенькое дело! Вот уж воистину великолепный пример! Постыдились бы!

Молодой священник посмотрел на него с изумлением.

— О чем вы говорите? Я ничего не понимаю!

— Вы знаете, о чем я говорю! Этот дьявольский кабак, который вы устроили вчера...

— Но вы же сами всего неделю назад позволили открыть клуб.

Отец Кезер огрызнулся:

— Я вовсе не имел в виду это непристойное сборище чуть ли не у порога моей церкви. Мне и так не легко сохранять моих девушек чистыми, а тут еще вы вводите эти нескромные танцы и лапанье!

— На этом вечере все было совершенно невинно.

— Невинно! Как Бог на небесах! — отец Кезер побагровел от гнева. — Что вы знаете о том, к чему ведет такое ухажерство, вы, болван несчастный: все эти объятия и прижимания друг к другу телами и ногами? Это порождает дурные мысли в этих юнцах, это ведет к чувственности, к похоти, к вожделению.

Фрэнсис был очень бледен, глаза его сверкали от негодования:

— Не путаете ли вы похоть с полом?

— Святой Иосиф! Да какая же тут разница?

— Такая же, как между болезнью и здоровьем.

Руки отца Кезера конвульсивно дернулись.

— О чем вы говорите, чёрт побери!?

Вся горечь, которую Фрэнсис подавлял в течение двух месяцев, бурно вырвалась наружу:

— Вы не можете подавить природу! А если вы будете делать это, она обернется против вас и оплатит вам за это. Это совершенно естественно, чтобы молодые люди и девушки встречались, общались, танцевали, ничего плохого в этом нет. Это обычная прелюдия к ухаживанию и браку. Нельзя держать пол под грязной простыней, как смердящий труп. Это как раз и ведет к лицемерию, похотливым усмешкам и тайнам уловкам. Мы должны воспитывать их в половом отношении, а не душить их пол, как гадюку. Если вы попытаетесь сделать это, то потерпите неудачу, не говоря уже о том, что чистое и красивое чувство превратите в грязь.

Наступило ужасное молчание. Шея отца Кезера побагровела, и на ней вздулись жилы.

— Вы просто богохульный щенок! Я не позволю моей молодежи спариваться на ваших танцульках!

— Тогда они будут спариваться, как вам угодно это называть, в темных переулках и в полях.

— Лжете! — закричал, заикаясь, отец Кезер. — Я сохраню девственность девушек моего прихода незапятнанной! Я знаю, что я делаю!

— Несомненно, — ответил Фрэнсис с горечью, — но факт остается фактом: статистика показывает, что по количеству незаконнорожденных Шейлсли занимает первое место в епархии.

С минуту казалось, что настоятеля хватит удар. Его руки сжимались и разжимались, словно старались удушить кого-то. Слегка раскачиваясь на ногах, он поднял палец и нацелил его на своего противника.

— Статистика покажет и другое. Она покажет, что на расстоянии пяти миль от того места, на котором я стою, не будет ни одного клуба. С вашим прекрасным планом покончено, он потерпел полный провал, его больше нет. Я говорю это, и на этот раз мое слово окончательно, — он бросился к столу и стал яростно поглощать завтрак.

Фрэнсис быстро позавтракал и ушел наверх в свою комнату, бледный и потрясенный. Сквозь пыльные стекла окна он видел здание Красного Креста и на улице около него ящик с боксерскими перчатками и булавами, прибывший вчера от Таллоха и теперь бесполезный. Страшное волнение охватило Фрэнсиса. Он думал: «Я не могу больше подчиняться. Бог не может требовать такого раболепного повиновения. Я должен бороться с отцом Кезером, бороться не за себя, а за этих жалких, загнанных людей, первых, доверенных мне Господом».

Раздирающая сердце любовь к этим несчастным, и страстное, невероятно сильное желание помочь им переполняло его душу.

В течение нескольких следующих дней, живя обычной жизнью прихода, Фрэнсис лихорадочно искал способа снять запрет с клуба. Каким-то образом этот клуб стал для него символом освобождения прихода. Но чем больше он думал об этом, тем неуязвимее казалась ему позиция отца Кезера.

Старший священник сделал свои выводы из спокойствия Фрэнсиса и с трудом скрывал свое торжество. Да, он умел укрощать их, этих молодых людей, умел заставить их подчиняться. Епископ, наверное, знает, как хорошо он с ними справляется, недаром посылает их так много, одного за другим. И отец Кезер широко ухмылялся своей угрюмой усмешкой.

Вдруг, совершенно неожиданно, Фрэнсису пришла в голову мысль, захватившая его с неодолимой силой. Конечно, это был очень слабый шанс, но все же, может быть, он будет успешным. Его бледное лицо слегка порозовело, и он едва сдержался, чтобы не вскрикнуть от волнения. Усилием воли Фрэнсис заставил себя успокоиться. Он думал: «Я попытаюсь, я должен попытаться... сразу же после отъезда тети Полли...»

Он давно уже условился с Полли, что она приедет к нему с Джуди на каникулы в последней неделе июня. Шейлсли, правда, далеко не курорт, но он расположен в возвышенной местности, и воздух тут чистый. Свежая весенняя зелень прикрыла его наготу недолговечной своей прелестью. Фрэнсису очень хотелось дать Полли возможность отдохнуть, она вполне это заслужила. Последняя зима была очень тяжелой для нее и физически, и материально. Тадеус Гилфойл, по ее собственному выражению, «разорвал» «Юнион», выпивая больше, чем продавал, скрывая доходы и стараясь прибрать к рукам остатки таверны. Хроническое заболевание Нэда приняло новый оборот, вот уже год, как он не владел ногами и совершенно отошел от дел. Теперь Нэд был прикован к своему креслу на колесах, а в последнее время стал совершенно безответственным и неразумным. Иногда им овладевали какие-то нелепые фантазии — он рассказывал ухмыляющемуся льстивому Тадеусу о своей паровой яхте, о своем частном пивном заводе в Дублине. Однажды, улизнув от присмотра Полли, он с помощью Скэнти — гротескное было зрелище, их передвижение — добрался на своем кресле до магазина в Клермонте и заказал себе две дюжины шляп. Доктор Таллох, вызванный по настоянию Фрэнсиса, сказал, что такое состояние больного вызвано не ударом, а опухолью в мозгу. Он же нашел мужчину, который остался сидеть с ним вместо Полли.

Фрэнсису, разумеется, очень хотелось поселить Джуди и тетю Полли в

комнате для гостей в доме священника, но отношение к нему отца Кезера делало просьбу об оказании им гостеприимства невозможной. (Сам же Фрэнсис нередко мечтал о том, что у него будет собственный приход и тетя Полли будет вести его хозяйство, а он сможет сам заниматься воспитанием Джуди). Фрэнсис нашел для них удобную комнату у миссис Моррисон, и 21-го июня тетя Полли и Джуди приехали. Когда он встречал их на станции, что-то вдруг кольнуло его в сердце. Полли, нестигаемая, храбрая Полли, шла от поезда ему навстречу, ведя за руку, маленькую девочку с блестящими темными волосами. Когда-то тетя Полли так же водила крошку Нору.

«Полли, милая Полли», — прошептал он неслышно.

Она мало изменилась, разве что одежда стала чуть потрепанной, да исхудалые щеки чуть больше ввалились. На ней было все то же короткое пальто, те же перчатки и шляпа. Полли никогда не тратила на себя лишнего пенни, всегда только на других. Она заботилась о Норе, о нем, о Нэде, а теперь заботится о Джуди. Полли всегда была полна самоотверженности. Фрэнсису стало трудно дышать. Он шагнул вперед и крепко обнял ее.

— Полли, я так рад видеть тебя... ты... ты... ты неизменная.

— Ах, Боже мой! — она рылась в сумочке, отыскивая носовой платок.
— Здесь так ветрено, и что-то попало мне в глаз.

Фрэнсис взял их обеих за руки и повел к ним на квартиру.

Он старался изо всех сил, чтобы им было хорошо. Вечерами они с Полли вели долгие разговоры. Ее гордость за него, за то, кем он стал, была просто трогательна. Своим трудностям она не придавала значения, но одно ее беспокоило, и Полли не скрывала этого — Джуди. С девочкой ей было трудно.

Джуди было теперь десять лет. Она посещала школу в Клермонте. У нее был сложный характер, сотканный из противоречии. Девочка казалась непосредственной и открытой, но в душе была подозрительной и скрытной. У себя в комнате Джуди собирала всякий хлам и тряслась от злости, если его кто-нибудь трогал. Она мгновенно загоралась чем-нибудь и столь же быстро остывала. Иногда на нее нападали робость и нерешительность. Девочка совершенно не умела сознаваться в своих проступках и многословно врала, силясь скрыть их. Когда же ей намекали, что она лжет, Джуди раздражалась потоком негодующих слез.

Видя все это, Фрэнсис приложил немало усилий, чтобы завоевать ее доверие. Он часто приводил девочку к себе, и в доме священника она, с присущей детям беззастенчивостью, чувствовала себя совершенно свободно, часто заходила в комнату отца Кезера, залезала на его диван,

трогала его трубки и пресс-папье. Это очень смущало Фрэнсиса, но поскольку настоятель не протестовал, он не одергивал ребенка.

В последний день их каникул, когда Полли пошла прогуляться, а Джуди забилась в угол с книгой картинок в комнате Фрэнсиса, раздался стук в дверь. Это была мисс Кэфферти. Она сказала Фрэнсису:

— Его преподобие хочет сейчас же видеть вас. Фрэнсис поднял брови при этом неожиданном требовании.

В словах экономки прозвучало что-то зловещее. Он медленно встал.

Отец Кезер, стоя, ожидал в своей комнате. Впервые за несколько недель он прямо взглянул в лицо Фрэнсису.

— Эта девочка — воровка.

Фрэнсис не ответил, но почувствовал внезапную пустоту в желудке.

— Я доверял ей, я позволял ей играть здесь, — продолжал отец Кезер. — Я думал, что она хорошая малышка, хоть... — Кезер сердито замолчал.

— Что она взяла? — помертвелыми губами выговорил Фрэнсис.

— Что обычно берут воры? — старший священник повернулся к камину, на котором выстроились в ряд маленькие столбики монет, по двенадцать пенни в каждом, которые он сам заботливо обернул белой бумагой. Отец Кезер один из них.

— Она крада деньги, собранные в церкви. Это хуже воровства — это симония^[24]. Посмотрите.

Фрэнсис осмотрел сверток. Он был вскрыт и неловко закручен сверху. Трех пенни не хватало.

— Почему вы думаете, что это сделала Джуди?

— Я не дурак, — резко перебил его отец Кезер. — Уже целую неделю у меня пропадают пенни. Каждый медяк здесь помечен.

Не говоря ни слова, Фрэнсис повернулся и пошел к себе в комнату. Настоятель последовал за ним.

— Джуди, покажи мне твой кошелек.

Джуди вздрогнула, как от удара, но быстро оправилась и сказала с невинной улыбкой:

— Я оставила его у миссис Моррисон.

— Нет, он здесь.

Фрэнсис наклонился и взял кошелек из ее кармана. Это был новый вязаный кошелек, подаренный ей тетей Полли перед каникулами. С упавшим сердцем Фрэнсис открыл его. Там лежали три пенни, каждое было помечено крестом.

Отец Кезер посмотрел на него с негодованием и торжеством.

— Что я вам говорил!? Ах ты, маленькая дрянь! Воровать у Бога! На

нее за это следовало бы подать в суд. Если бы я за нее отвечал, я бы тут же отвел ее в полицию.

— Нет, нет, — зарыдала Джуди. — Я хотела положить их обратно, правда же, хотела.

Фрэнсис был очень бледен. Это было ужасно. Он собрал все свое мужество и спокойно сказал:

— Очень хорошо! Мы пойдем в полицию, и я немедленно заявлю об этом сержанту Гамильтону.

Джуди была уже близка к истерике. Ошеломленный отец Кезер проворчал:

— Хотел бы я посмотреть на это.

Фрэнсис надел шляпу и взял Джуди за руку.

— Идем, Джуди. Ну, будь же мужественной. Мы пойдем к сержанту Гамильтону и скажем ему, что отец Кезер обвиняет тебя в краже трех пенни.

Пока он вел девочку к двери, замешательство, а затем и испуг отразились на лице отца Кезера. Он погорячился и сказал лишнее. Сержант Гамильтон, ярый протестант, не слишком жаловал его: в прошлом между ними было немало ожесточенных стычек. А теперь еще это дурацкое обвинение... он уже видел себя посмешищем всего поселка.

Отец Кезер вдруг пробормотал:

— Вам незачем туда идти! Фрэнсис будто не слышал.

— Остановитесь! — заорал отец Кезер. Задыхаясь от подавляемого гнева, он сказал:

— Ну, ладно... забудем об этом. Поговорите с ней сами, и вышел из комнаты, кипя от злости.

Когда тетя Полли и Джуди уехали в Тайнкасл, Фрэнсис порывался объяснить с настоятелем и выразить ему свое сожаление. Но отец Кезер просто замораживал его своей холодностью. Сознание, что его оставили в дураках, еще больше ожесточило его. Кроме того, он скоро уезжал в отпуск и хотел до своего отъезда твердо поставить своего помощника на место. Теперь отец Кезер ходил все время угрюмо поджав губы и совершенно игнорировал молодого священника. Он теперь ел один — по его приказанию мисс Кэфферти подавала еду сначала ему, а затем Фрэнсису.

В воскресенье перед своим отъездом отец Кезер произнес страстную проповедь, каждым словом которой он целил во Фрэнсиса. Темой проповеди была седьмая заповедь: «Не укради». Эта проповедь заставила Фрэнсиса решиться. Сразу же после службы он пошел к Дональду Кайлу, отвел управляющего в сторону и долго говорил с ним со сдержанной

настойчивостью. Лицо Кайла, сначала выражавшее только сомнение, постепенно оживилось и засветилось надеждой.

— Сомневаюсь, что у вас что-нибудь получится, но, во всяком случае, я целиком с вами.

Они обменялись рукопожатием.

В понедельник утром отец Кезер уехал в Хэрроугейт, где должен был шесть недель лечиться на водах. В тот же вечер мин. Кэфферти отбыла в свой родной Росслер. А рано утром во вторник Фрэнсис и Дональд Кайл встретились на станции. Управляющим нес портфель с бумагами и блестящую новенькую брошюру, недавно выпущенную большим конкурирующим угольным комбинатом в Ноттингеме. Он надел свой лучший костюм, и вид у него был разве чуточку менее решительный, чем у Фрэнсиса. С одиннадцатичасовым поездом они уехали.

Длинный день тянулся медленно, они вернулись только вечером. Они шли по дороге в молчании, каждый глядел прямо перед собой. Фрэнсис казался усталым, и лицо его ничего не выражало. Однако, вероятно, что-то крылось за угрюмо-торжественной улыбкой управляющего шахтой при прощании.

Следующие четыре дня прошли, как обычно. Потом, без всякого предупреждения, началась полоса странной активности, сосредоточенной, по-видимому, вокруг шахты, что было, впрочем, вполне естественно, так как именно шахта была центром района. Фрэнсис проводил тут много времени, когда был свободен, консультировался с Дональдом Кайлом, изучал планы архитектора, наблюдал за рабочими. Просто удивительно, как быстро росло новое здание. Через две недели оно поднялось выше дома, где помещалась «Скорая помощь», а через месяц строение было закончено. Тогда пришли плотники и штукатуры. Стук их молотков звучал в ушах Фрэнсиса, как музыка. Он с наслаждением вдыхал запах свежих стружек. Иной раз Фрэнсис присоединялся к ним и сам брался за работу.

Рабочие любили его. Он унаследовал от отца любовь к труду.

Если не считать ежедневных посещений ненавязчивой миссис Моррисон, его временной экономки, Фрэнсис был совсем один в доме. Он с удовольствием отдыхал от придирок и ворчанья своего начальника. Рвение Фрэнсиса не знало границ, и ему казалось, что он полон каким-то чистым белым светом. Молодой священник чувствовал, что между ним и всеми этими людьми возникает близость, что ему удалось сломить их подозрительность, что он постепенно входит в их безрадостную жизнь и что их тупые безжизненные глаза иногда вдруг оживают и загораются. Он был счастлив, потому что был близок к цели, а переполнявшая его

щемящая нежность к этим несчастным, забитым нуждой людям как бы приближала его к Богу.

За пять дней до возвращения отца Кезера Фрэнсис написал письмо.

Вот оно:

«Шейлсли, 15-го сентября 1897г.

Дорогой сэръ Джордж!

Новый клуб, который Вы с таким великодушием подарили нашему поселку, можно считать уже построенным. Он принесет громадную пользу не только Вашим шахтерам, но и всем жителям нашего района, независимо от того, к какому классу или вероисповеданию они принадлежат. Мы уже наметили программу на основании нашего с Вами разговора, копию которой я Вам посылаю. Вы сами увидите, как она обширна. Тут и бокс, и фехтование, и гимнастика, и обучение оказанию первой помощи, и еженедельно, по четвергам, танцы.

Я просто потрясен тем, с какой готовностью и щедростью Вы приняли нашу робкую (а может быть, слишком смелую!) просьбу. Никакими словами невозможно выразить нашу благодарность (мою и мистера Кайла). Но истинной наградой Вам будет та радость, которую Вы доставите рабочим Шейлсли и то добро, которое им, несомненно, принесет этот клуб. 21-го сентября состоится торжественное открытие. Если Вы окажете нам честь своим присутствием, мы будем совершенно счастливы.

Искренне Ваш Фрэнсис Чисхолм,
викарий церкви Спасителя».

Опуская это письмо, он сам себе улыбнулся странной невеселой улыбкой. Фрэнсис написал сердечное, искреннее, письмо, но он боялся реакции настоятеля и ноги его дрожали.

В полдень 19-го сентября (экономка вернулась накануне) приехал отец Кезер. Укрепив свое здоровье солеными источниками, он был полон энергии. Ему просто не терпелось, как он сам сказал, взять все в свои руки.

Шумный, загоревший, волосатый, отец Кезер заполнил церковный дом своим присутствием. Он громко поздоровался с мисс Кэфферти, заявил, что

он голоден и стал просматривать свою корреспонденцию. Затем, потирая руки, уселся за стол в ожидании ленча. На его тарелке лежал конверт. Отец Кезер вскрыл его и вынул отпечатанную карточку.

— Что это такое?

Фрэнсис облизал вдруг пересохшие губы и, набравшись мужества, сказал:

— По-видимому, это приглашение на открытие нового клуба. Я тоже получил такое.

— Новый клуб?! А нам-то какое до него дело!?

Он вытянул руку с приглашением и в бешенстве посмотрел на карточку:

— Что это за клуб?

— Очень хороший новый клуб. Можете посмотреть на него, его видно из окна. Это дар сэра Джорджа Реншо, — ответил Фрэнсис, внутренне он трепетал от страха.

— Сэр Джордж... — ошеломленный Кезер умолк на полуслове и, громко топая, подошел к окну. Он долго смотрел на внушительные размеры нового здания, затем вернулся к столу и медленно принялся за еду. Аппетит у него пропал, трудно было поверить, что это ест человек, которому только что вылечили печень.

Маленькие хмурые глаза отца Кезера с удивлением и горечью смотрели на Фрэнсиса. Его молчание было подобно заряду, готовому вот-вот разразиться взрывом.

Наконец, Фрэнсис заговорил:

— Вы должны решать, отец. Вы запретили танцы и всякие развлечения. С другой стороны, если наши прихожане будут чуждаться клуба, подвергнут его остракизму, не будут участвовать в танцах, сэр Джордж будет чувствовать себя смертельно оскорбленным, — Фрэнсис не поднимал глаз от тарелки. — Он приедет сюда в четверг, чтобы присутствовать на открытии.

Больше отец Кезер не мог проглотить ни куска. Можно было подумать, что на тарелке перед ним лежит не толстый сочный бифштекс, а кусок кухонного полотенца. Он резко встал и с внезапной неистовой яростью скомкал карточку в волосатом кулаке.

— Мы не пойдем на это чёртово открытие! Не пойдем! Слышите? Я сказал раз и навсегда!

И вне себя от бешенства отец Кезер вышел из комнаты.

В четверг вечером свежесбрившийся, в чистом белье и парадной сутане настоятель важно шествовал на открытие клуба. Фрэнсис шел сзади.

Новый зал был залит теплым светом и заполнен до отказа возбужденными рабочими и их семьями. На сцене расселись представители местной знати: Дональд Кайл с женой, доктор, учитель и два священника других вероисповеданий. Когда Фрэнсис и отец Кезер заняли свои места, раздались продолжительные аплодисменты, а потом несколько свистков и громкий смех. Отец Кезер злобно стиснул челюсти.

Звук подъехавшего автомобиля заставил всех замереть во взволнованном ожидании, и минутой позже, приветствуемый бурной овацией, сэр Джордж появился на сцене. Это был человек лет шестидесяти, среднего роста, с блестящей лысой головой, вокруг которой венцом пушились седые волосы. Усы у него тоже были серебристые, а щеки румяные — он отличался удивительной бело-розовой свежестью, присущей некоторым блондинам в преклонном возрасте. Казалось невероятным, что человек, столь скромный в одежде и манерах, обладает такой громадной властью. Благожелательно прослушав всю церемонию и приветственную речь мистера Кайла, он и сам сказал несколько слов и любезно закончил:

— Справедливость требует отметить, что отец Фрэнсис Чисхолм, со свойственной ему проницательностью и широтой взглядов, первый подал весьма ценную мысль о создании этого клуба.

Аплодисменты были оглушительны. Фрэнсис вспыхнул и умоляющими глазами с раскаянием посмотрел на своего начальника. Отец Кезер машинально поднял руки и сделал два хлопка, улыбаясь улыбкой мученика.

Позднее, когда экспромтом начались танцы, он стоял, наблюдая за сэром Джорджем, кружившим по залу с юной Нэнси Кайл.

Затем отец Кезер словно исчез, растворился в ночи. Вслед ему неслись звуки скрипок.

Когда поздно ночью Фрэнсис вернулся домой, он нашел настоятеля сидящим в темной гостиной с безвольно сложенными на коленях руками. Отец Кезер казался странно инертным, вся его воинственность исчезла. За последние десять лет он выжил большее число своих викариев, чем было жен у Генриха VIII. Теперь он сам впервые потерпел поражение от своего помощника. Отец Кезер равнодушно сказал:

— Я вынужден жаловаться на вас епископу.

У Фрэнсиса сердце перевернулось в груди, но он не дрогнул. Что бы ни случилось с ним, власть отца Кезера пошатнулась. Старший священник хмуро продолжал:

— Может быть, вам на пользу пойдет перемена. Епископ сам решит

это. Отцу Фитцджеральду нужен в Ньюкасл второй помощник. Там ведь и ваш друг Мили, не правда ли?

Фрэнсис молчал. Ему не хотелось покидать этот начавший слегка оживать приход. Но даже если его принудят к этому, все равно тем, кто сменит его здесь, будет легче. Клуб будет существовать, и это только начало, а там придут и другие перемены. Он не испытывал никакого личного торжества, только спокойную, почти зримую надежду. Фрэнсис тихо сказал:

— Мне очень жаль, если я расстроил вас, отец. Поверьте, я только старался помочь... нашим бездельникам...

Глаза двух священников встретились. Отец Кезер первый опустил свои.

2

Как-то в пятницу, в конце Великого поста, в столовой церковного дома прихода святого Доминика Фрэнсис и отец Слукас уже сидели за скудной трапезой, состоявшей из вареной трески и гренок без масла, поданных на серебре и прекрасном голубом вустерширском фарфоре, когда отец Мили вернулся с вызова к больному. По тому, как он старался казаться спокойным, как равнодушно ел, Фрэнсис сразу понял, что Ансельм что-то скрывает.

Декан Фитцджеральд во время поста обедал отдельно, у себя наверху, и три младших священника были одни, но отец Мили, жевавший обед с отсутствующим видом, молчал до конца трапезы. Только, когда литовец смахнул крошки с бороды, встал, поклонился и вышел, он несколько оживился и протяжно вздохнул.

— Фрэнсис! Я хочу, чтобы ты пошел сегодня днем со мной. Ты не занят?

— Нет, я свободен до четырех часов.

— Тогда ты должен пойти со мной. Я хочу, чтобы ты, как мой друг, как мой товарищ по работе был первым... — он замолчал, не желая больше сказать ничего, что могло приподнять покров с его тайны.

Вот уже два года как Фрэнсис был вторым викарием в церкви святого Доминика, где Джеральд Фитцджеральд, ныне декан Фитцджеральд, был настоятелем. Ансельм Мили был старшим помощником, а Слукас, священник-литовец терпелся, как неизбежная обуза, ввиду наводнявших

Тайнкасл польских эмигрантов.

Перевод из глухого прихода в Шейлсли в этот знакомый с детства приход, где службы отправлялись с точностью часового механизма, а церковь была верхом элегантного изящества, не прошел для Фрэнсиса бесследно. Он был счастлив жить вблизи от тети Полли, счастлив, что может присматривать за Нэдом и Джуди и раза два в неделю видется с Уилли Таллохом и его сестрой. Кроме того, он испытывал какое-то странное облегчение, какое-то неопределимое ощущение поддержки оттого, что монсиньор Мак-Нэбб вернулся из Сан-Моралеса, получив повышение, и стал епископом их епархии. Однако новый для него вид зрелости, морщинки вокруг серьезных глаз, худощавость фигуры без слов говорили, что эта пересадка была для него нелегкой. Декан Фитцджеральд, изящный и утонченный, гордившийся тем, что он джентльмен, был полной противоположностью отцу Кезеру. Однако при всем своем старании быть беспристрастным, он не был лишен некоторых предрассудков и высокомерия. В то время, как Фитцджеральд очень тепло относился к Ансельму, своему любимцу, и полностью игнорировал отца Слукаса, чей ломаный английский, неумение вести себя за столом, манера затыкать салфетку под бороду и странное пристрастие носить котелок в сочетании с сутаной ставили его вне круга настоятеля, к своему второму помощнику он относился со странной настороженностью.

Фрэнсис скоро понял, что его низкое происхождение, причастность к «Юнион таверне» и трагедии семьи Бэннон были для него препятствием, которое нелегко преодолеть.

К тому же он так скверно начал здесь! Устав от избитых общих мест, которые чуть не слово в слово повторялись в соответствующие воскресенья церковного года, Фрэнсис рискнул вскоре после своего приезда произнести простую, свежую и оригинальную проповедь, высказать собственные мысли о личной чистоте и честности. Увы, декан Фитцджеральд резко осудил это опасное новшество. В следующее воскресенье на кафедре взошел Ансельм и выдал противоядие — великолепное восхваление Звезды морей, в котором были и олени, припадавшие к воде, задыхаясь от жажды, и лодки, благополучно минующие мели. В конце проповеди красивый оратор драматическим жестом протянул руки вперед и воззвал: «Придите же!» Все женщины прихода были в слезах, а потом, когда Ансельм уплетал за завтраком бараньи котлеты, декан многозначительно поздравил его.

— Да, отец Мили, это было красноречиво. Я слышал, как наш покойный епископ сказал совершенно такую же проповедь двадцать лет назад.

Быть может, эти две проповеди, такие разные, и определили их дальнейший путь: месяцы шли, и Фрэнсис не мог не сравнивать свои весьма незначительные успехи с примечательными успехами Ансельма. Отец Мили был заметной фигурой в приходе: всегда жизнерадостный, даже веселый, всегда готовый засмеяться и похлопать ободряюще по плечу всякого попавшего в беду. Он много и серьезно работал, всегда нося в жилетном кармане маленькую книжечку с записями приглашений и обязанностей. Мили никогда не отказывался произнести послеобеденный спич или сказать речь на собрании. Он издавал «Газету прихода святого Доминика» — маленький листок новостей, иногда довольно забавный. Отец Милли часто посещал светское общество и, хотя никто не мог бы назвать его снобом, пил чай в лучших домах города. Когда какой-нибудь выдающийся священник приезжал проповедовать в их город, Ансельм обязательно встречал его, а потом в восхищении сидел у его ног. Позднее он посылал ему написанное прекрасным слогом письмо, где горячо благодарил за духовную радость, вынесенную им из этой встречи. Следствием такой потрясающей искренности было приобретение Ансельмом многих влиятельных друзей.

Естественно, что даже его работоспособности были пределы. Охотно приняв пост секретаря нового в епархии Центра иностранных миссий в Тайнкасле, любимого детища епископа, он с неослабным рвением работал там, чтобы угодить Его Преосвященству, но вынужден был с сожалением отказаться от заведования Клубом рабочих мальчиков на Шэнд-стрит и передать его Фрэнсису.

Район Шэнд-стрит был худший в городе, застроенный высокими многоквартирными домами и ночлежками, настоящими трущобами. И этот район, вполне, впрочем, справедливо, стал считаться районом Фрэнсиса. Здесь, хотя результаты его трудов были очень незначительны, работы у него было хоть отбавляй. Ему приходилось учиться смотреть в глаза нищете и видеть без содрогания все постыдные и печальные стороны жизни, вечную агонию бедности. Не с праведниками приходилось ему общаться там, а с грешниками, пробуждавшими в нем такую жалость, что иногда он готов был заплакать.

— Уж не вздумал ли ты поспать после обеда? — сказал Ансельм укоризненно.

Фрэнсис, вздрогнув, очнулся от своей задумчивости и увидел, что Мили ждет его у обеденного стола со шляпой и тростью в руках. Он улыбнулся и покорно встал.

На улице было свежо и ясно, дул легкий ветерок. Ансельм шагал

вперед бодрым размашистым шагом, чистый, честный, здоровый, добродушно-грубовато здороваясь с прихожанами. Популярность в приходе святого Доминика не испортила его. Многочисленных почитателей Ансельма больше всего очаровывала в нем манера отрицать свои достижения.

Вскоре Фрэнсис понял, что они направляются к новому предместью, недавно присоединенному к их приходу. За городской чертой, там, где раньше был парк какого-то поместья, полным ходом шло строительство. Всюду сновали рабочие с груженными кирпичом носилками и тачками. Фрэнсис подсознательно отметил большую белую доску с надписью: «Земельный участок Холлиза. Обращаться к Мэлкому Гленни, стряпчему». Но Ансельм спешил вперед, через гору, через зеленеющие поля, потом повернул налево по заросшей лесной тропинке. Приятно было видеть этот кусочек сельской местности в такой близости от дымовых труб города. Вдруг отец Мили остановился в молчаливом волнении, как гончая в стойке.

— Ты знаешь где мы, Фрэнсис? Ты слыхал об этом месте?

— Конечно.

Фрэнсис часто проходил через эту живописную лощину, где скалы были покрыты лишайниками, а дно, поросло желтым раkitником. Лощину окаймляла маленькая овальная рощица бронзовых буков. Это было самое красивое место на много миль в округности. Он часто удивлялся, почему это место называли «Уэлл»^[25], а иногда, впрочем, «Мэриуэлл»^[26]. Водоем был сух уже в течение пятидесяти лет.

— Смотри! — сжав ему руку, отец Мили повел Фрэнсиса вперед.

Из сухих скал бил кристально чистый источник. Наступило молчание, потом отец Мили нагнулся, зачерпнул воды руками и, словно священнодействуя, выпил ее.

— Попробуй, Фрэнсис. Мы должны быть благодарны за то, что нам выпало счастье быть среди первых...

Фрэнсис наклонился и выпил воды. Она была сладкая и холодная. Он улыбнулся:

«Вкусная вода».

Мили посмотрел на него как человек, умудренный каким-то неведомым Фрэнсису знанием, не лишенным, впрочем, оттенка высокомерия.

— Милый мой, у неё, по-моему, просто божественный вкус.

— И давно она течет?

— Это началось вчера на закате. Фрэнсис засмеялся.

— Право, Ансельм, ты сегодня похож на дельфийского оракула —

полон намеков на какие-то знамения и чудеса. Давай-ка выкладывай все по порядку. Кто сказал тебе об этом?

Отец Мили отрицательно покачал головой.

— Я не могу, пока еще не могу...

— Но ты же меня ужасно заинтриговал.

Ансельм довольно улыбнулся. Потом снова принял торжественный вид.

— Я не могу пока открыть эту тайну, Фрэнсис. Я должен пойти к декану Фитцджеральду. Он сам должен заняться этим. Я тебе, конечно, доверяю... я знаю, что ты с уважением отнесешься к моему доверию.

Фрэнсис слишком хорошо знал своего товарища и не стал настаивать на своем.

Когда они вернулись в Тайнкасл, он расстался со своим коллегой и пошел к больному на Глэнвил-стрит. Один из членов его клуба, мальчик по имени Оуэн Уоррен, несколько недель тому назад сильно ушиб ногу во время игры в футбол. Мальчик был беден и истощен. К своему ушибу он отнесся небрежно. Когда, наконец, вызвали районного врача, у него на голени уже образовалась страшная язва.

Вся эта история очень успокоила Фрэнсиса, тем более, что доктор Таллох не был уверен в прогнозе. В этот вечер, стремясь подбодрить Оуэна и его измучившуюся мать, Фрэнсис совершенно забыл об их необычной и непонятной для него экскурсии. Однако, когда на следующее утро из комнаты декана, послышались громкие угрожающие звуки, он снова вспомнил о ней.

Великий пост был ужасным испытанием для декана Фитцджеральда. Он был человек праведный и соблюдал пост. Но поститься ему было мучительно — его полное красивое тело требовало привычной вкусной и питательной пищи. Пост не только изнурял его здоровье, но и портил его характер. Отец Фитцджеральд становился замкнутым, ходил словно никого не видя и каждый вечер ставил крестик в календаре.

Хотя Ансельм и был его любимцем, ему все же требовалось немалое присутствие духа, чтобы докучать декану в такую пору. До Фрэнсиса доносился резкий раздраженный голос отца Фитцджеральда и глубокий, убеждающий и умоляющий голос Ансельма. В конце концов, мягкий голос восторжествовал, и Фрэнсис подумал, что так же капли воды точат гранит одним только упорством.

Через час декан вышел из своей комнаты с очень недовольным видом. Отец Мили ждал его в вестибюле. Они вместе сели в кэб и уехали в сторону центра города. Они отсутствовали три часа и вернулись только к

ленчу. На этот раз декан нарушил свое правило — сел за стол вместе с помощниками. Он не стал ничего есть, но велел принести себе большую чашку кофе по-французски (единственная роскошь, которую отец Фитцджеральд позволял себе в безрадостной пустыне самоотречения). Декан сидел боком к столу, скрестив ноги, красивый и элегантный, потягивал черный ароматный напиток и распространял вокруг себя атмосферу теплоты, почти товарищества, словно какой-то внутренний восторг, переполняя его, изливался наружу. Он задумчиво сказал Фрэнсису и польскому священнику (удивительно было уже и то, что он и на Слукаса смотрел по-дружески):

— Ну, мы можем благодарить отца Мили за его настойчивость... особенно принимая во внимание мое ужасное неверие. Конечно, я просто обязан быть крайне скептическим в отношении некоторых... явлений. Но я никогда не видал и не мечтал увидеть нечто подобное в моем собственном приходе... — он замолчал и, подняв кофейную чашку, сделал широкий жест в сторону старшего помощника, как бы передавая ему слово. — Не хочу лишать вас удовольствия самому рассказать им, отец.

Отец Мили слегка покраснел от волнения. Он откашлялся и заговорил с готовностью и серьезностью, как будто этот случай надо было излагать по всем правилам ораторского искусства.

— Одна из наших прихожанок, молодая девушка, давно уже страдающая от слабого здоровья, в понедельник на этой неделе вышла прогуляться. Дата — поскольку мы желаем быть абсолютно точными — пятнадцатое марта, время — половина четвертого дня. Прогулка ее не была бесцельна — девушка эта очень набожна и не склонна к праздности и легкомыслию. Она гуляла по предписанию врача, чтобы подышать свежим воздухом. Ее врач — доктор Уильям Брайн (Бойль Кресент, 42), которого все мы знаем, как врача безупречной, я бы сказал, высочайшей честности. Итак, — отец Мили глотнул воды и продолжал, — итак, когда она возвращалась с прогулки, тихонько шепча молитву, ей случилось проходить через место, которое мы знаем, через Мэриуэлл.

Начинало смеркаться. Последние лучи солнца еще замешкались и озаряли своим чистым сиянием все вокруг. Молодая девушка остановилась, чтобы полюбоваться этим прелестным видом, как вдруг она с изумлением увидела, что перед ней стоит дама в белом платье и голубой накидке, с венцом из звезд над головой. Движимая инстинктивным благоговением наша девушка упала на колени. Дама улыбнулась ей с невыразимой нежностью и сказала: «Дитя мое, хоть ты и очень слабенькая, но ты та, которая должна быть избрана. Потом, полуобернувшись, опять обратилась

к охваченной благоговейным страхом девушке: „Разве не печально, что источник, носящий мое имя, пересох? Запомни! То, что произойдет, произойдет для тебя и для таких, как ты“. И, улыбнувшись в последний раз своей прекрасной улыбкой, она исчезла. В то же мгновение из бесплодной скалы забил источник чудесной воды.

Отец Мили кончил. Все молчали. Затем декан снова заговорил:

— Как я уже сказал, мы подошли к этому деликатному вопросу с откровенным недоверием. Мы не ожидаем, что чудеса могут произрастать на каждом кусте крыжовника. Молодые девушки, как известно, очень романтичны. А возникновение источника могло быть простой случайностью. Однако, — в его голосе прозвучало глубокое удовлетворение, — я только что очень долго расспрашивал эту девушку вместе с отцом Мили и доктором Брайном. Как вы сами можете себе представить, это величественное видение было для нее большим потрясением. Она тут же слегла в постель и больше не вставала, — голос его зазвучал медленнее, словно отягощенный громадной значимостью произносимого. — Хотя она совершенно счастлива, нормальна и хорошо упитанна, но за все эти пять дней она не притронулась ни к еде, ни к питью, — он помолчал, словно отдавая дань весомости этого поразительного факта. — Более того... более того... на ней видны совершенно ясно, безошибочно и неопровержимо благословенные стигматы!^[27] — Он торжествующе продолжал: — Хотя об этом еще слишком рано говорить, хотя надо найти еще окончательные доказательства, но у меня сильнейшее предчувствие, я почти убежден, что нашему приходу выпало по милости Всемогущего Бога счастье участвовать в чуде, подобном, а может быть, и превосходящем недавнее чудо в пещере Дигби и более старое и уже ставшее историей чудо в Лурде.

— Кто эта девушка? — спросил Фрэнсис.

— Шарлотта Нейли.

Он в изумлении смотрел на декана и уже открыл рот, чтобы сказать, что Шарлотта..., но ничего не сказал. Молчание было очень выразительным.

В последующие несколько дней волнение в церковном доме все возрастало. Декан Фитцджеральд лучше кого-нибудь другого знал, как поступать в такой сложной ситуации. Человек искренне благочестивый, он был мудр и в житейских делах. Его научила этому долгая (и не всегда легкая) работа в местном школьном совете и в муниципалитете. Ни слова, ни намек на случившееся не должно было просочиться даже в самом узком приходском кругу. Все было сосредоточено в руках самого декана, и

он не собирался ничего из них выпускать, пока не будет вполне готов к этому.

То, что произошло так удивительно и неожиданно, вдохнуло в него новую жизнь. Уже много лет не испытывал он такого внутреннего подъема, вызванного причинами и духовного и материального порядка. В нем благочестие странным образом сочеталось с честолюбием. Исключительно одаренный умственно и привлекательный физически, отец Фитцджеральд, казалось, был предназначен для быстрого продвижения в церковной иерархии. И он страстно желал этого продвижения, может быть, не менее страстно, чем процветания самой святой Церкви. Тонкий знаток современной истории, декан Фитцджеральд часто сравнивал себя с Ньюменом^[28]. Он считал, что заслуживает такого же высокого положения. И, однако, подобно судну, попавшему в штиль, отец Фитцджеральд застрял в приходе святого Доминика. Единственное повышение, которое он получил в награду за двадцать лет отличной службы, было не имевшее никакого значения возведение его в сан декана, очень редкий в католической церкви, из-за которого к тому же за пределами родного города его часто принимали за англиканского священника, что было ему уж совершенно не по душе. Может быть, отец Фитцджеральд понимал, что его не любят, хотя и восхищаются им.

Дни шли, и с каждым днем он чувствовал себя всё разочарованнее.

Декан боролся с собой, стремясь к самоотречению и покорности. Однако, чем ниже он склонял голову и говорил: „Да будет воля Твоя, Господи!“ — тем менее он мог отделаться от притаившейся где-то глубоко под его смирением и жгущей его мысли: „Им уже давно пора было бы повысить меня“.

Теперь все изменилось. Пусть его держат в приходе святого Доминика. Он сделает этот приход местом поклонения святыне. За примерами недалеко ходить. Взять хотя бы Лурд или более близкое во времени и пространстве открытие чудесного грота в Дигби, в Мидленде, где произошло много вполне достоверных исцелений. Это преобразило захолустную деревушку в процветающий город и одновременно подняло неизвестного, но далеко не глупого священника до фигуры национального масштаба. И декан погружался в созерцание великолепного нового города, большой базилики^[29] и себя самого, стоящего на возвышении у алтаря в негнущемся парадном облачении... потом он вдруг приходил в себя, возвращался к действительности и принимался изучать проекты договоров. Первое, что он сделал было водворение в доме Шарлотты Нейли сестры

Терезы, монахини-доминиканки, особы, заслуживающей полного доверия и не болтливой. Успокоенный ее сообщениями, отец Фитцджеральд обратился к закону.

К счастью, Мэриуэлл и прилегающие к нему участки земли принадлежали старой и богатой семье Холлизов. Капитан Холлиз, хотя сам и не католик, был женат на католичке, сестре сэра Джорджа Реншо. Он был дружелюбен и благожелателен. Он и его стряпчий, Мэлком Гленни, несколько дней просидели, запершись, с деканом, бесконечно совещаясь за стаканом хереса и бисквитами. Наконец, они пришли к справедливому и дружественному соглашению. Лично декана деньги совершенно не интересовали, он презирал их, они были для него не больше, чем мусор. Но то, что можно получить за деньги, было важно, а он должен был обеспечить будущность своего блестящего плана. Дурак только не понял бы, что цена на землю подскочит до небес.

В последний день этих переговоров Фрэнсис в верхнем коридоре наткнулся на Гленни. Откровенно говоря, его удивляло, что Мэлком ведет дела Холлизов. Но, став стряпчим, он очень ловко купил на деньги своей жены долю в старой фирме с установившейся репутацией и тихо-мирно заполучил некоторых первоклассных клиентов.

— Здорово, Мэлком! — Фрэнсис протянул ему руку. — Рад повидаться с тобой.

Влажная рука Гленни ответно сжала руку священника.

— Но я очень удивлен, — улыбнулся Фрэнсис, — видя тебя в вертепе „Блудницы в пурпуре“.

Стряпчий натянуто улыбнулся и пробормотал:

— Я ведь либеральный человек, Фрэнсис... да и деньги на улице не валяются.

Они помолчали. Фрэнсис часто подумывал о возобновлении отношении с семьей Гленни. Но известие о смерти Дэниеля заставило его отказаться от этой мысли. Однажды он встретил в Тайнкасле миссис Гленни, но когда он стал переходить улицу, чтобы поздороваться с ней, она заметила его и бросилась в сторону, словно увидела самого дьявола.

Фрэнсис сказал:

— Мне было очень грустно узнать о смерти твоего отца.

— Да, да. Нам, конечно, очень не хватает его, но старик был таким неудачником...

— Не такая уж это большая неудача — попасть в рай, — пошутил Фрэнсис.

— Что ж, пожалуй, и правда он туда попал, — ответил Гленни,

рассеянно крутя брелок на часовой цепочке.

Он уже казался человеком зрелого возраста, с расхлябанной фигурой и обвисшим животом и плечами, прядки жидких волос лепились полосками на голом черепе, но глаза, тусклые и бегающие, были остры, как буравчики.

Направляясь к лестнице, Малком бросил прохладное приглашение:

— Загляни к нам как-нибудь, если будет время. Я ведь, как ты знаешь, женат и двое ребятишек у меня, но мать все еще живет с нами.

Мэлком Гленни был лично заинтересован в блаженных видениях Шарлотты Нейли. С самой ранней юности он терпеливо искал случая разбогатеть. От матери он унаследовал ненасытную алчность и некоторую долю ее нюха и хитрости.

В этой нелепой затес папистов он учуял запах денег. Сама исключительность этого случая убеждала его в возможности разбогатеть. Вот он — его случай! Он манит, как спелый плод, свисающий с ветки. Такой шанс никогда больше не представится ему, никогда в жизни! Не будучи честным в отношениях с клиентами, Мэлком не забыл сделать то, о чем забыли все остальные: тайком и не скупясь на расходы, он заказал геологическую съемку местности. Тогда-то Мэлком и удостоверился в том, о чем уже подозревал. Водный поток проходил исключительно по верхнему краю вересковых пустошей, выше и довольно далеко от земельного владения.

Гленни не был богат. Пока еще не был. Но собрав все свои сбережения и заложив дом и свою долю в деле, он наскреб достаточно денег, чтобы купить привилегию не приобретение этой земли по заранее обусловленной цене в течение трех месяцев. Мэлком знал, что может сделать артезианская скважина. Но она никогда не будет пробурена^[30]. Однако сделка может быть совершена позднее, при угрозе этого бурения. И эта сделка сделает Гленни обладателем земли!

А пока вода продолжала течь, прозрачная и сладкая. Шарлотта Нейли все еще пребывала в экстазе, носила на себе стигматы и существовала без пищи. А Фрэнсис же продолжал предаваться грустным размышлениям и молиться о ниспослании ему веры.

Если бы он только мог верить, как верил Ансельм, который без всякой внутренней борьбы, легко и улыбочиво принимал все, начиная от Адамова ребра до менее вероятных подробностей о пребывании Ионы во чреве китовом!

Он, Фрэнсис, тоже верил, верил, верил... только вера его не на поверхности, она живет глубоко, в самой глубине души... она живет усилием его любви, чтобы верить, ему надо без передышки работать в

своих трущобах, после посещения которых он стряхивает с одежды блох в пустой ванне... но ему никогда не бывает легко верить, никогда... разве только, когда он сидит со своими хворыми и калеками и видит их больные пепельно-серые лица. Жестокость испытания, которому сейчас подвергалась его вера, изнуряла его душу, убивала в нем радость молитвы.

Его беспокоила сама девушка, как таковая. Несомненно, Фрэнсис относился к ней с предубеждением, но он не мог не придавать значения тому, что ее мать была сестрой Гилфойла. Отец же ее был человеком какого-то неопределенного, несерьезного характера. Он был набожный, но ленивый и ежедневно удирал тайком из своей маленькой свечной лавки, чтобы поставить свечи у бокового алтаря в церкви, надеясь, что это принесет удачу его запущенному предприятию. Шарлотта, подобно отцу, любила церковь. Но Фрэнсис не мог отделаться от подозрения, что ее влекли туда несущественные, внешние аксессуары — запах фимиама и горящих свечей, а темнота и таинственность исповедадьни приятно возбуждала ее нервы. Он не отрицал ее незапятнанной добродетели или методичности, с какой она выполняла свои религиозные обязанности, жаль только, что мылась она кое-как и у нее дурно пахло изо рта.

В следующую субботу, идя по Глэнвил-стрит и чувствуя себя совершенно подавленным, Фрэнсис увидел доктора Уилли Таллоха. Он выходил из дома № 43, где жил Оуэн Уоррен. Фрэнсис окликнул его, доктор обернулся, остановился, а потом зашагал рядом с другом.

Уилли с годами раздался вширь, а в остальном мало изменился. Медлительный, упорный и себе на уме, он был верен друзьям и непримирим к врагам. Став мужчиной, он унаследовал отцовскую честность, но лишь малую толику его обаяния и ничего от его красивой внешности. Красное флегматичное лицо Уилли украшал толстый короткий нос и венчала копна непослушных волос. Вид у него был скучно-благопристойный. Он не сделал блестящей медицинской карьеры, но положение его было прочно, и он любил свою работу. Уилли совершенно пренебрегал тем, к чему обычно стремились все. Хотя иногда он и поговаривал о том, что хорошо было бы „посмотреть мир“ и поискать приключений в далеких романтических странах, но так и оставался в своей районной амбулатории, где его удерживала, в сущности, привычка и способность просто жить день за днем. Эта должность не требовала от него ненавистной ему лжи больному и в большинстве случаев позволяла ему все говорить откровенно. Кроме того, Таллох не умел копить деньги. Жалованье он получал небольшое, и львиная доля его тратилась на виски.

Уилли никогда не заботился о своей внешности, — и в это утро он был

небрит. Его глубоко посаженные глаза были сумрачны, а лицо выражало несвойственное ему раздражение — можно было подумать, что сегодня он зол на весь мир. Доктор коротко бросил, что мальчику Уоррену стало хуже. Он заходил к нему, чтобы взять кусочек ткани для патологоанатомического анализа.

Так они шли по улице, объединенные общей им привычкой молчать. Вдруг какой-то безотчетный порыв заставил Фрэнсис выложить Уилли всю историю с Шарлоттой Нейли.

На лице Таллоха не отразилось ничего, он продолжал устало идти, глубоко засунув руки в карманы пальто, подняв воротник и опустив голову.

— Да, — сказал он наконец, — я уже слышал об этой истории.

— Ну, и что ты о ней думаешь?

— А почему ты меня об этом спрашиваешь?

— Потому что ты, по крайней мере, честен.

Таллох как-то странно посмотрел на Фрэнсиса. Категоричность, с которой доктор отвергал миф о существовании Бога, казалась в таком скромном и так хорошо понимающем свою ограниченность человеке даже несколько странной.

— Религия — не моя область, я унаследовал вполне устраивающий меня атеизм... подтверждение которому получил в анатомичке. Но уж если хочешь начистоту, говоря словами моего папаша, то у меня есть некоторые сомнения на этот счет. А впрочем, знаешь что... Почему бы нам не взглянуть на нее? Мы ведь недалеко от ее дома. Зайдем туда вместе.

— А у тебя не будет неприятностей с доктором Брайном?

— Нет, я завтра улажу это с Солти. Я пришел к заключению, что в отношениях с моими коллегами выгоднее сначала делать, а потом уж извиняться, — он улыбнулся Фрэнсису. — Если только ты не боишься своего начальства.

Фрэнсис вспыхнул, но удержался от ответа. Минуту спустя, он сказал:

— Да, я боюсь, но все-таки пойдем.

Войти к Шарлотте оказалось неожиданно просто. Миссис Неили, измученная бессонной ночью, заснула. Сам Нейли на сей раз был в своей лавке. Дверь открыла сестра Тереза, низенькая, спокойная и любезная. Так как она жила в отдаленном районе Тайнкасла, то никогда не видела Таллоха, зато встречала Фрэнсиса и сразу его узнала. Она ввела их в чистую комнату, где на непорочно белых подушках, в кровати, блестящей начищенной медью, умытая и одетая в закрытую белую ночную рубашку, лежала Шарлотта. Сестра Тереза наклонилась над девушкой, видимо испытывая немалую гордость от своей безупречной работы.

— Шарлотта, милочка, отец Чисхолм пришел навестить тебя и привел с собой доктора, большого друга доктора Бранна.

Голова девушки неподвижно покоилась на подушке. Шарлотта Нейли улыбнулась. У нее была понимающая слегка томная улыбка с оттенком экзальтации. Она осветила бледное, словно светящееся лицо. Это производило глубокое впечатление. Фрэнсис почувствовал искреннее раскаяние. Несомненно, в этой тихой белой комнате существовало нечто, выходящее за пределы обыкновенного.

Очень доброжелательно Таллох спросил:

— Вы ничего не имеете против того, чтобы я осмотрел вас, Шарлотта?

От его тона ее улыбка стала еще более томной. Она не шевельнулась. Покоясь на подушках, девушка позволяла наблюдать за собой, понимая, что за ней наблюдают, Шарлотта несколько этим не смущалась, а напротив, радовалась, потому что ощущала свою внутреннюю силу. Сознание, что она вызывает особое уважение, сообщало ей выражение мягкости и мечтательной приподнятости. Ее бледные веки дрогнули, но голос был спокоен и отрешен.

— Почему бы мне быть против, доктор? Я только рада этому. Я не достойна быть избранным сосудом Божиим... но, если я оказалась избранной, мне остается только покориться с радостью.

И она позволила почтительному Таллоху осмотреть ее.

— Вы ничего не едите, Шарлотта?

— Нет, доктор.

— У вас нет аппетита?

— Я просто не думаю о еде. По-видимому, меня поддерживает внутренняя благодать.

Сестра Тереза сказала спокойно:

— Я могу вас заверить, что с тех пор, как я нахожусь в этом доме, у нее маковой росинки во рту не было.

В тихой белой комнате воцарилось молчание. Уилли выпрямился, отбросил назад непокорные волосы и просто сказал:

— Благодарю вас, Шарлотта. Благодарю вас, сестра Тереза. Я очень обязан вам за вашу любезность.

Он направился к двери. Когда Фрэнсис последовал за доктором, по лицу Шарлотты пробежала тень.

— А вы, отец, разве не хотите посмотреть? Смотрите, вот мои руки... и ноги такие же.

Кротко, жертвенно она протянула обе руки. На бледных ладонях ясно видны были кровавые метки от гвоздей.

Фрэнсис и Уилли вышли из дому, и доктор молчал до тех пор, пока они не дошли до конца улицы. Там, где их пути расходились, он быстро заговорил:

— Я полагаю, что ты хочешь знать мое мнение. Так вот оно. Это случай на границе маниакальной депрессии в стадии экзальтации, а может быть, он уже зашел дальше. Кровотечение, конечно, на почве истерии. Если она не угодит в сумасшедший дом, то очень может быть ее канонизируют.

Всякая сдержанность и прекрасные манеры оставили его. Грубоватое обветренное лицо Уилли стало красным. Негодование просто душило его!

— Будь оно все трижды проклято! Как подумаю об этой глупой улыбающейся святоше, красующейся в своей постельке, как анемичный ангелочек в мучном мешке, в то время как маленький Оуэн Уоррен торчит на грязном чердаке и терпит адские муки от своей гангрены, а может быть, и от злокачественной опухоли... я просто могу лопнуть от злости! Не забудь об этом, когда будешь твердить свои молитвы, а ты, наверное, как раз это и собираешься делать, когда вернешься. Ну, а я пойду домой и напьюсь.

Он ушел, прежде чем Фрэнсис смог что-нибудь ответить.

Вечером, когда Фрэнсис вернулся, его ожидал срочный вызов, написанный на дощечке, висящей в передней. Предчувствуя беду, он поднялся в кабинет.

Декан срывал свое дурное настроение на ковре, который он в раздражении мерил быстрыми шагами.

— Отец Чисхолм! Я удивлен и возмущен! Вот уж, право, не ожидал этого от вас. Подумать только, что вы могли привести прямо с улицы... доктора-атеиста... Я вне себя от возмущения!

— Мне очень жаль, — с трудом выдавил ответ Фрэнсис, — но видите ли... он мой друг.

— Это само по себе уже достаточно предосудительно. Я нахожу в высшей степени достойным порицания, что один из моих помощников общается с таким типом, как доктор Таллох.

— Мы... мы росли вместе с ним.

— Это не оправдание. Я оскорблен и разочарован. Я страшно сердит, и вы это вполне заслужили. С самого начала вы относились к этому великому событию холодно и не сочувственно. Осмелюсь сказать, вам завидно, что честь этого открытия выпала на долю старшего помощника. Или за вашим явным антагонизмом кроется какая-то более глубокая причина?

Фрэнсис почувствовал себя очень скверным, понимая, что декан прав, и пробормотал:

— Я страшно сожалею. Я вовсе не предатель и никоим образом не хотел поступить предательски. Правда, я относился к этому довольно прохладно. Но это потому, что я был обеспокоен. Поэтому- то я и привел туда Галлоха. У меня есть сомнения...

— Сомнения!? Вы что же и лурдские чудеса отвергаете?

— Нет, нет! Они безупречны. Они засвидетельствованы врачами всех вероисповеданий.

— Тогда зачем же отрицать возможность создания другого такого оплота веры здесь, среди нас? — декан нахмурился. — Если уж для вас ничего не значит духовная сторона этого вопроса, относитесь по крайней мере с уважением к явлениям физического порядка, — он насмешливо усмехнулся. — Или вы имеете глупость воображать, что молодая девушка может жить девять дней без пищи и питья и оставаться при этом здоровой и хорошо упитанной, если она не получает другой пищи?

— Какой пищи?

— Духовной пищи, — взорвался декан. — Разве святая Екатерина Сиенская не получала мистический напиток, заменявший ей земную пищу? Такие сомнения недопустимы! Нечего удивляться, что я выхожу из себя.

Фрэнсис опустил голову. — Святой Фома тоже сомневался, в присутствии всех учеников, вплоть до желания вложить пальцы в рану на боку Спасителя. Но никто не выходил из себя, — вдруг сказал он.

Наступило напряженное молчание. Декан побледнел, потом овладел собой. Склонясь над столом, он рылся в каких-то бумагах, не глядя на Фрэнсиса. Потом очень сдержанно сказал:

— Это уже не в первый раз вы проявляете дух противоречия. У вас в этом приходе начинает создаваться очень скверная репутация. Можете идти.

Фрэнсис вышел. Он был подавлен сознанием своей ужасной неполноценности. Вдруг ему неудержимо захотелось пойти к епископу Мак-Нэббу и рассказать ему обо всех своих горестях. Но он подавил это желание. Теперь не так-то просто было увидеть рыжего Мака. Слишком он был занят на своем новом высоком посту, чтобы какой-то никудышный священник смел докучать ему своими неприятностями.

На следующий день, в воскресенье, во время торжественной одиннадцатичасовой мессы декан Фитцджеральд сообщил великую новость. Это была лучшая проповедь за всю его жизнь. Волнение мгновенно охватило людей. Все прихожане стояли на улице, тихо переговариваясь и не желая расходиться по домам. Стихийно образовавшаяся процессия, возглавляемая отцом Мили, направилась к

Мэриуэллу. Днем целые толпы собрались у дома Нейли. Группа молодых женщин, принадлежавших к тому же братству, что и Шарлотта, опустившись на колени, читала Розарий^[31]. Вечером декан согласился дать интервью изнемогающим от любопытства представителям прессы. Он держался с большим достоинством и сдержанностью.

Его и раньше уже уважали в городе и считали священником передового образа мыслей, и теперь он произвел самое благоприятное впечатление.

На следующее утро газеты не поскупились уделить ему место на своих страницах. Он красовался на первой странице „Трибьюн“, несколько хвалебных столбцов напечатала „Глоуб“. „Второе Дигби“ — объявил „Нортгумберленд Геральд“. „Йоркшир Эхо“ гласило: „Чудесная пещера несет надежду тысячам“.

„Уикли Хай Англикан“ ограничился довольно ядовитым замечанием: „Мы ждем дальнейших свидетельств...“ А лондонская „Таймс“ напечатан весьма эрудированную статью своего корреспондента по вопросам теологии, излагающую историю источника Мариуэлл начиная с Эйдана до святого Этельвулфа.

Декан расцвел от удовольствия. Отец Мили не мог есть за завтраком, а Мэлком Гленни был вне себя от радости.

Восемь дней спустя Фрэнсис отправился вечером к Полли, в ее маленькую квартирку в Клермонте, в северной части города. Он очень устал после целого дня посещений грязных трущоб своего района и был смертельно удручен. Днем он получил записку от доктора Таллоха, немногословно сообщавшего ему смертный приговор юному Уоррену — у него была саркома ноги. Для мальчика не оставалось никакой надежды. Он умирал. Ему осталось не больше месяца.

В Клермонте Фрэнсис нашел Полли как всегда не поддающуюся ударам жизни и Нэда, который стал, пожалуй, еще более раздражающим. Он сидел, сгорбившись в своем кресле на колесах, ноги его были укутаны одеялом, и много и довольно глупо болтал. Наконец удалось добиться от Гилфойла окончательного расчета по остаткам доли Нэда в „Юнион таверне“. Это была жалкая сумма, но Нэд так бахвалился, словно получил целое состояние. Вследствие болезни язык его стал как бы велик для его рта, и он говорил с утомительной нечленораздельностью.

Когда Фрэнсис пришел, Джуди уже спала, и хотя Полли ничего не говорила, что-то подсказало ему, что девочка плохо себя вела и была рано отправлена в свою комнату. Мысли о Джуди еще больше опечалили его.

Было одиннадцать, когда он вышел от них. Последний трамвай в

Тайнкасл уже ушел. Подавленный, уставший, опустив плечи под гнетом этой последней неудачи, Фрэнсис вышел на Глэнвил-стрит. Проходя мимо дома Нейли, он заметил, что двойное окно на нижнем этаже, в комнате Шарлотты все еще было освещено. На желтой шторе Фрэнсис разглядел смутные тени движущихся фигур.

Порыв раскаяния охватил его. Удрученный сознанием своего, как ему казалось, предвзятого отношения к семье Нейли, он вдруг захотел повидать их, снять ожесточение со своей души и искупить свою вину перед ними. Движимый этим желанием, Фрэнсис перешел улицу и взошел по ступенькам крыльца. Он поднял было руку к дверному молотку, потом передумал и повернул старинную дверную ручку. Фрэнсис приобрел привычку (общую для врачей и священников) заходить к своим больным без предупреждения.

Из спальни, выходящей в маленькую прихожую, шла широкая косая полоса света. Он тихонько постучал в дверь и вошел. Затем, будто внезапно окаменев, остановился.

Шарлотта лежала в постели на высоко взбитых подушках, перед ней был овальный поднос с грудкой цыпленка и драченой, и она жадно поглощала пищу. Миссис Нейли, закутанная в выцветший голубой халат, заботливо склонившись над ней, наливала ей крепкий портер.

Мать первая увидела Фрэнсиса. Она оцепенела на мгновение, а затем издала громкий крик ужаса. Схватившись рукой за горло, она уронила стакан и разлила портер на кровать.

Шарлотта подняла взгляд от подноса. Ее бледные глаза расширились. Она смотрела на мать, открыв рот, потом начала хныкать, соскользнула вниз на постели и закрыла лицо руками. Поднос с грохотом упал на пол. Никто не произнес ни слова. Горло миссис Нейли конвульсивно сжималось. Она сделала слабую бессмысленную попытку спрятать бутылку в складках халата; наконец, лоя ртом воздух, сказала:

— Я должна была как-то поддерживать ее силы... она столько перенесла... это портер для больных.

Ее испуганно-виноватый вид выдавал ее. Ему стало противно до тошноты. Фрэнсис чувствовал себя оскорбленным и униженным. Он с трудом нашел слова:

— Я полагаю, вы кормили ее каждую ночь... когда сестра Тереза уходила, думая, что она спит?

— Нет, отец! Бог мне свидетель! — миссис Нейли сделала последнее отчаянное поползновение отрицать всё, затем сдалась, окончательно потеряв голову.

— Ну, а если даже и так? Я не могла видеть, как мое бедное дитя умирает с голоду, нет, я не могла. Но миленький святой Иосиф!.. я никогда не допустила бы до этого, если бы знала, что из этого получится... все эти толпы... и газеты... я рада, что с этим теперь покончено... только... только не будьте слишком строги к нам, отец.

Он тихо сказал:

— Я не собираюсь судить вас, миссис Нейли.

Она заплакала. Фрэнсис терпеливо ждал, пока ее рыдания затихнут, сидя на стуле у двери и глядя на зажатую в руках шляпу. Глупость того, что она совершила, глупость, как ему казалось в этот момент, человеческой жизни вообще, ужасала его. Когда они обе успокоились, он сказал:

— Расскажите мне все.

Давясь и глотая слезы, Шарлотта рассказала ему всю историю.

Она прочла такую прекрасную книгу из церковной библиотеки о блаженной Бернардетте. Однажды, проходя мимо Мэриуэлла (это была ее любимая дорога), она заметила бегущую струйку воды. „Как странно“, подумала она. Потом ее поразило совпадение — эта струящаяся вода, Бернардетта, она сама... Это ее потрясло. Она сама не знает как, но ей уже стало воображаться, что она видела Пресвятую Деву. Она вернулась домой, и чем больше об этом думала, тем больше она уверялась, что так оно и было. Это страшно ее взволновало, она вся побелела и начала дрожать так, что ей пришлось лечь в постель и послать за отцом Мили. И прежде чем она успела подумать, она уже рассказала ему всю историю.

Всю ночь она пролежала в каком-то экстазе. Тело ее как бы одеревенело, стало твердым и негнущимся. На следующее утро, проснувшись, она увидела стигматы. У нее и раньше чуть что делались кровоподтеки, но это было совсем другое. Ну... это окончательно убедило ее. В течение всего того дня она отказывалась от пищи, просто отмахивалась от нее. Она была слишком счастлива, слишком взволнована, чтобы есть. К тому же ведь множество святых жили без пищи. Это стало у нее навязчивой идеей. Когда отец Мили и декан услышали, что она живет одной благодатью — может быть, так оно и было — это было чудесно. Ей оказывали такое внимание, словно она была невестой. Но, конечно, через некоторое время она страшно проголодалась.

Она не могла разочаровывать отца Мили и декана — они так на нее смотрели, в особенности отец Мили. Она сказала об этом только матери, и той пришлось придти ей на помощь. И каждую ночь она основательно ела, э иногда и дважды за ночь.

А потом... О Господи! это зашло еще дальше.

— Сначала, я вам уже говорила, отец, все было просто чудесно. Лучше всего было, когда девушки из братства молились на улице у меня под окном.

Но когда газеты подняли шум, она не на шутку испугалась. Честно говоря, она уже не рада была, что затеяла все это. Сестру Терезу тоже нелегко стало обманывать. Знаки стигматов на руках становились все бледнее, а ею самой вместо возвышенного и радостного настроения все больше овладевали уныние и подавленность.

Она закончила свою жалкую исповедь, такую глупую и пошлую, новым взрывом рыданий. Однако, это было и трагедией... трагедией идиотизма, свойственного всему человечеству.

Тут вмешалась мать.

— Ведь вы не выдадите нас декану Фитцджеральду, правда, отец?

Фрэнсис уже не сердился, он чувствовал только грусть и какое-то странное сострадание. Эх, если бы эта скверная история не успела так далеко зайти. Фрэнсис вздохнул.

— Я не скажу ему, миссис Нейли. Я ни слова ему не скажу, но... — он помолчал. — Боюсь, вам самой придется сделать это.

Она в ужасе смотрела на него.

— Нет, нет... нет, отец, сжальтесь!

Фрэнсис начал спокойно объяснять, почему они должны признаться, почему то, что задумал декан, не может быть построено на лжи, особенно такой, какая вскоре станет очевидной. Он утешал их, говоря, что разговоры о чуде, продолжавшемся девять дней, скоро затихнут, а там и вовсе о нем позабудут.

Когда Фрэнсис уходил от них через час, он оставил их в несколько более спокойном состоянии и взял с них обещание выполнить его совет. Он шел домой пустыми улицами, где гулко раздавались его шаги, и сердце его болело за декана Фитцджеральда.

Следующий день прошел, как обычно. Большую часть его Фрэнсис провел вне дома, посещая своих больных, и не видел декана, однако странная атмосфера пустоты и скрываемого волнения, казалось, заполнили дом священника. Тонкая, чувствительная натура Фрэнсиса очень остро реагировала на атмосферу неблагополучия.

На другое утро, в одиннадцать часов Мэлком Гленни вломился к нему в комнату. Гленни был страшно расстроен: бледность покрывала лицо, губы его шевелились, взгляд казался неподвижным и диким. Гленни сказал, заикаясь:

— Я не знаю, что на него нашло. Он, наверное, сошел с ума. Это такой

прекрасный план. Он принес бы столько добра...

— Я не имею на декана никакого влияния.

— Нет, неправда. Он высокого мнения о тебе. И ты — священник. Ты просто обязан сделать это ради твоей паствы. Это будет хорошо для католиков...

— Вряд ли тебя это волнует, Мэлком.

— Нет, это волнует меня, — бормотал Гленни. — Я человек либеральный. Я восхищаюсь католиками. Это прекрасная религия. Я часто хочу... ради Бога, Фрэнсис, вмешайся скорее, пока не поздно.

— Мне очень жаль, что так получилось, Мэлком. Это большая неприятность для всех нас, — и он отвернулся к окну.

Тут Мэлком совершенно потерял власть над собой: он схватил Фрэнсиса за руку и запричитал:

— Не отталкивай меня, Фрэнсис. Ты нам всем обязан. Я купил кусочек земли, вложил в него все свои сбережения, если ваш план провалится, она потеряет всякую ценность. Не допусти мою несчастную семью до разоренья. Моя бедная старая мать! Подумай о ней, Фрэнсис, ведь она воспитала тебя. Пожалуйста, пожалуйста, убеди его; я сделаю все, что хочешь. Я даже перейду для тебя в католичество!

Фрэнсис продолжал пристально смотреть в окно на церковную крышу с серым каменным крестом. Рука его непроизвольно сжимала занавеску. С тягостным чувством он думал: „Чего только люди не сделают ради денег! Они готовы на все, даже продать свою бессмертную душу“.

Гленни, наконец, выдохся. Убедившись, что от Фрэнсиса ничего не добиться, он попытался спасти остатки своего достоинства. Его манера резко изменилась.

— Значит, ты не поможешь мне, — зловеще сказал Мэлком. — Ладно. Я тебе это припомню, — и он двинулся к двери, — я еще сведу с вами счета, будь это последнее, что я сделаю, — прошипел Гленни, задержавшись у выхода, его бледное лицо исказилось от ненависти. — Мне следовало бы предвидеть, что ты укусишь руку, вскормившую тебя. Чего еще можно ждать от кучи грязных папистов!

Он хлопнул дверью.

А в приходском доме продолжала царить атмосфера пустоты, той пустоты, когда люди как будто теряют четкость очертаний, становятся нереальными, призрачными. Слуги ходили на цыпочках, словно в доме был покойник. Слукас имел вид человека, совершенно сбитого с толку. Отец Мили ходил, не поднимая глаз. Ему был нанесен тяжелый удар, но он молчал, что для такого экспансивного человека было проявлением редкой

сдержанности. Если Ансельм говорил, то только на другие темы. Он изо всех сил старался отвлечься, со страстью предаваясь работе в Центре иностранных миссий.

Больше недели после бурного разговора с Гленни Фрэнсис не встречался с деканом. Как-то утром, войдя в ризницу, он увидел отца Фитцджеральда, снимавшего облачение. Прислуживающие у алтаря мальчики ушли. Они были одни.

Как бы ни была случившаяся беда унижительна лично для декана, он сумел с непревзойденным тактом выйти из трудного положения. Собственно говоря, благодаря ему это вообще перестало выглядеть как беда. Капитан Холлиз охотно порвал заключенный контракт. Для Нейли нашли занятие в каком-то отдаленном городе. Это был первый шаг к незаметному избавлению от этого семейства. Газетная шумиха была тактично прекращена. Затем в воскресенье декан снова взошел на кафедру. Посмотрев на свою притихшую паству, он возгласил: „О вы, маловеры!“

Спокойно, с неослабной настойчивостью отец Фитцджеральд стал развивать свой тезис: Церковь не нуждается ни в каких новых чудесах. Разве ее способность творить чудеса не подтверждена уже достаточно? В ее основу глубоко и прочно заложены чудеса Христовы. Конечно, все переживают необычайный душевный подъем, когда встречаются такие явления, как в Мэриуэлле. Все они, да и он сам в том числе, увлеклись... Но по зрелом размышлении — к чему весь этот шум вокруг одного единственного цветка, когда все небесные цветы цветут здесь, в их Церкви, у них на глазах? Или они так слабы в своей вере, так малодушны, что им нужны еще какие-то материальные доказательства? Или они забыли высокие слова: „Блаженны те, которые не видели, но поверили“.

Эта проповедь являла собой великолепный образец ораторского искусства и принесла ему еще больший триумф, чем проповедь в прошлое воскресенье. И только он сам — Джеральд Фитцджеральд, все еще декан, знал, чего она ему стоила.

Когда они встретились в ризнице, он сначала, казалось, не собирался изменять своей непоколебимой сдержанности. Но, накинув на плечи черное пальто и уже готовый уйти, отец Фитцджеральд вдруг повернулся. В ясном свете ризницы Фрэнсис увидел, какие глубокие морщины появились на его красивом лице, как устало смотрели большие серые глаза. Он был потрясен.

— Если бы только одна ложь, отец Чисхолм, а то ведь целая паутина лжи! Ну, что ж! Да будет воля Господня, — он помолчал. — Вы хороший мальчик, Фрэнсис. Очень жаль, что мы с вами несовместимы, — и он,

выпрямившись, вышел из ризницы.

К концу пасхальной недели все было почти забыто. Нарядная белая решетка (её воздвигли вокруг источника по приказанию декана) все еще стояла, но маленькая калитка ее больше не запиралась и жалобно покачивалась от легкого весеннего ветерка. Некоторые добрые души иногда заходили сюда помолиться и покропить себя водой, которая все текла и текла, чистая и искрящаяся.

Фрэнсис был перегружен работой по приходу и радовался своей способности забывать. Позор всего случившегося постепенно стирался в его памяти. Только где-то в самой глубине души копошилось уродливое воспоминание, но он быстро подавлял его в себе и надеялся, что скоро сумеет совсем похоронить. Его идея о создании новой спортплощадки для мальчиков и юношей их прихода начала принимать осязательные формы. Городской совет предоставил в его распоряжение кусочек земли в общественном парке. Декан Фитцджеральд дал свое согласие, и Фрэнсис зарылся в груды каталогов.

В канун Вознесения он получил срочный вызов к Оуэну Уоррену. Лицо его омрачилось. Фрэнсис быстро встал, уронив с колен брошюру об игре в крикет. Он боялся этого зова, хотя ждал его уже в течение многих недель.

Он быстро прошел в церковь, взял Святые дары и поспешно направился сквозь кишаций людьми город на Гленвил-стрит. Лицо его застыло и было печально. Около дома Уоррена Фрэнсис увидел доктора Таллоха, беспокойно шагающего по улице. Уилли тоже привязался к Оуэну. Подходя к нему, Фрэнсис увидел, что доктор очень расстроен.

— Это, наконец, случилось? — спросил Фрэнсис.

— Да, это случилось, — ответил Уилли и, подумав, добавил: — Вчера артерия закупорилась. Ампутировать было бесполезно.

— Я не опоздал?

— Нет, — но я успел уже три раза побывать у мальчика пока ты где-то шлялся... Входи, чёрт возьми... если ты вообще собираешься входить, — в манерах Таллоха сквозила подавленная ярость бессилия. Проходя, он грубо задел Фрэнсиса плечом.

Фрэнсис следом за ним поднялся по лестнице. Дверь открыла миссис Уоррен. Это была худощавая женщина лет пятидесяти, измученная неделями тревоги, одетая в простое серое платье. Он увидел, что лицо ее мокро от слез и с сочувствием сжал ей руку.

— Я так сожалею, миссис Уоррен...

Она засмеялась слабым приглушенным смехом. Фрэнсис был потрясен

— он подумал, что горе на мгновение лишило ее рассудка. Они вошли в комнату.

Оуэн лежал на покрывале кровати. Его нога не была забинтована, обе были обнажены. Они были несколько худы вследствие изнурительной болезни, но абсолютно здоровы и чисты.

Совершенно ошеломленный, Фрэнсис увидел, как доктор Таллох поднял правую ногу и твердо провел рукой по здоровой прямой голени, которая еще вчера была гноящейся злокачественной массой. Не находя ответа в глазах Уилли, смотрящего на него с вызовом, он, чувствуя головокружение, повернулся к миссис Уоррен и увидел, что ее слезы были слезами радости. Ничего не видя за ними, она кивнула ему головой.

— Сегодня утром, когда на улицах еще никого не было, я закутала его потеплее и посадила в старую детскую коляску. Мы с Оуэном не хотели сдаваться. Он всегда верил, что если бы только он мог добраться до источника...

— Мы помолились и погрузили его ногу в воду... Когда мы вернулись... Оуэн сам снял повязку с ноги!

В комнате стояла полная тишина. Наконец, ее нарушил Оуэн.

— Не забудьте записать меня в вашу новую крикетную команду, отец.

На улице Уилли Таллох упорно смотрел на своего друга.

— Тут должно быть какое-то научное объяснение, недоступное пока нашему познанию. Интенсивное желание выздороветь... психологическое возрождение клеток... — он резко остановился и положил свою большую дрожащую руку на руку Фрэнсиса.

— О, Господи! Если Ты есть, помоги нам держать язык за зубами!

В эту ночь Фрэнсис не мог уснуть. Сна не было ни в одном глазу, он смотрел в черноту у себя над головой. Чудо веры... Да, вера сама по себе уже была чудом. Воды Иордана, Лурда или Мэриуэлла... какое они имели значение сами по себе... Любая грязная лужа сгодится, если в ней отразится лик Божий...

На какое-то потрясающее мгновение в его душе слабым светом замерцало понимание непостижимости Божией. Фрэнсис стал горячо молиться: „О, Господи! Мы не знаем далее самого начала. Мы подобны крошечным муравьям в бездонной пропасти, под миллионами слоев ваты, борющимися изо всех сил, чтобы увидеть небо. О, Господи... милый Господи, даруй мне смирение... и даруй мне веру!“

Через три месяца его вызвали к епископу. Фрэнсис с некоторых пор уже ждал этого, но теперь, когда вызов действительно пришел, ему стало страшно. Когда он поднимался в гору к епископскому дворцу, пошел проливной дождь. Фрэнсис не промок до нитки только потому, что все оставшееся расстояние пробежал бегом. Запыхавшийся, мокрый, забрызганный грязью, он чувствовал, что имеет довольно жалкий вид. Фрэнсис сидел, слегка дрожа, в чопорной гостиной и глядел на свои грязные ботинки, которые выглядели столь неуместно на красном ворсистом ковре, и от всего этого ему становилось все страшнее и страшнее.

Наконец появился секретарь епископа, проводил его по мраморной лестнице и молча указал ему на темную дверь красного дерева. Он постучал и вошел.

Его Преосвященство сидел за письменным столом, но не работал, а предавался отдыху — он подпер щеку рукой, а локоть положил на ручку кожаного кресла. Угасающий дневной свет, падающий сбоку из высокого окна с бархатными портьерами, подчеркивал фиолетовый цвет его шапочки, но лицо оставалось в тени.

Фрэнсис остановился в нерешительности, он был смущен видом этой бесстрастной фигуры, спрашивая себя, действительно ли это его старый друг времен Холиуэлла и Сан-Моралеса. В комнате не раздавалось ни звука, кроме слабого тиканья часов на камине. Потом послышался строгий голос:

— Ну, так как, отец, можете вы сообщить мне сегодня о каких-нибудь новых чудесах? Да, кстати, пока я не забыл, как обстоят дела с вашим дансингом?

У Фрэнсиса комок застрял в горле, он почувствовал такое громадное облегчение, что мог бы заплакать. А Его Преосвященство продолжал внимательно изучать фигуру, выделяющуюся темным пятном на широком ковре.

— Должен сознаться, что мои старые глаза не без удовольствия смотрят на столь явно не преуспевающего священника, как вы. У вас отвратительный костюм и... ужасные ботинки! — он медленно встал и подошел к Фрэнсису. — Дорогой мой мальчик, как я рад видеть тебя! — он положил руку ему на плечо. — Боже милостивый! Да ты к тому же совершенно промок!

— Я попал под дождь, Ваша Милость.

— Что!?! У тебя нет зонтика?! Иди сюда к огню, сейчас мы достанем чего-нибудь согревающего.

Он подошел к маленькому секретеру и достал графин и два ликерных стакана.

— Я еще не совсем акклиматизировался в своем новом чине. Мне следовало бы позвонить и приказать, чтобы нам подали какое-нибудь изысканное вино, как это принято у всех епископов, о которых читаешь в книгах. Но я думаю, что это вполне подходящая выпивка для двух шотландцев.

Он протянул Фрэнсису стаканчик чистого спирта, посмотрел как тот выпил, а потом выпил сам.

— Кстати о чинах... не смотри ты на меня так испуганно. Я, правда, выгляжу теперь довольно парадно, но там... внизу... все тот же неуклюжий скелет, который ты видел перебирающимся вброд через Стинчер!

Фрэнсис покраснел.

— Да, Ваша Милость!

Они помолчали, потом Его Преосвященство откровенно и спокойно сказал:

— Полагаю, тебе трудно пришлось с тех пор, как ты вышел из Сан-Моралеса?

Фрэнсис тихо ответил:

— Из меня ничего не вышло.

— В самом деле?

— Да. Я чувствовал, что так будет... что будет этот... дисциплинарный разговор. Я знаю, что последнее время мое поведение не нравилось декану Фитцджеральду.

— Но может быть, оно нравилось Всемогущему Богу? Ты ведь к этому стремился, а?

— Да нет же, нет... Мне в самом деле очень стыдно, и я очень недоволен собой. Это все мой неисправимый строптивый нрав.

Некоторое время оба молчали.

— Самым большим твоим проступком, последней каплей, кажется, было то, что ты не присутствовал на банкете в честь советника муниципалитета Шэнди... который недавно великодушно пожертвовал пятьсот фунтов на новый алтарь. Неужели ты не одобряешь доброго советника, который — как мне говорили — всего лишь немного менее благочестив, когда имеет дело с жителями своих трущоб на Шэнд-стрит?

— Ну... — Фрэнсис смущенно замялся. — Я не знаю... Я, конечно, неправ, мне следовало пойти туда. Декан Фитцджеральд особенно настаивал на этом... Он придавал этому большое значение. Но одно обстоятельство помешало мне...

— Да? — епископ ждал.

— Меня в этот день позвали к одному человеку, — Фрэнсис рассказывал очень неохотно. — Да Вы, может быть, его помните... Эдвард Бэннон... хотя теперь из-за своей болезни он стал совершенно неузнаваем... парализованный, неопрятный, какая-то карикатура на Божье творенье... Когда мне пора было уходить, он вцепился мне в руку и стал умолять, чтобы я его не покидал. Я ничего не мог с собой поделать, я не мог подавить ужасную, болезненную жалость к нему... нелепому, умирающему, отверженному... Он заснул, держа мою руку и бормоча: „Иоанн Отец, Иоанн Сын, Иоанн Дух Святой“, и слюна текла по его серому небритому подбородку... я просидел с ним до утра. Наступило длительное молчание.

— Ничего чет удивительного, что декан был недоволен: ведь ты предпочел грешника святому.

Фрэнсис опустил голову.

— Я и сам недоволен собой. Я все время стараюсь делать лучше... но... Как страшно, когда я был мальчиком, я был убежден, что все священники хорошие... непременно хорошие...

— А теперь ты узнал, что все мы слабые люди... Да... это, конечно, ужасно, что твой „строптивый нрав“ так радует меня, но это такое чудесное противоядие против скучной набожности, с которой мне приходится сталкиваться. Ты — „кот, который ходит сам по себе“, Фрэнсис. Кот, разгуливающий по церкви, когда все другие, остервенело зевая, слушают скучную проповедь. Это в общем-то неплохое сравнение, ибо ты — в церкви, хоть ты и не пара тем, которые никогда не отступают от общеизвестных правил. Нисколько не льстя себе, я могу сказать, что во всей этой епархии я, пожалуй, единственное духовное лицо, которое по-настоящему понимает тебя. И очень удачно вышло, что теперь я твой епископ.

— Я знаю это, Ваша Милость.

— Для меня, — сказал епископ задумчиво, — ты отнюдь не неудачник, а напротив — громадный успех. Тебя не мешало бы немножко ободрить, так я уж рискну внушить тебе некоторое самомнение. В тебе есть пылкость и нежность. Ты понимаешь различие между мыслью и сомнением. Ты не принадлежишь к числу наших клерикальных „белошвеек“, которые должны обязательно зашивать все в маленькие аккуратные пакеты, удобные для раздачи. А самое лучшее в тебе, мой дорогой мальчик, это то, что в тебе совершенно нет этой надменной самоуверенности, которая вытекает скорее из догматизма, чем из веры.

Он замолчал. Фрэнсис чувствовал, что его переполняет нежность к этому старику. Он сидел, не поднимая глаз. Епископ продолжал спокойным голосом:

— Конечно, если мы ничего не предпримем, тебе придется плохо. Если мы будем размахивать дубинками, то слишком много голов раскровяним, в том числе и твою... Да, да, я знаю, ты не боишься. Но я боюсь. Ты слишком большая ценность, чтобы можно было отдать тебя на съедение львам. Вот почему я хочу кое-что предложить тебе.

Фрэнсис быстро поднял голову и встретился с мудрыми и любящими глазами епископа. Тот улыбнулся.

— Уж не воображаешь ли ты, что я бы с тобой выпивал, если бы не хотел, чтобы и ты что-то сделал для меня?

— Все, что угодно, — голос Фрэнсиса прервался от волнения.

Наступило долгое молчание. Лицо Мак-Нэбба казалось высеченным из мрамора, но когда он заговорил голос выдавал его волнение:

— Я очень большого хочу у тебя просить... хочу предложить тебе большую перемену... если тебе покажется, что я прошу у тебя слишком многого... ты должен сказать мне. Но я думаю, что это как раз то, что тебе нужно.

После непродолжительного молчания Его Преосвященство продолжал:

— Нашему Центру иностранных миссий наконец обещали дать приход в Китае. Когда все формальности будут завершены, а ты несколько подготовишься, поедешь ли ты туда нашим первым отважным представителем?

Фрэнсис не говорил ни слова, онемев от неожиданности. Ему казалось, что вокруг него рушатся стены. Просьба была так неожиданна, так грандиозна, что у него занялся дух. Покинуть дом, друзей, отправиться в какую-то громадную неведомую страну... Сейчас он не в состоянии был обдумать предложение епископа.. Но постепенно, каким-то таинственным образом необычайное одушевление охватило все его существо. И он прерывающимся голосом ответил:

— Да, я поеду.

Рыжий Мак наклонился и взял руку Фрэнсиса в свою. Глаза его увлажнились и смотрели с острой пристальностью.

— Я так и думал, мой мальчик. И я знаю, что ты сделаешь мне честь... Но предупреждаю тебя... там тебе не придется ловить семгу.

IV.

Китай

1

В начале 1902 года накренившаяся джонка медленно поднималась по бесконечно длинной желтой реке Хуанхэ в провинции Чжэкоу на расстоянии не менее тысячи миль вглубь страны от Тяньцзиня. Ее несколько необычным носовым украшением был католический священник среднего роста в домашних туфлях и тропическом шлеме, уже успевшем потерять первоначальный вид. Фрэнсис уселся верхом на невысоком бушприте, примостив свой молитвенник на одно колено. Он решил ненадолго прервать свое громкое сражение с китайским языком, в котором (как казалось его изнемогающей глотке) для каждого слога существует столько же звучаний, сколько звуков в хроматической гамме. Навстречу Фрэнсису медленно плыл пейзаж в желто-коричневых тонах, и взгляд невольно отдыхал на нем. Десять суток в трехфутовой камерке между палубами, служившей ему каютой, порядком утомили его, и он прошел на нос корабля в надежде подышать свежим воздухом. Фрэнсис с трудом пробился через плотно утрамбованную толщу своих спутников-земледельцев, ремесленников из Сэньсяна, бандитов и рыбаков, солдат и купцов, возвращающихся в Байтань. Люди сидели на корточках впритык друг к другу, курили, болтали и занимались стряпней среди клеток с утками, свинными хлевушками и сеткой, под которой содержалась одинокая и весьма беспокойного нрава коза.

Хотя Фрэнсис и дал себе обет не быть брезгливым, однако звуки, зрелища и запахи на протяжении этой последней, но нескончаемой стадии его путешествия совершенно извели его. Он благодарил Бога и святого Андрея, что сегодня вечером, если не произойдет еще какой-нибудь задержки, они, наконец, прибудут в Байтань.

Фрэнсис до сих пор не мог поверить, что является частицей этого нового, фантастического, такого далекого и чуждого ему мира, что он так невероятно разъединен со всем, что он знал или надеялся узнать. У него возникло ощущение, будто его жизнь как-то внезапно и нелепо изогнулась, утратив свою естественную форму. Фрэнсис подавил вздох, живуче же

другие нормально и гладко, а он какой-то чудаковатый неудачник, ничтожество, все у него шиворот-навыворот.

Фрэнсис вспомнил, как тяжело было прощаться со своими. Нэд умер три месяца назад, получив милосердное избавление от жизни, которая стала под конец нелепой и жалкой. Но Полли... он надеялся... он молился о том, чтобы ему было дано в будущем увидеться с нею. Немного утешало, что Джуди устроилась в городской совет стенографисткой — это обеспечивало ее материально и давало ей шансы на продвижение.

Чтобы вновь обрести твердость, Фрэнсис достал из внутреннего кармана письмо, относящееся к его назначению. Оно было от отца Мили, который был освобожден ныне от своих обязанностей в приходе святого Доминика и посвятил себя полностью деятельности в Обществе иностранных миссий. На письме стоял адрес Ливерпульского университета, где последний год Фрэнсис упорно долбил китайский язык. Вот что писал Ансельм:

„Мой дорогой Фрэнсис!

Я безмерно счастлив, что могу сообщить тебе радостные известия! Нас только что уведомили, что передача нам Байтаня, в викариате Чжэкоу, осуществленная Обществом иностранных миссий в декабре, утверждена Отделом пропаганды папской курии, и теперь ничто уже не должно задерживать твой отъезд. Наконец-то я могу посодействовать твоей славной миссии на Востоке.

Насколько я мог установить, Байтань — прелестное местечко, расположенное, правда, в глубине страны, но на хорошей реке. Это процветающий город, жители которого в основном заняты плетением корзин. Там изобилие продовольствия: зерновых культур, мяса, птицы и тропических фруктов. Но самое главное, самое лучшее — это то, что сама миссия, хотя и несколько отдаленная и, к сожалению, оставшаяся в течение последнего года без священника, находится в весьма процветающем состоянии. Очень жаль, что у меня нет фотографий, но могу тебя заверить, что местоположение ее в высшей степени удовлетворительно; миссия состоит из часовни, дома священника и территории при ней, /как волнующе звучит слово „территория“! Ты ведь помнишь,

как мы мальчишками играли в индейцев? Прости мои неумеренные восторги/.

Но самые сливки — это наша вполне достоверная статистика. Я посылаю тебе годовой отчет твоего предшественника, отца Лоулера, который недавно вернулся в Сан-Франциско. Я не буду его анализировать, так как, несомненно, ты сам изучишь его, более того, будешь смаковать его в тихие ночные часы. Однако я хочу подчеркнуть некоторые цифры: миссия, основанная всего три года тому назад, может похвалиться четырьмястами участников и тысячью крещений, из которых лишь треть падает на крещеных *in articulo mortis*^[32]. Разве это не радостно, Фрэнсис? Вот пример того, как благодать Божия может воздействовать даже на сердца язычников.

Мой дорогой! Я радуюсь тому, что тебе выпал этот счастливый жребий. И я не сомневаюсь, что, трудясь на этой ниве, ты пожнешь еще лучшую жатву. С нетерпением буду ждать твоего первого отчета. Я чувствую, что ты нашел, наконец, свое призвание и что невоздержанность на язык и некоторое безрассудство, причинявшие тебе неприятности и в прошлом, совершенно исчезнут.

Смирение, Фрэнсис, — вот в чем черпали силы святые Божий. Я каждый вечер молюсь за тебя и скоро опять напишу тебе. А ты пока позаботься о своем снаряжении. Прибери хорошие, ноские, прочные сутаны, тебе еще нужны будут подштанники и пояс. Пойди в магазин „Хэнсон и сын“, — они надежные люди и родственники органиста нашего собора.

Вполне возможно, что мы увидимся раньше, чем ты думаешь. Моя новая должность может превратить меня в настоящего путешественника. Разве это не здорово будет встретиться под сенью деревьев Байтаня? Еще раз поздравляю тебя и шлю наилучшие пожелания. Твой брат во Христе

Ансельм Мили,
Секретарь Общества иностранных миссий
Епархия Тайнкасла“.

К заходу солнца суета на джонке усилилась. Они прибывали. Пока судно входило в большую бухту с грязной водой, где сновала тьма-тьмущая сампанов^[33], Фрэнсис жадно всматривался в окрестности города, напоминающие амфитеатр. Байтань был похож на громадный низкий улей, из которого доносилось непрерывное жужжанье. Желтый свет заходящего солнца заливал город. Перед ним расстилалось илистое болото, с зарослями тростника, за ним вдалеке высились розовато-жемчужные, казавшиеся полупрозрачными горы.

Он надеялся, что из миссии за ним, возможно, будет выслана лодка. Но единственная лодка пришла за господином Чиа, богатым торговцем, постоянно живущим в Байтане. Сейчас он впервые появился из глубин джонки, — молчаливый, в красивом атласном одеянии. Это был человек лет тридцати пяти, но державшийся с таким достоинством и спокойствием, что выглядел старше. У него была тонкая золотистая кожа и настолько черные волосы, что они казались влажными. Господин Чиа стоял неторопливо-безразличный, а слуга суетился вокруг него. И хотя Чиа ни разу не взглянул в сторону священника, Фрэнсис почему-то был убежден, что его разглядели вплоть до мельчайших подробностей.

Прошло некоторое время прежде, чем новый миссионер с черным лакированным чемоданчиком из жести получил разрешение сойти на берег. Садясь в сампан, он крепко сжимал свой большой шелковый зонтик, великолепную вещь, крытую клетчатой шотландкой, которую епископ Мак-Нэбб вручил ему на прощание.

Когда лодка приблизилась к берегу, Фрэнсис увидел целую кучу народа на ступеньках причала. Он страшно взволновался — неужели это его прихожане встречают своего нового миссионера?! Какое чудесное завершение его нескончаемо-долгого пути! От радости у него сильно и больно заколотилось сердце. Но, увы... сходя на берег, Фрэнсис понял, что ошибся. Никто не встречал его. Ему пришлось проталкиваться сквозь глазающую на него, но совершенно равнодушную толпу. От причала в город вела длинная широкая лестница, и в самом конце ее что-то заставило Фрэнсиса резко остановиться. Перед ним стояли два китайца — мужчина и женщина, одетые в опрятные синие одежды, и счастливо улыбались. В качестве верительных грамот они несли ярко раскрашенную картинку, изображающую святое семейство. Так как священник стоял неподвижно, то две маленькие фигурки сами приблизились к нему, — улыбки на их лицах стали еще шире, китайцы были вне себя от радости, беспрестанно кланялись и усердно крестились.

Начались взаимные представления, — они оказались не такими трудными, как предполагал Фрэнсис.

— Кто вы? — спросил он ласково.

— Мы Осанна и Филомена Ванг — ваши возлюбленные новообращенные, отец.

— Вы из миссии?

— Да, да. Отец Лоулер сделал прекрасную миссию, отец.

— Вы проводите меня в миссию?

— Да, конечно, пойдете. Но может быть, отец окажет нам честь и сначала посетит наше скромное жилище?

— Благодарю вас, но мне не терпится поскорее добраться до миссии.

— Ну, конечно, мы пойдём в миссию. У меня здесь носильщики и носилки для отца.

— Вы очень добры, но я предпочел бы пройтись.

Все еще улыбаясь, хотя улыбка его несколько поблекла, Осанна повернулся, — последовал быстрый и непонятный разговор, похожий, пожалуй, на спор, — и он отпустил носильщиков. Осталось два кули, один взвалил на плечо чемодан, другой — зонтик, и все общество отправилось пешком.

Несмотря на то, что улицы были извилисты и грязны, Фрэнсис с удовольствием шел пешком, разминая ноги, затекшие от вынужденной неподвижности на джонке. Он вдруг почувствовал прилив энтузиазма. Все вокруг было ему чуждо, и все-таки Фрэнсис ощущал свою общность с этими людьми. Здесь были сердца, которые ему предстояло завоевать, и души, которые он должен был спасти!

Он заметил, что один из Вангов остановился и собирается заговорить с ним.

— На Улице Делателей Сетей есть очень приятная квартирка... она очень недорогая... не хочет ли отец переночевать там? — предложил Осанна.

Фрэнсис посмотрел на него с веселым удивлением:

— Нет, нет, Осанна. Пошли в миссию.

Воцарилось молчание. Филомена деланно закашлялась. До Фрэнсиса дошло, что они все еще стоят на месте. Осанна вежливо улыбался.

— Это и есть миссия, отец.

Сначала он не понял. Перед ними простирался пустынный речной берег с выжженной солнцем и изрытой дождями землей. Так называемая „миссия“ была обрамлена утрамбованной белой глиной. В одном конце участка стояли останки глиняной часовни. Крыша у нее отсутствовала,

одна стена завалилась, другие раскрошились. Рядом лежала груда обломков, которые, возможно, когда-то были домом. Сквозь них пробивались высокие сорняки, похожие на перья огромных птиц. Одинок и жалко смотрел стоящий среди этих руин хлев. Он тоже покосился и готов был развалиться, но на нем еще уцелела соломенная крыша.

Минуты три Фрэнсис простоял в каком-то оцепенении, потом медленно повернулся к Вангам. Они стояли теперь, прижавшись друг к другу, и наблюдали за ним — чистенькие, непостижимые, похожие на сиамских близнецов.

— Почему это произошло? — вымолвил он, наконец.

— Это была прекрасная миссия, отец. Она дорого стоила, и нам нелегко было собрать деньги на ее постройку. Но — увы! — добрый отец Лоулер построил ее слишком близко к реке. А дьявол наслал много злых дождей.

— А где же все прихожане?

— Они испорченные люди, они не верят в Отца Небесного, — оба говорили теперь быстро, перебивая друг друга и жестикулируя. — Отец должен понять, как много зависит от нас, катехизаторов^[34]. Увы! С тех пор как добрый отец Лоулер уехал, никто не платил нам нашего законного жалованья — 15 талей в месяц. Невозможно было должным образом наставлять этих порочных людей.

Совершенно раздавленный и опустошенный, отец Чисхолм отвел от них глаза. Так вот его миссия, вот его двое единственных прихожан. Воспоминание о письме Ансельма вызвало в нем внезапную вспышку гнева. Он стиснул руки и стоял неподвижно, погруженный в свои мысли. А Ванги все говорили и говорили, стараясь убедить его вернуться в город. Фрэнсис не без труда отделался от них, от их назойливого, липкого присутствия. Наконец-то он один. Какое облегчение!

Он решительно внес чемодан в хлев. Когда-то хлев был достаточно хорош для Христа. Оглянувшись вокруг, Фрэнсис увидел, что на земляном полу еще валялись остатки соломы. Ну, что ж. Хотя у него не было ни пищи, ни воды, но, по крайней мере, у него была постель. Он распаковал одеяла и стал приводить свое жилище в мало-мальски обитаемый вид. Вдруг Фрэнсис услышал звуки гонга и выбежал из хлева. За сломанным забором, около ближайшего из храмов, вырисовывавшихся на соседнем холме, стоял пожилой бонза в толстых чулках и желтом одеянии и с размеренной монотонностью ударял в металлический диск. Два священника — священник Будды и священник Христа — в молчании смотрели друг на друга. Потом старик, ничего не сказав, повернулся,

поднялся по ступенькам храма и исчез.

Ночь упала с быстротой молнии. Среди разоренных владений, в темноте, Фрэнсис опустился на колени и поднял глаза к слабо мерцавшим звездам. Он молился истово, со страшным душевным напряжением.

„Господи! Ты хочешь, чтобы я начинал с пустого места. Это Твой ответ на мое тщеславие, на мою упорную человеческую самонадеянность. Так даже лучше! Я буду работать, я буду бороться для Тебя, я никогда не сдамся... никогда... никогда!“

Фрэнсис вернулся в хлев и попытался уснуть. Задыхаясь от духоты, под пронзительное зуденье moskitov и трескотню летающих жуков, он заставил себя улыбнуться. Фрэнсис не чувствовал себя героем, нет, он чувствовал себя ужасным дураком. Святая Тереза сравнивала жизнь с ночью, проведенной в отеле. Этот отель, в который они его послали, был далеко не „Ритц“!

Наконец настало утро. Фрэнсис встал, вынул чашу из ящика кедрового дерева, сделал из своего чемодана алтарь и отслужил мессу, коленапреклоненный на полу своего хлева. Он чувствовал себя освеженным, счастливым и сильным. И даже приход Осанны Ванга не нарушил его душевного покоя.

— Отец должен был позвать меня прислуживать во время мессы. Это всегда включалось в наше жалованье. Ну а теперь... пойдём мы искать комнату на Улице Делателей Сетей?

Фрэнсис размышлял. Хотя он упрямо решил жить здесь до выяснения своего положения, однако ему следовало найти более подходящее место для богослужений, поэтому он ответил:

— Ну, что ж, пойдём туда сейчас же.

На улицах уже толкся народ. Бездомные собаки бежали за людьми и выпрашивали подачку, в канаве рылись в отбросах свиньи. Дети ни на шаг не отставали от Фрэнсиса и Ванга, глумясь и выкрикивая насмешки. Нищие назойливо тянули к ним ладони и слезливо причитали. Старик, разложивший свои товары на улице, мрачно плюнул под ноги иностранному дьяволу. Около суда стоял странствующий цирюльник, размахивая своими длинными щипцами. Было очень много бедноты, нищих, калек, некоторые, ослепшие от оспы, прокладывали себе дорогу с помощью длинных бамбуковых палок и при этом издавали странный резкий свист.

Ванг привел его в комнату над лавкой. Она была разделена грубой перегородкой из бумаги и бамбука, но вполне могла сойти для любого богослужения. Из своего маленького запаса денег он уплатил лавочнику по

имени Ханг за месяц вперед и начал пристраивать распятие и свое единственное покрывало для алтаря. Думая найти в „процветающей“ миссии все необходимое, Фрэнсис почти ничего не взял с собой.

Его беспокоило отсутствие богослужебных одежд и принадлежностей, но как бы то ни было, он водрузил свое знамя. Ванг первый прошел в лавку внизу, а Фрэнсис, повернувшись, чтобы спуститься туда, увидел, что Ханг взял два серебряных тая их тех денег, которые он дал ему, и с поклоном протянул их Вангу.

— Мне очень жаль, Осанна, но я не смогу платить вам ваши 15 талей в месяц.

— Отец Лоулер мог платить. А почему отец не может?

— Я беден, Осанна. Так же беден, как был беден мой Господь.

— А сколько отец будет платить?

— Я ничего не буду платить, Осанна. Мне тоже ничего не платят. Нас вознаградит Господь.

Ванг все улыбался.

— Пожалуй, Осанна и Филомена должны будут пойти туда, где их оценят. В Сэньсяне методисты платят таким уважаемым катехизаторам по 16 талей. Но отец, несомненно, еще передумает. Здесь, в Байтане, очень враждебно относятся к миссионерам. Люди считают, что feng shua города — законы порядка — разрушаются вторжением миссионеров, — он подождал ответа священника, но Фрэнсис не сказал ничего.

Наступившее молчание стало напряженным. Тогда Ванг вежливо поклонился и ушел. Фрэнсиса даже дрожь пробрала, когда он стоял, глядя ему вслед.

Правильно ли он поступил, оттолкнув от себя дружелюбных Вангов? Но ведь Ванги вовсе не были друзьями, но подхалимами и приспособленцами, верящими в христианского Бога за христианские деньги. И все-таки... единственная связь между ним и населением была порвана. Ему вдруг стало страшно, Фрэнсис с горечью почувствовал, как он одинок.

Дни шли, и его ужасное одиночество все возрастало, а бессилие что-либо предпринять парализовало волю начинающего миссионера. Лоулер, его предшественник, строил на песке. Несведущий, легковерный, в изобилии снабженный деньгами, он бросался во все стороны, раздавая деньги, давал имена и крестил без разбора. Так он собирал целую вереницу „рисовых христиан“. Это был напыщенный оптимист, упивающийся своим триумфом. Когда Лоулер сочинял свои длинные отчеты, он и не подозревал, что стал жертвой множества хитрых вымогателей. Этот так называемый

„миссионер“ ко всему относился поверхностно, и от его работы ничего не осталось, разве что презрение, распространившееся в официальных кругах города к достойной жалости глупости чужеземца.

Кроме небольшой суммы на жизнь и пятифунтового банкнота, который Полли всунула ему в руку в момент отъезда, никаких денег у Фрэнсиса не было. К тому же его предупредили, что всякие просьбы о субсидии от миссионерского общества на родине будут отклонены. Пример отца Лоулера (при мысли о нем ему делалось противно до тошноты) заставлял его радоваться своей бедности. Он с лихорадочным жаром поклялся себе, что не будет нанимать прихожан за деньги. То, что должно быть сделано, будет сделано с помощью Бога и его собственных рук. Но пока Фрэнсис не сделал еще ничего.

Первым делом он повесил вывеску на своей временной часовне. Это не привело ни к чему: никто не приходил слушать мессу. Ванги широко распространили слух о том, что он нищ, что с него нечего получить, кроме горьких слов.

Потом Фрэнсис попытался устроить собрание на улице около здания суда. Его осмеяли, а затем просто игнорировали. Этот провал унижал его. Какой-нибудь китайский жестянщик, выступи он с проповедью конфуцианства на своем ломаном англо-китайском жаргоне где-нибудь на улицах Ливерпуля, наверное, имел бы большой успех. Фрэнсис исступленно боролся с коварным демоном, непрестанно нашептывавшем ему о его неумелости.

Он молился, молился с одержимостью, ибо горячо верил в действенную силу молитвы. „О Господи! Ты помогал мне раньше, помоги же мне сейчас, ради Бога помоги, прошу тебя!“

Часто целыми часами Фрэнсис предавался неистовому гневу. Почему они послали его сюда, в эту чужую дыру, почему поверили этим липовым отчетам?! Это ни одному человеку не по силам, это не по силам самому Господу Богу!

Он был отрезан от всех средств связи, погребен в этой глуши. Ближайший миссионер, отец Тибодо, находился в Сэньсяне, за четыреста миль отсюда. А этот заброшенный пустырь был совершенно непригоден для миссии.

Всеобщая враждебность к незадачливому миссионеру, подогреваемая Вангами, росла. Он уже привык к насмешкам детей. Теперь, когда Фрэнсис шел по городу, за ним следовала целая толпа молодых кули и выкрикивала оскорбления. Если он останавливался, кто-нибудь подходил к нему и отправлял около него свои естественные нужды. Однажды вечером, когда

Фрэнсис вернулся в свой хлев, пущенный из темноты камень ударил его в лоб.

Это было уж слишком и пробудило в нем боевой дух. Когда Фрэнсис перевязывал свою разбитую голову, собственная рана навела его на дикую мысль, тем не менее, поразившую его своей простотой. Он должен... да, он должен подойти ближе к этим людям... и это... пусть это очень примитивно, и все-таки эта новая попытка, может быть, поможет ему достигнуть цели.

На следующее утро, уплатив два лишних таля в месяц, Фрэнсис снял у Ханга заднее помещение лавки и открыл общедоступную амбулаторию. Богу только ведомо, как мало он смыслил в медицине, но у него все же было свидетельство о прохождении курсов по оказанию первой помощи, да и долгое общение с доктором Таллохом дало ему основательные познания в гигиене.

Сначала никто не осмеливался подойти близко к его амбулатории, и Фрэнсис уже стал предаваться отчаянию. Но постепенно, влекомые любопытством, стали заходить один... другой... В городе всегда было много больных, а местные доктора лечили варварскими методами. Новый доктор стал пользоваться некоторым успехом, тем более, что он ничего не требовал — ни денег, ни благочестия. Его клиентура мало-помалу росла. Фрэнсис написал письмо Уилли, вложив в него пять фунтов, полученные от Полли, и попросил, чтобы тот срочно выслал ему ваты, бинтов и простых лекарств. И хотя часовня по-прежнему пустовала, зато амбулатория частенько бывала переполнена.

По ночам, бродя среди развалин миссии, он предавался грустным раздумьям. Ему никогда не отстроить миссию заново на этом размываемом водой участке, никогда... И Фрэнсис с вождением смотрел через дорогу на радующий взор Холм Блестящего Зеленого Нефрита, прелестный склон которого с тенистой кедровой рощей поднимался над разбросанными там и сям храмами. Вот было бы достойное местоположение для храма Господня!

Владелец этой земли, гражданский судья по имени Пао, член замкнутого круга породнившихся между собой браками купцов и должностных лиц, заправлявших всеми делами города, появлялся очень редко. Но почти каждый день его родственник и управляющий высокий величавый мандарин лет сорока, приезжал, чтобы осмотреть работы и расплатиться с рабочими глиняных карьеров, которые были расположены в кедровой роще.

Измученный неделями одиночества, покинутый, преследуемый, Фрэнсис, несомненно, немного помешался. У него не было ничего, и сам

он был ничто. И все-таки однажды под влиянием порыва он остановил высокого мандарина, когда тот пересекал дорогу, направляясь к своим носилкам. Фрэнсис не понимал всего неприличия своего поступка. По правде говоря, он едва ли вообще соображал, что делает: он плохо питался и от приступа лихорадки был в полубредовом состоянии.

— Я часто восхищаюсь этим прекрасным владением, которым вы столь мудро управляете, — сказал Фрэнсис.

Двоюродный брат господина Пао, остолбеневший от удивления, чопорно смотрел на изможденную фигуру чужеземца с горящими глазами и грязной повязкой на лбу. С ледяной вежливостью он наблюдал продолжительную борьбу священника с китайской грамматикой, затем кратко попросил снисхождения к себе, к своей семье, к своим жалким владениям, сделал несколько замечаний о погоде, о видах на урожай, о трудностях, перенесенных городом, чтобы откупиться от бандитов Вайчу. Совершив все это, мандарин демонстративно открыл дверцу своих носилок. Когда Фрэнсис, у которого кружилась голова, попытался снова повернуть разговор на участок Зеленого Нефрита, он снисходительно улыбнулся.

— Владение Зеленого Нефрита — это жемчужина, которой нет цены. Оно велико, на нем есть тень, вода, пастбища... кроме того, там богатые глиняные карьеры с великолепной глиной, идущей на керамику, изготовление кафеля и кирпича. Господин Пао не имеет желания продавать его. Ему уже предлагали пятнадцать тысяч серебряных долларов, но он отказался.

У Фрэнсиса ноги подогнулись, когда он услышал эту цену, в десять раз превосходящую его самые боязливые предположения. Лихорадка сразу оставила его, он вдруг почувствовал, как он слаб и как кружится и раскалывается от боли у него голова, и устыдился нелепости своих мечтаний. Фрэнсис поблагодарил родственника господина Пао и сконфуженно пробормотал какие-то извинения. Заметив печаль и обескураженность священника, этот культурный китаец позволил нотке презрения прорваться сквозь обтекаемую скрытность и осторожность своих фраз.

— Зачем Шанфу приехал сюда? Разве в его собственной стране нет плохих людей, которых надо исправлять? Мы ведь не плохие люди. У нас есть своя религия. Наши боги старше ваших. Другой Шанфу сделал много христиан: он поливал умирающих водой из маленькой бутылочки и пел над ними „я-а-а... я-а-а!“ А еще он раздавал пищу и одежду многим таким, которые на все согласны, лишь бы прикрыли их шкуры да набили им

животы. Шанфу тоже хочет так делать?

Фрэнсис молча смотрел на него. Худое лицо священника было мертвенно бледно, под глазами легли глубокие тени. Он тихо сказал:

— Вы думаете, что я этого хочу?

Наступило странное молчание. Китаец тотчас же опустил глаза.

— Простите меня, — сказал он тихо. — Я не понял. Вы хороший человек, — в его словах послышались нотки раскаяния и дружелюбия. — Мне очень жаль, что земля моего родственника не продается. Не могу ли я помочь вам чем-нибудь другим? — двоюродный брат господина Пао ждал ответа с учтивостью, не похожей на его прежнюю ледяную вежливость, ему, видимо, очень хотелось загладить свои слова.

Фрэнсис подумал с минуту, а потом печально спросил:

— Скажите мне, раз уж мы заговорили начистоту... неужели здесь совсем нет настоящих христиан?

Китаец медленно ответил: — Может быть, и есть. Но я не стал бы искать их в Байтане, — он помолчал. — Я слышал, однако, об одной деревне в горах Гуан, — он сделал неопределенный жест в сторону отдаленных вершин. — Эта деревня уже много лет христианская... но это очень далеко, за много-много ли^[35] отсюда.

Сквозь беспросветный мрак в душе Фрэнсиса пробился луч света.

— Это чрезвычайно интересует меня. Не могли бы вы еще что-нибудь сообщить мне об этой деревне?

Тот с сожалением покачал головой.

— Это очень маленькое местечко в горах, почти неизвестное. Мой двоюродный брат узнал о нем только благодаря торговле овечьими шкурами.

Но страстное желание узнать об этой деревне сделало Фрэнсиса настойчивым.

— И все-таки не могли бы вы снабдить меня какими-нибудь указаниями... может быть, картой?

Родственник господина Пао после некоторого размышления серьезно кивнул.

— Это, вероятно, можно будет сделать. Я попрошу господина Пао. Кроме того, я не премину сообщить ему, что вы говорили со мной самым благородным образом, — он поклонился и ушел.

Преисполненный совершенно неожиданной надежды Фрэнсис вернулся в свои руины, где с помощью нескольких одеял, мехов для воды и кой-какой утвари, которую приобрел в городе, он устроил себе примитивное жилище. Фрэнсис принялся готовить себе скудную вечернюю

трапезу — рис. Руки у него дрожали, как после сильного потрясения. Христианская деревня! Он должен найти ее любой ценой. Впервые за все эти мучительные, бесплодные месяцы Фрэнсис почувствовал, что Бог руководит им и дает ему силу.

Наступили сумерки. Он сидел, погруженный в свои мысли, как вдруг тишину нарушил хриплый крик дерущихся ворон. С громким граем они разрывали какую-то пададь около воды. Фрэнсис, наконец, вышел, чтобы разогнать их. Увидев человека, огромные безобразные вороны с шумом захлопали крыльями и пронзительно закричали. Фрэнсис подошел ближе и с ужасом заметил, что добычей птиц стало тельце новорожденной девочки.

Содрогаясь, он вытащил растерзанное тело ребенка из реки и увидел, что девочка была задушена и брошена в реку. Фрэнсис завернул крошечное существо в полотно и похоронил в углу своего участка. Молясь, он подумал: „Да, несмотря на все мои сомнения, я все-таки, нужен здесь, в этой чужой стране“.

2

Через две недели, в самом начале лета, Фрэнсис был готов отправиться на поиски христианской деревни. Повесив записку о временном закрытии амбулатории, он привязал ремнями себе на спину тюк с одеялами и едой, взял свой зонтик и быстрым шагом пустился в путь.

Карта, данная ему родственником господина Пао, была выполнена прекрасно: с извергающими пламя драконами по углам и массой топографических деталей. Но там, где начинались горы, эти подробности исчезали и карта становилась больше похожей на эскиз — вместо названий мест на ней появились маленькие рисунки с изображениями животных. Впрочем, из разговора с китайцем и руководствуясь собственным чувством ориентации, Фрэнсис составил себе довольно ясное представление о предстоящем пути. Он повернул к ущелью в горах Гуан. Два дня Фрэнсис шел по цветущей местности, зеленые рисовые поля, залитые водой, сменялись еловыми лесами, где ноги ступали по опавшим иголкам, как по мягкому упругому ковру.

У подножия хребта он пересек защищенную горами долину всю в пламени диких рододендронов, а позднее в тот же день прошел через поляну цветущих абрикосов, их аромат покалывал ноздри, как пена искристого вина.

Затем начался крутой подъем из лоцины. С каждым шагом вверх по узкой каменистой дороге становилось все холоднее. Ночью Фрэнсис свернулся в клубок под укрытием скалы и лежал, слушая свист ветра в узком ущелье и грохот воды от таянья снегов. Днем холодная сверкающая белизна горных вершин жгла ему глаза. Разреженный ледяной воздух с болью входил в легкие.

На пятый день он перешел вершину горного хребта — замерзший хаос ледников и скал — и с чувством благодарности к Богу начал спускаться. Перевал вывел его на широкое зеленое плато, ниже линии снегов незаметно переходящее в округлые холмы. Это были те луга, о которых говорил родственник господина Пао.

До сих пор его извилистый путь определялся горами. Теперь Фрэнсис мог положиться только на Провидение, на свой компас и здравый смысл шотландца. Он повернул прямо на запад. Эта часть страны была похожа на гористую часть его родины. Фрэнсис встречал большие стада горных коз и овец, щиплющих траву с видом стойков, при его приближении они растекались, как дикий поток. Однажды его взгляд поймал мимолетный образ газели. Из поросшего пучками травы серовато-коричневого болота поднялись, крича, тысячи гнездящихся там уток, и небо стало темным. Пицца его подходила к концу, и он с радостью наполнил свою сумку теплыми яйцами.

Теперь Фрэнсис был на равнине, где не было ни одной дороги, ни одного дерева. Он уже начал отчаиваться в том, что ему удастся найти свою деревню. Но рано утром на девятый день, когда Фрэнсис уже готов был повернуть назад, он увидел пастушью хижину — это был первый признак жилья с тех пор, как он покинул южные склоны. Фрэнсис поспешно устремился к ней. Дверь была запечатана грязью, внутри никого не было, он обошел вокруг хижины и, словно став зорче от разочарования, увидел мальчика, ведущего сюда через холм свое стадо.

Юному пастуху было лет семнадцать. Он был маленький и жилистый, как его овцы, с веселым и смышленным лицом, на котором попеременно отражалось то удивление, то сдерживаемый смех. Одежда мальчика состояла из коротких штанов из овечьей шкуры и шерстяной накидки. На шее у него висел маленький бронзовый крест, ставший от времени тонким, как облатка, с грубо нацарапанным на нем голубем. Потрясенный, отец Чисхолм в молчании переводил взгляд с открытого лица мальчика на крест. Наконец он обрел дар речи и, поздоровавшись с пастухом, спросил, не живет ли он в деревне Лиу. Паренек дружелюбно улыбнулся.

— Я из христианской деревни Ялиута. Мой отец — деревенский

священник, — и добавил, чтобы не подумали, что он хвастается: — один из деревенских священников.

Некоторое время оба молчали. Отец Чисхолм воздержался от дальнейших вопросов и только сказал:

— Я пришел издалека, и я тоже священник. Я был бы тебе очень благодарен, если бы ты отвел меня в свою деревню.

Мальчик охотно согласился.

Деревня Лиу лежала в живописной холмистой долине в пяти ли дальше к западу. Она состояла примерно из тридцати домов, укрывавшихся в горной складке. Вокруг стлались хлебные поля, огороженные камнями. В тени дерева гинкго^[36] Фрэнсис заметил странный каменный курган конической формы. За ним, выделяясь на центральном холме, стояла маленькая каменная церковь.

Когда отец Чисхолм вошел в деревню, его немедленно окружили ее жители: мужчины, женщины, дети и собаки, любопытствуя, столпились вокруг него, взволнованные и приветливые. Они дергали его за рукава, трогали ботинки, с возгласами восхищения разглядывали его зонтик. Тем временем Та что-то быстро объяснял своим сородичам на диалекте, которого Фрэнсис не мог понять. Вокруг европейца столпилось человек шестьдесят простых крестьян, черты которых отчетливо носили признаки семейного сходства. Люди выглядели здоровыми и крепкими. Фрэнсиса радовало открытое дружелюбие в их наивных глазах.

Вскоре Та с видом собственника вытащил вперед своего отца Лиучи, невысокого, но сильного человека лет пятидесяти, с маленькой седой бородкой и полными простоты и достоинства манерами.

Медленно, чтобы его можно было понять, Лиучи сказал:

— Мы с радостью приветствуем вас, отец. Войдите в мой дом и отдохните немного перед молитвой.

Он провел отца Чисхолма к самому большому дому, построенному на каменном фундаменте около церкви и с изысканной вежливостью ввел его в низкую прохладную комнату. У противоположной стены стояли клавикорды из красного дерева и португальские часы. Совершенно изумленный, Фрэнсис во все глаза смотрел на часы. На латунном циферблате было выгравировано: *Лиссабон. 1632.*

Ему некогда было заняться более подробным осмотром, так как Лиучи снова обратился к нему:

— Желаете ли вы сами отслужить мессу, отец, или хотите, чтобы это сделал я?

Как во сне, отец Чисхолм кивнул головой на него. Какой-то

внутренний голос заставил его ответить:

— Вы, пожалуйста!

Он был в замешательстве и брел на ощупь. Фрэнсис знал, что нельзя проникать в эту тайну грубо, заговорив о ней, он должен постичь ее сам, бережно и терпеливо.

Через полчаса все собрались к заутрене. Церковь была маленькая, но построена со вкусом в стиле Ренессанс с налетом мавританского влияния. Сразу обращали на себя внимание три простых прекрасно выполненных аркады и грандиозные мозаики, частью не законченные. Входная дверь и окна поддерживались плоскими пилястрами.

Фрэнсис сидел в первом ряду внимательных прихожан. Каждый, прежде чем войти, проделывал церемонию омовения рук. Большинство мужчин и несколько женщин надели специальные молитвенные головные уборы. Вдруг прозвенел колокольчик, и Лиучи в поблекшем желтом одеянии, поддерживаемый двумя юношами, приблизился к алтарю. Повернувшись, он церемонно поклонился отцу Чисхолму и всем собравшимся. Затем началось богослужение.

Фрэнсис наблюдал, очень прямо стоя на коленях. Он чувствовал себя во власти какого-то очарования, будто у него на глазах воплощалась его мечта Фрэнсис видел теперь, что эта церемония была своеобразным пережитком, трогательной реликвией мессы. Лиучи, очевидно, не знал латыни, так как он молился по-китайски. Сначала он прочел Confiteor^[37], потом Credo^[38]. Когда священник поднялся к алтарю и открыл пергаментный требник, что стоял на деревянной подставке, отец Чисхолм отчетливо расслышал отрывок из Священного Писания, торжественно провозглашенный на родном языке. Это был самобытный перевод Библии... Фрэнсис перевел дух.

Все пошли к причастию. Даже грудных детей поднесли к ступенькам алтаря. Лиучи спустился, неся чашу рисового вина. Он окунал в нее палец и проводил им по губам каждого причащающегося. Перед уходом из церкви прихожане собрались около статуи Спасителя и поставили зажженные ароматические свечи в тяжелый канделябр у ее подножия. Затем каждый сделал по три земных поклона и почтительно отошел.

Отец Чисхолм задержался в церкви. Глаза его были влажны, а сердце сжималось от этого наивного детского благочестия, того самого благочестия и той самой наивности которые он так часто наблюдал среди крестьян Испании. Конечно, вся эта церемония была недействительной — он слегка улыбнулся, представив себе ужас отца Тэррента, если бы тот

увидал это зрелище, — но он нисколько не сомневался в том, что от этого она не была менее приятна Всемогущему Богу.

Лиучи ожидал его на улице, чтобы проводить в дом, где уже была приготовлена еда. Отец Чисхолм очень проголодался и отдал должное рагу из горного барашка — маленькие ароматные шарики плавали в капустном супе, а потом необычайному блюду из риса и дикого меда, он в жизни не едал такого вкусного десерта.

Когда оба закончили трапезу, Фрэнсис стал тактично расспрашивать Лиучи. Он скорее согласился бы откусить себе язык, чем обидеть собеседника. Деликатный старик отвечал доверчиво. Верования его были христианскими, совершенно детскими и странным образом переплетались с традициями Даодэ^[39]. Может быть, с внутренней улыбкой подумал отец Чисхолм, они также немножко отдавали несторианством^[40].

Лиучи объяснил ему, что вера передавалась у них от отца к сыну на протяжении многих поколений. Их деревня не была совсем уж отрезана от мира, но все же в достаточной мере далека и так мала, так замкнута в своей жизни, что чужие редко нарушали ее покой. Жители здесь были одной большой семьей. Они вели чисто пастушеское существование и ни от кого не зависели. Даже в самые тяжелые времена у них было вдоволь хлеба и баранины. Кроме того, местные крестьяне умели делать овечий сыр^[41] и два сорта масла — красное и черное — и то и другое изготовлялось из бобов и называлось „чианг“. Одежду они изготовляли из домотканой шерсти и овечьих шкур.

Из овечьей кожи издавна выделывали особый сорт пергамента, который очень ценился в Пекине. В горах было много диких маленьких лошадей. Изредка кто-нибудь из семьи отвозил на них в город груз тонкого пергамента.

В маленьком племени было три „отца“, избравшихся на эту должность еще в раннем детстве. За некоторые религиозные требы вносилась плата рисом. Они особенно почитали „Трех Драгоценных“ — св. Троицу. За все время, что они себя помнят, им никогда не приходилось видеть настоящего посвященного священника.

Отец Чисхолм слушал с напряженным вниманием и теперь задал вопрос, интересовавший его больше всего:

— Вы мне еще не рассказали, как это все началось.

Лиучи посмотрел на своего гостя, как бы желая составить окончательное мнение о нем, потом с легкой улыбкою встал и вышел в соседнюю комнату. Он вернулся, неся под мышкой сверток, завернутый в

овечью шкуру. Лиучи молча протянул его отцу Чисхолму, посмотрел, как тот развернул его и, увидев, что священник совершенно поглощен чтением, молча вышел.

Это был дневник отца Рибьеру, написанный на португальском языке, потемневший, испачканный и рваный, но в большей своей части поддающийся прочтению. Фрэнсис знал испанский, и поэтому смог медленно перевести его. Захватывающий интерес, с каким читался этот документ, заставлял забывать о труде, затрачиваемом на его расшифровку. Дневник португальца властно приковывал к себе его внимание. Отец Чисхолм сидел совершенно неподвижно, только рука время от времени медленно двигалась, переворачивая тяжелую страницу. Время ушло на триста лет назад, старые остановившиеся часы возобновили свое мерное тиканье.

Мануэль Рибьеру был миссионером из Лиссабона, он прибыл в Пекин в 1625 году. Фрэнсис видел португальца как живого: молодой человек двадцати девяти лет, худощавый, смугло-оливковый, довольно пылкий, с темными глазами, пламенными и смиренными одновременно. В Пекине молодому миссионеру посчастливилось подружиться с отцом Адамом Шалем, великим немецким миссионером-иезуитом, астрономом, доверенным лицом, другом и законодателем императора Чунчина. В течение нескольких лет на отца Рибьеру падал отблеск славы этого поразительного человека.

Не затрагиваемый бурными придворными интригами Шаль делал свое дело — насаждал христианскую веру (даже в гареме императора), своими точными предсказаниями комет и затмений ставил в тупик злобно ненавидевших его придворных, составлял новый календарь, завоевывал дружбу императора и получал громкие титулы себе и всем своим предкам.

Затем португалец стал настаивать, чтобы его послали в дальнюю миссию ко двору татарского хана. Адам Шаль согласился исполнить его просьбу. Был снаряжен богатый, основательно вооруженный караван, который отправился из Пекина в праздник Успенья в 1629 году.

Однако каравану не суждено было дойти до владений татарского хана: на северных склонах Гуанских гор орда диких кочевников устроила засаду, грозные защитники каравана побросали оружие и разбежались, богатый караван был разграблен. Смертельно раненному отцу Рибьеру удалось бежать, захватив с собой личное имущество и немногие предметы культа. Ночь застигла его среди снегов, он думал, что настал его последний час и, истекая кровью, принес себя в жертву Богу. Но мороз заморозил его раны. На следующее утро он дотащился до хижины пастуха, где и пролежал

шесть месяцев между жизнью и смертью. Тем временем до Пекина дошли сведения, что отец Рибьеру убит. Никакой экспедиции на его поиски отправлено не было.

Когда португалец убедился, что останется жив, он стал строить планы возвращения к Адаму Шалю. Но время шло, а отец Рибьеру все оставался там, где был. На этих широких пастбищах он переоценил ценности и приобрел привычку к созерцательной жизни. Кроме того, Рибьеру находился на расстоянии трех тысяч ли от Пекина — расстояние, устрашающее даже для его неустрашимого духа. И он спокойно принял решение. Отец Рибьеру объединил горстку пастухов в небольшой поселок. Построил церковь. Стал другом и пастырем не татарского хана, а этого смиренного маленького стада.

Вздыхнув, Фрэнсис отложил дневник. В меркнувшем свете дня он сидел и думал, думал и видел многое. Потом отец Чисхолм встал и вышел к большому каменному кургану около церкви. Он опустился на колени у могилы отца Рибьеру и стал молиться.

В деревне Лиу Фрэнсис пробыл неделю. Убеждая так, чтобы не обидеть никого, он предложил утвердить все крещения и браки, служил мессу, деликатно намекал на исправление того или иного. Чтобы привести деревню к действительно ортодоксальному состоянию, требовалось много времени, даже не месяцы, а годы. Но какое это имело значение? Отец Чисхолм согласен был и на такое медленное продвижение вперед. Маленькая община была чиста и крепка, как хорошее яблоко.

Он о многом говорил с прихожанами. По вечерам на улице около дома Лиучи разводили костер и, когда все усаживались вокруг него, Фрэнсис, сидя на пороге, обращался к безмолвному кружку людей, освещенному огнем костра. Больше всего им нравилось слушать о том, как их религия живет в громадном внешнем мире. Их захватывали рассказы о церквях Европы, о громадных соборах, тысячах молящихся, стекающихся в собор святого Петра, о том, как великие короли и принцы, государственные деятели и знатные люди падают ниц перед Владыкой Небес, Тем Самым, Которому они поклоняются здесь, перед их Господином и Другом. Чувство единства, о котором они до сих пор лишь смутно догадывались, переполняло их радостной гордостью.

Видя их внимательные лица с трепещущими на них светом и тенями, глаза, смотрящие на него в счастливом изумлении, Фрэнсис чувствовал рядом с собой отца Рибьеру, видел, что тот чуть улыбается загадочно, отнюдь не сердясь на него. В такие моменты его охватывало сильнейшее желание бросить Байтань и посвятить себя целиком этим простым людям.

Как счастлив мог бы он быть здесь! С какой любовью он берег бы и шлифовал этот драгоценный камень, так неожиданно найденный в пустыне. Но нет. Деревня была слишком мала и слишком отдалена. Ему никогда бы не сделать ее центром настоящей миссионерской работы. И Фрэнсис решительно отстранял от себя это искушение.

Мальчик Та ходил за ним по пятам. Теперь он звал его не Та, а Иосиф — это имя юнец захотел принять при своем крещении. Новое имя придало ему храбрости, и он попросил позволения прислуживать отцу Чисхолму во время мессы. Хотя мальчик, естественно, не знал ни слова по-латыни, священник с улыбкой согласился. Накануне своего отъезда отец Чисхолм сидел на пороге дома, когда появился Иосиф. Он первым пришел на прощальную беседу. Его обычно жизнерадостное лицо застыло в мрачной удрученности.

Вглядываясь в мальчика, священник интуитивно понял его горе, и ему вдруг пришла счастливая мысль.

— Иосиф! Может быть, ты хотел бы поехать со мной, если твой отец позволит? Ты во многом мог бы помочь мне.

Мальчик вскочил с радостным криком, упал на колени перед священником и поцеловал ему руку.

— Господин! Я так ждал, чтобы вы меня об этом спросили. Отец позволяет. Я буду служить вам от всего сердца!

— Нам предстоят трудные пути, Иосиф.

— Я хочу пройти их вместе с вами, господин. Глубоко тронутый и обрадованный, отец Чисхолм поднял юношу на ноги. Он знал, что поступил мудро.

На следующее утро все приготовления к отъезду были завершены. Иосиф, отмытый до блеска и улыбающийся, стоял с тюками около двух лохматых горных пони, которых он поймал на рассвете. Маленькая группа подростков окружала его. Мальчик уже внушал им благоговейный страх, рассказывая о чудесах, которые ждут его в мире. В церкви отец Чисхолм кончал благодарственную молитву. Когда он поднялся на ноги, Лиучи поманил его в ризницу. Из ящика кедрового дерева он вытащил вышитое облачение — великолепную вещь, негнущуюся от золота. В некоторых местах атлас истерся и стал тонким, как бумага, но вся одежда была цела, вполне годна к употреблению и цены ей не было. Увидев выражение лица Фрэнсиса, старик улыбнулся.

— Эта жалкая вещица нравится вам?

— Она прекрасна!

— Берите ее, она ваша.

Никакие возражения не помешали Лиучи поднести этот великолепный дар. Его сложили, завернули в льняное полотно и уложили в тюк Иосифа.

Наконец настало для Фрэнсиса время прощаться. Он благословил их всех, снова и снова обещая вернуться через полгода. В следующий раз это будет легче — он приедет верхом и с ним будет Иосиф в качестве проводника. Затем оба тронулись в путь, их пони, голова в голову, кивая, стали неторопливо взбираться на гору.

Глаза всей маленькой деревни с любовью смотрели им вслед. Отец Чисхолм пустил свою лошадку быстрым аллюром, рядом с ним ехал Иосиф. Фрэнсис чувствовал, что вера его возродилась и укрепилась, а в груди затрепетала новая надежда.

3

После их возвращения в Байтань пришло и ушло лето. Наступило холодное время. С помощью Иосифа он сделал более уютным их хлев, замазав щели свежей грязью и глиной. Теперь две деревянные койки подпирали самую непрочную стену, а на убитом земляном полу стояла плоская железная жаровня, которая служила им очагом. Иосиф, не страдавший плохим аппетитом, уже успел приобрести интересную коллекцию кухонных горшков. Мальчик, став менее ангелоподобным, выиграл от более близкого знакомства: он был страшный болтун, любил, чтобы его хвалили, и мог иногда проявить своеволие: например, он с бездумной легкостью крал спелые канталупы^[42] с придорожной бахчи.

Фрэнсис был все еще полон решимости не покидать своего более чем скромного жилища, пока не уяснит себе, что делать дальше. Постепенно несколько робких душ начали приходить, крадучись, в его часовню на Улице Делателей Сетей. Первой пришла старуха, оборванная и пугливая; она украдкой вытащила четки из-под мешковины, которая заменяла ей пальто, всем своим видом говоря, что, если ей сказать хоть слово, она тут же убежит. У Фрэнсиса хватило выдержки сделать вид, что он ее не замечает. На следующее утро она опять пришла уже вместе со своей дочерью.

Его не обескураживало ничтожно малое число последователей. Решение Фрэнсиса не подкупать новообращенных ни деньгами, ни лестью было твердо, как закаленная сталь.

В амбулатории дела шли, как по маслу. По-видимому, о его отсутствии

в маленькой клинике сожалели. После своего возвращения он нашел неопишное сбирище народа на улице около лавки Ханга. С практикой возросло умение и смелость суждения. К нему приходили с самыми разными недугами: с кожными болезнями, с коликами и кашлем, с энтеритами и страшными нагноениями глаз и ушей. Большинство этих болезней было результатом грязи и тесноты. Просто удивительно, как много можно было сделать с помощью чистоты и нехитрых тонизирующих лекарств. Крупинка марганцовки была на вес золота.

Когда скудные запасы Фрэнсиса грозили совсем истощиться, пришел ответ на его просьбу к доктору Таллоху — большой, забитый гвоздями ящик с корпией, ватой и марлей, йодом, антисептиками и касторкой, с засунутым вниз мятым рецептом, на котором было небрежно написано каракулями:

„Ваше Святейшество! Я думал, что это мне надлежит заниматься врачеванием в тропиках! А где Ваш диплом? Ну, плевать, лечи тех, кого сможешь вылечить и убивай тех, кого не сможешь. Вот маленький мешочек фокусов, которые тебе помогут“.

Это был тщательно упакованный ящичек с ланцетами, пинцетами и ножницами для оказания первой помощи.

Постскриптум гласил: „К твоему сведению я подаю на тебя жалобу в Британскую Ассоциацию Медиков, Папе и Чунлунсу“.

Эта неугомонная шутливость Уилли заставила Фрэнсиса улыбнуться, но в горле у него стоял комок. Теперь, получив поддержку друга и ободряемый присутствием Иосифа, он ощущал новый, волнуемый прилив сил. Никогда в своей жизни Фрэнсис не работал больше и не спал лучше, чем теперь. Но однажды ноябрьской ночью он долго не мог заснуть, а когда это ему, наконец, удалось, сон его был чуток и беспокоен, и после полуночи Фрэнсис вдруг проснулся. В хлеву застыл пронзительный холод, тьма была хоть глаз выколи. В тишине он слышал глубокое и спокойное дыхание Иосифа. С минуту Фрэнсис лежал, пытаясь отогнать смутное беспокойство, но оно не отпускало его. Он осторожно, чтобы не разбудить спящего мальчика, встал и вышел на улицу. Морозная ночь пронзила его, как удар: воздух от холода был остр, как бритва, и каждый вдох причинял режущую боль. Звезд не было, но от замерзшего снега исходила странная светящаяся белизна. Казалось, что безмолвие простирается на сотни миль. Оно вселяло в сердце ужас.

Вдруг ему показалось, что он слышит слабый, прерывистый крик. Он знал, что ошибается, прислушался и ничего больше не услышал. Фрэнсис повернулся, чтобы идти обратно, — и опять повторился звук, похожий на

слабый крик умирающей птицы. Он постоял в нерешительности и затем медленно направился по хрустящему снегу в ту сторону, откуда доносился звук.

Фрэнсис вышел за ограду и сделал шагов пятьдесят по дороге, как вдруг наткнулся на застывшую неподвижную фигуру, это было распростертое тело женщины, она лежала ничком и совершенно окоченела на морозе. Женщина была уже мертва, но в одежде у нее на груди, он увидел едва копошащегося ребенка.

Фрэнсис наклонился и поднял крошечное существо, холодное, как рыба, но мягкое и живое. Сердце Фрэнсиса стучало, как барабан. Он побежал назад к хлеву, скользя и чуть не падая и громко зовя Иосифа.

Когда жаровня в хлеву запылала и распространила вокруг свет и тепло, священник и слуга склонились над младенцем. Это была девочка, которой не было и года. Темными диковатыми глазами, она недоверчиво смотрела на огонь и время от времени начинала хныкать.

— Ребенок голодный, — сказал Иосиф с видом знатока.

Они согрели немного молока и налили его в алтарный пузырек. Отец Чисхолм оторвал полоску чистого полотна и засунул ее, как фитиль, в узкое горлышко. Девочка стала жадно сосать. Через пять минут с молоком было покончено и дитя заснуло. Фрэнсис завернул его в свое одеяло.

Он был глубоко тронут. Его странное предчувствие, та простота, с какой это маленькое создание пришло в их хлев из холодного небытия, казались ему знаком, поданным Богом. На теле матери не было ничего, что могло бы помочь опознать ее, но тонкие черты ее красивого лица, изможденного от нужды и лишений, свидетельствовали о татарском происхождении. Накануне здесь прошла группа кочевников — может быть, она была одной из них и, не вынеся холода, отстала и погибла. Отец Чисхолм стал думать о том, как назвать ребенка. В этот день был праздник святой Анны, да, он назовет ее Анной.

— Завтра, Иосиф, мы найдем женщину, которая будет ходить за этим даром неба.

Иосиф пожал плечами.

— Господин, вы не сможете отдать ребенка женского пола.

— А я и не отдам этого ребенка, — сурово сказал отец Чисхолм.

Он уже твердо и ясно знал свою цель. Это дитя, посланное ему Богом, будет его первым найденышем, да... и основой его детского дома... мечту о нем он лелеял с самого своего приезда в Байтань. Конечно, ему нужна будет помощь... может быть, когда-нибудь сюда приедут сестры-монахини... все это будет в далеком будущем. Но, сидя на земляном полу у

догорающих темно-красных углей и глядя на спящего младенца, Фрэнсис чувствовал, что это был залог с небес, что в конце концов он добьется успеха.

Первым о болезни сына господина Чиа сказал Чисхолму Иосиф, этот непревзойденный сплетник. Холода упорствовали, горы Гуан все еще были покрыты глубоким снегом. После мессы Иосиф, как всегда веселый, дул на замерзшие пальцы и болтал без умолку, помогая священнику снимать облачение.

— Ф-Ф-Ф... моя рука так же не действует, как рука маленького Чиаю. Чиаю оцарапал неизвестно обо что большой палец на руке. От этого пришли в беспорядок его пять элементов, низменные склонности получили власть и хлынули все в одну руку. Теперь эта рука раздулась, а тело горит, как в огне, и тает. Три самых лучших врача в городе лечат его и дают ему самые дорогие лекарства. А теперь послали гонца в Сэньсян за эликсиром жизни — очень дорогим экстрактом из глаз жабы, который можно получить только в год Дракона. — Но он выздоровеет, — заключил Иосиф, скаля белые зубы в оптимистической улыбке, — этот hao kao всегда помогает... а это ведь очень важно для господина Чиа, ведь Ю — его единственный сын.

Спустя четыре дня, в то же самое время, около часовни на Улице Делателей Сетей остановилось двое закрытых носилок, одни из них были пусты. Мгновение спустя высокая фигура двоюродного брата господина Пао, облаченная в подбитую ватой тунику, с важным видом стояла перед отцом Чисхолмом. Он просит прощения за свое неподобающее вторжение. Он просит священника отправиться вместе с ним в дом господина Чиа.

Фрэнсис колебался, ошеломленный значением этого приглашения. Между чрезвычайно влиятельными в городе семьями Пао и Чиа существовала тесная деловая и родственная связь. После своего возвращения из деревни Лиу он нередко встречал худого, отчужденного, любезного и циничного родственника господина Пао, бывшего к тому же старшим двоюродным братом господина Чиа.

У Фрэнсиса были некоторые основания думать, что высокий мандарин расположен к нему. Но это внезапное приглашение, которым он, видимо, был обязан ему, было уже совсем другое дело. Молча повернувшись, чтобы взять пальто и шляпу, Фрэнсис почувствовал, что его охватил внезапный глубокий страх.

В доме господина Чиа было очень тихо, решетчатые веранды пусты, пруд для рыбок покрыт хрупкой коркой льда. Их мягко звучащие на мощенных пустынных дворах шаги казались исполнены какой-то значимости. По сторонам красно-золотых ворот стояли в ленивой позе, как

спящие гиганты, два жасминовых дерева, закутанные в мешковину. С женской половины через террасы доносились приглушенные рыдания.

В комнате больного стоял полумрак. Чиаю лежал на нагретом kang, три бородатых врача в длинных широких мантиях, сидевшие на свежих камышовых циновках, наблюдали за ним. Время от времени один из врачей наклонялся и клал кусок угля под похожий на ящик kang. В углу комнаты даоистский священник в серо-голубой мантии бормотал заклинания под аккомпанемент флейт, скрытых бамбуковой перегородкой.

Ю раньше был хорошеньким шестилетним ребенком, с нежной кремовой кожей и черными глазенками-терновинками. Он воспитывался в строжайших традициях уважения к родителям, которые, в свою очередь, боготворили его, но не избаловали мальчика. Теперь сжигаемый безжалостной лихорадкой и ужасной болью, совершенно неизвестной ему до сих пор, он лежал, вытянувшись на спине, настолько исхудалый, что кости просвечивали сквозь кожу, пересохшие губы кривились, глаза неподвижно смотрели в потолок. Его правая рука, синевато- багровая, распухла до неузнаваемости и была обернута ужасным пластырем из грязи, в которую были подмешаны мелкие клочки печатной бумаги.

Когда двоюродный брат господина Пао вошел с отцом Чисхолмом, настала кратковременная тишина, затем священник-даоист возобновил свое бормотанье, а три врача, застывшие в неподвижности, как статуи Будды, продолжали свое дежурство около kang.

Склонившись над ребенком, который был без сознания, отец Чисхолм положил руку на его пылающий лоб: он прекрасно понимал, как дорого ему может обойтись его напускная невозмутимость и самообладание. Все его теперешние неприятности покажутся ему пустяками по сравнению с тем гонением, которое ждет его, если его вмешательство окажется бесполезным.

Но вид безнадежно больного мальчика и пагубность того, что выдавалось за лечение, подстегивали его и не позволяли устраниваться. Быстро и осторожно Фрэнсис начал снимать с зараженной руки hao kao — отвратительную повязку, с которой ему так часто приходилось сталкиваться в своей маленькой амбулатории. Наконец он освободил руку и обмыл ее теплой водой. Она вздулась, как пузырь, наполненный гноем. Лоснящаяся кожа на руке была жуткого зеленоватого цвета. Сердце Фрэнсиса глухо стучало в груди, но он, не останавливаясь, упорно продолжал свое дело. Фрэнсис достал из кармана маленький кожаный футляр, подаренный ему Уилли, и вынул из него ланцет. Он-то хорошо знал свою неопытность, но он знал также, что, если не вскрыть нарыва на руке ребенка, уже

умирающего, тот умрет. Отец Чисхолм кожей чувствовал каждый наблюдающий взгляд и все возрастающее сомнение и сильное беспокойство родственника господина Пао, который неподвижно стоял позади него. Воззвав мысленно к святому Андрею, Фрэнсис заставил себя сделать глубокий и длинный надрез. Вспучившийся поток гноя хлынул в подставленную глиняную миску. Он булькал и вздувался, распространяя ужасающее зловоние.

Отец Чисхолм с благодарностью вдыхал эту вонь, никогда никакой запах не казался ему более приятным. Он нажал обеими руками на края раны и увидел, что рука опала и стала вдвое меньше. Его охватило чувство громадного облегчения, сменившееся слабостью.

Когда, наконец, перевязав рану чистым полотенцем, Фрэнсис распрямился, то услышал свое собственное глупое бормотанье: „Я думаю, что теперь, если ему повезет, он выкарабкается“. Это была знаменитая поговорка старого доктора Таллоха. Фрэнсис понял, как сильно были напряжены его нервы, однако, уходя, он старался сохранить видимость бодрой беззаботности и заявил родственнику господина Пао, в полном молчании провожавшему его до носилок: „Когда он проснется, дайте ему питательного супу, и больше никаких хао као. Я приду завтра“.

На следующий день маленькому Ю стало гораздо лучше. Жар почти прошел, он спокойно спал и выпил несколько чашек куриного бульона. А ведь, если бы не чудо, сотворенное сверкающим ланцетом, мальчик почти наверняка был бы уже мертв.

— Продолжайте кормить его. Я приду завтра, — сказал отец Чисхолм уходя и улыбнулся от души.

— Благодарю Вас, — двоюродный брат господина Пао прочистил горло. — В этом нет больше необходимости.

Настало неловкое молчание, потом мандарин продолжал:

— Мы глубоко признательны Вам. Господин Чиа был совершенно убит горем, но теперь его сын поправляется и он тоже и скоро уже сможет показаться на людях.

Китаец поклонился, держа руки в рукавах, и ушел.

Отец Чисхолм, сердито отказавшись от носилок и крупно зашагал по улице. Он старался побороть негодование и горечь. Так вот какова их благодарность! Он спас жизнь ребенка, рискуя, может быть, собственной головой, а его, не сказав ни слова, выставили вон... От начала и до конца он даже не видел этого гнусного господина Чиа, который и на джонке в день приезда не удостоил его взглядом. Фрэнсис стиснул кулаки, борясь со своим духом-искусителем, столь хорошо ему знакомым. „О, Господи, дай

мне спокойствие! Не дай этому проклятому греху гнева овладеть мной. Помогите мне быть кротким сердцем и терпеливым. Даруй мне смирение, милый Господи! В конце концов, ведь это Твоя милосердная доброта и Твое божественное Провидение спасли мальчугана. Делай со мной, что хочешь, Господи, Ты же видишь, я уже примирился. Но, о Господи, с внезапной страстностью, прошептал он, — Ты же не можешь не согласиться, что это все-таки ужасная неблагодарность!“

Несколько следующих дней Фрэнсис старательно избегал той части города, где жил купец. Страдала не только его гордость. Он молча слушал болтовню Иосифа об удивительном выздоровлении маленького Ю, о том, с какой щедростью наградила господин Чиа мудрых врачей и какие дары принес храму Лаоцзы за изгнание демона, мучившего его любимого сына.

— Разве это не замечательно, дорогой отец, как много добра принесла благородная щедрость мандарина?

— Это поистине замечательно, — сухо ответил отец Чисхолм, морщась как от боли.

Спустя неделю, после томительного и бесполезного дня, проведенного в амбулатории, Фрэнсис уже собирался закрывать ее, как вдруг увидел через бутылку с марганцовкой, которую он разводил, осторожно появившегося господина Чиа.

Фрэнсис сердито вскочил, но ничего не сказал. Купец нарядился в свои лучшие одежды: на нем был роскошный черный атласный халат с желтой курткой, вышитые бархатные башмаки (в один был засунут церемониальный веер), красивая плоская атласная шапка. Выражение лица господина Чиа было официально и полно достоинства. На слишком длинные ногти были надеты футлярчики из золотистого металла. Весь его облик был воплощением культурности и интеллигентности, а манеры были безупречны. На челе мандарина лежала мягкая просвещенная меланхолия.

— Я пришел, — сказал он.

— В самом деле!? — тон Фрэнсиса не поощрял к продолжению разговора. Он продолжал взбалтывать розовато-лиловый раствор.

— Мне многим нужно было заняться и уладить целый ряд неотложных дел. Но теперь, — господин Чиа отвесил смиренный поклон, — я здесь.

— Зачем? — отрывисто спросил Фрэнсис.

Лицо господина Чиа выразило легкое удивление.

— Ну, само собой... чтобы стать христианином.

На минуту наступило молчание. Эта минута должна была бы стать завершением, кульминацией всех тяжелых скудных месяцев, первой волнующей победой в его миссионерской деятельности: вот он, глава

здешних дикарей, склонивший голову, чтобы принять крещение. Но лицо отца Чисхолма не выражало никакого восторга. Он с раздражением пожевал губами, а потом медленно произнес:

— Вы верите?

— Нет, — был печальный ответ.

— Готовы ли вы изучать нашу веру?

— У меня нет времени на изучение, — смиренно поклонился господин Чиа. — Я только горячо желаю стать христианином.

— Горячо желаете? Вы это хотите сказать? Господин Чиа бледно улыбнулся.

— Разве это не очевидно — мое желание исповедовать вашу веру?

— Нет, это не очевидно, И у вас нет ни малейшего желания исповедовать мою веру. Зачем вы делаете это? — священник даже покраснел.

— Чтобы отплатить вам, — сказал господин Чиа просто. — Вы сделали мне величайшее добро. Я должен сделать величайшее добро вам.

Отец Чисхолм раздраженно встал. Он взорвался — слишком заманчиво было искушение, слишком хотелось поддаться ему.

— Это не добро. Это зло. У вас нет ни желания, ни веры. Если бы я вас принял, я совершил бы подлог перед Богом. Вы ничего не должны мне. А теперь, пожалуйста, уйдите.

Сначала господин Чиа не поверил своим ушам.

— Вы хотите сказать, что отвергаете меня?

— Да, вежливо выражаясь, это именно так, — рыкнул отец Чисхолм.

Перемена, происшедшая с купцом, была поразительна: на лице его отразилась небесная радость, глаза заблестели, меланхолия спала, как пелена. Мандарин с трудом сдерживался; но хотя видно было, что ему хотелось бы подпрыгнуть от радости, он все-таки овладел собой, трижды чопорно низко поклонился и, придав своему голосу приличествующую случаю интонацию, сказал:

— Я очень сожалею, что не могу быть принят. Я, конечно, в высшей степени недостоин. Тем не менее, может быть, хоть чем-нибудь... — он замолчал, снова сделал три низких поклона и, пятась задом, удалился.

В этот вечер, когда отец Чисхолм сидел у жаровни, лицо его было так сурово, что Иосиф, готовивший речных моллюсков-мидий с рисом, с робостью посматривал на него. Вдруг на улице раздались звуки хлопушек. Их взрывали шесть слуг господина Чиа. Затем появился двоюродный брат господина Пао, поклонился и протянул отцу Чисхолму пергамент, завернутый в ярко-красную бумагу.

— Господин Чиа просит вас оказать ему честь и принять этот весьма недостойный дар — это документы на владение участком Блестящего Зеленого Нефрита со всеми правами на пользование землей, водой и выработками красной глины. Это — ваша собственность навсегда и без всяких ограничений. Кроме того, господин Чиа просит вас принять в помощь двадцать его рабочих, чтобы они воздвигли для вас любые строения, которые вам будет угодно построить на этом участке.

Фрэнсис был так ошеломлен, что не мог произнести ни слова. Он смотрел на удаляющуюся фигуру двоюродного брата господина Пао (он же двоюродный брат господина Чиа), напряженно застыв в каком-то странном оцепенении. Потом он начал пристально изучать документы и радостно закричал:

— Иосиф! Иосиф!

Иосиф прибежал стремглав, в страхе, что на них свалилось какое-то новое несчастье. Но выражение лица господина успокоило его. Они вместе пошли на Холм Блестящего Зеленого Нефрита и там, под лунным светом среди высоких кедров, громко запели.

Фрэнсис долго стоял с непокрытой головой, и ему уже виделось, что он создаст на этом прекрасном куске земли. Он молился и верил, и его молитва была услышана.

Иосиф, которого резкий ветер заставил продрогнуть и проголодаться, безропотно ждал, глядя на восхищенное лицо священника и радуясь, что он сообразил снять горшок риса с огня.

4

Прошло полтора года. Был май, и вся провинция Чжэкоу лежала, греясь на солнце и наслаждаясь короткой чудесной порой между зимними снегами и летним зноем. Отец Чисхолм пересек мощный двор своей новой миссии святого Андрея.

Может быть, еще никогда в жизни не переполняло его чувство такого спокойного удовлетворения. Кристально чистый воздух, в котором кружила стая белых голубей, был душист и пьянил, как вино. Фрэнсис подошел к огромной индийской смоковнице, которая осенила по его замыслу внешний двор миссии, и бросил взгляд через плечо, отчасти движимый гордостью, отчасти все еще изумляясь и словно боясь, что все это мираж, и он может скоро исчезнуть.

Но все было на месте, все сияло новизной и великолепием: стройная церковь среди кедров, которые охраняли ее, как часовые, его дом, с ярко-красными решетками, рядом с ним небольшая классная комната и уютная амбулатория с входом через внешнюю стену и прочие жилые помещения, — все утопало в листве недавно насаженного сада.

Отец Чисхолм вздохнул, улыбаясь, и благословил свой глиняный карьер, из которого удалось получить после многочисленных попыток и опытных обжигов, кирпичи красивого бледно-розового цвета, сделавшие его миссию симфонией в красно-розовых тонах. Он благословлял и все чудеса, что следовали одно за другим: неистощимую доброту господина Чиа, терпеливое искусство своих рабочих, почти безупречную неподкупность и стойкость десятника, даже прекрасную погоду, которая недавно установилась и сыграла немалую роль в замечательном успехе торжественного открытия миссии, оно состоялось на прошлой неделе, и семейства Чиа и Пао почтили его своим присутствием.

Только для того, чтобы взглянуть лишний раз на пустой класс, он сделал большой крюк. Словно мальчишка-школьник, Фрэнсис разглядывал через открытое окно новые яркие литографии на побеленной стене, блестящие скамейки и классную доску, их он сделал сам. Ему согревало сердце сознание, что его руками созданы все вещи в этой исключительной комнате. Потом, вспомнив о деле, которое ему нужно было закончить, он направился в конец сада к нижней калитке, где рядом с его личной мастерской была небольшая печь для обжига и сушки кирпича.

Отец Чисхолм с удовольствием сбросил старую сутану и остался в затрапезных грубых бумажных брюках и подтяжках, засучил рукава, взял деревянную лопату и принялся замешивать глину.

Завтра приедут три сестры^[43]. Их дом уже готов, прохладный, с занавесками на окнах, приятно пахнувший воском. Но главный предмет его гордости — уединенная лоджия, где они могли бы отдыхать и размышлять, была еще не совсем закончена и нужна была, по крайней мере, еще партия кирпичей из его собственной специальной печи. Формуя глину, он мысленно рисовал будущее.

Приезд этих монахинь имел чрезвычайно большое значение для миссии. Отец Чисхолм предвидел это с самого начала, он работал для этого и молился об этом, он слал письмо за письмом отцу Мили и даже епископу, пока миссия медленно создавалась у него на глазах. Отец Чисхолм отлично сознавал, что обращение взрослых китайцев — это труд, который под силу разве архангелам. Расовые особенности, безграмотность, приверженность к старой вере — все эти грозные барьеры нелегко преодолеть честным

путем, но ведь всякий знает, что Всевышний не склонен творить чудеса в каждом отдельном случае. Правда теперь, когда он получил свою прекрасную новую церковь, все увеличивалось число отваживавшихся приходить на мессу. У него уже было около шестидесяти прихожан, и когда они благочестиво распевали Кугіе^[44], хор звучал очень внушительно.

И все-таки его взор был с надеждой устремлен на детей. Здесь в буквальном смысле слова дети ценились по копейке за пару. Голод, гнетущая бедность и конфуцианские взгляды на превосходство мужчин заставляли смотреть на девочек, как на никому не нужную обузу. Так что он мог бы моментально заполнить свой класс детьми. Сестры будут кормить их и заботиться о них, дети будут катать здесь свои обручи, они заполнят миссию своим веселым смехом, здесь они будут обучаться грамоте и катехизису. Будущее принадлежало детям, а дети... его дети... они будут принадлежать Богу!

Отец Чисхолм застенчиво улыбнулся своим мыслям, засовывая формы в печь. Нельзя было сказать, что он дамский угодник. Однако за все эти долгие месяцы, проведенные среди чужестранцев, он так изголодался без ободряющего общения с людьми своего уровня. Мать Мария-Вероника, хотя и баварка по рождению, провела последние пять лет в Лондоне в общине Bon Secours. А две другие, которых она везла с собой, — французская сестра Клотильда и сестра Марта, бельгийка, — получили тот же опыт в Ливерпуле. Они едут сюда прямо из Англии и привезут ему оттуда хоть дружеское дуновение родного воздуха.

Несколько озабоченно он припомнил все приготовления к завтрашнему дню (они стоили ему немалых трудов!): несколько фейерверков в лучшем китайском стиле (но так, чтобы не испугать дам) на речной пристани, где их будут ожидать самые хорошие в Байтане носилки. Как только они прибудут в миссию, будет подан чай. Потом короткий отдых и благословение — он надеется, что им понравятся цветы, — а затем торжественный ужин. Отец Чисхолм чуть не засмеялся от удовольствия, мысленно повторяя меню этого ужина. Ну... им, бедняжкам, достаточно скоро придется сесть на галеты. Сам он ел невероятно мало. Пока строилась миссия, Фрэнсис существовал на рисе и соевом твороге, которые рассеянно поглощал, стоя на подмостках или листая план с десятником господина Чиа. Но теперь он послал Иосифа рыскать по городу в поисках манговых плодов, варенья из апельсиновых корок с имбирем и — редчайшего деликатеса — дрофы из Шаньси на севере.

Вдруг его размышления нарушил звук шагов. Он поднял голову. Повернувшись, отец Чисхолм увидел, что кто-то распахнул калитку.

Оборванный прибрежный кули делал кому-то знаки войти. За ним появились три монахини. Одежда их была грязна и измята после путешествия, в неуверенных взглядах сквозила смутная тревога. Они поколебались, потом утомленно поплелись по садовой дорожке. Той, которая шла впереди, было лет сорок, она была красива и держалась с достоинством. У нее были породистые тонкие черты лица и широко раскрытые строгие голубые глаза. Бледная от усталости, но побуждаемая каким-то внутренним жаром, она ускорила шаг. Едва взглянув на Фрэнсиса, она обратилась к нему на хорошем китайском языке:

— Пожалуйста, отец, проведите нас немедленно в миссию.

Страшно обескураженный их жалким видом, он ответил по-китайски:

— Но вас ждали только завтра.

— Так что же, прикажете нам снова вернуться на этот ужасный корабль? — она содрогнулась от охватившего ее возмущения. — Проведите нас сейчас же к настоятелю.

Он медленно сказал по-английски:

— Я — отец Чисхолм.

Ее глаза, изучавшие постройки миссии, с недоверием обратились к его невзрачной фигуре и засученным рукавам. С все возрастающим испугом она смотрела на его рабочую одежду, грязные руки и заляпанные ботинки, на мазок глины у него на щеке. Он неловко пробормотал:

— Я очень сожалею... Я страшно расстроен тем, что вас не встретили...

На мгновение чувство обиды взяло верх над ней.

— Вообще-то, проехав шесть тысяч миль, как-то ждешь, что тебе окажут немного более радушный прием.

— Но, видите ли... в письме было сказано совершенно определенно...

Она резко оборвала его жестом.

— Может быть, вы покажете нам наше помещение?! Сестры, — гордо отрицая свое собственное изнеможение, сказала она, — совершенно выбились из сил.

Ему хотелось объясниться с ней до конца, но вид двух других монахинь, испуганно смотревших на него во все глаза, заставил его остановиться. В гнетущем молчании он довел их до дома. Тут Фрэнсис остановился.

— Я надеюсь, что вам будет удобно. Сейчас я пошлю за вашим багажом. Может быть... может быть, вы не откажетесь пообедать со мной сегодня?

— Благодарю вас, это невозможно, — тон ее был холоден, глаза,

полные слез уязвленной гордости, снова остановились на его неприличном одеянии. — Но если вы сможете уделить нам немного фруктов и молока... то завтра мы сможем приступить к работе.

Подавленный и униженный, отец Чисхолм вернулся в дом, выкупался и переоделся, затем нашел среди своих бумаг и тщательно изучил письмо из Тяньцзиня. В нем явственно обозначена была дата: 19-е мая, то есть завтра, как он и сказал. Фрэнсис разорвал письмо на мелкие клочки. Подумал о той дрофе... прекрасной дурацкой дрофе... и вспыхнул. Внизу он столкнулся с Иосифом, который возвратился с базара, таща полные сумки покупок и в преотличнейшем настроении.

— Иосиф! Отнеси фрукты, что ты купил, в дом сестер, а все остальное раздай бедным.

— Но господин... — ошеломленным тоном приказания и выражением лица священника, Иосиф проглотил свои возражения. — Да, господин.

Фрэнсис направился к церкви, сжав губы, словно стараясь скрыть неожиданную боль.

На следующее утро, сестры-монахини присутствовали на мессе. Он бессознательно ускорил конец службы, надеясь, что мать Мария-Вероника подождет его на дворе, но ее там не было. Не пришла она за инструкциями и к нему домой. Часом позже Фрэнсис нашел ее в классе, сестра Мария-Вероника что-то писала.

— Садитесь, пожалуйста, преподобная мать.

— Благодарю вас, — она отвечала приветливо, но продолжала стоять с пером в руке, как бы давая понять, что разговор не может быть длительным; на письменном столе перед ней лежала почтовая бумага. — А я ожидала тут своих учеников.

— Сегодня днем у вас их будет двадцать человек, — он старался говорить любезно и непринужденно. — Они, кажется, довольно смышленные малыши.

Монахиня улыбнулась:

— Мы сделаем для них все, что в наших силах.

— Потом у нас еще есть амбулатория. Я надеюсь, что вы поможете мне там. Я очень мало смыслю в медицине, но просто поразительно, как много можно сделать здесь даже малыми средствами.

— Если вы скажете мне, когда у вас приемные часы, я приду туда.

Они немного помолчали. За ее вежливым спокойствием Фрэнсис глубоко чувствовал ее замкнутость. Его опущенные глаза вдруг остановились на небольшой фотографии в рамке, которую она уже поставила на письменном столе.

— Какой прекрасный вид! — он говорил наудачу, пытаясь разрушить невидимый барьер между ними.

— Да, действительно прекрасный, — ее строгие глаза тоже обратились к фотографии красивого старого дома — белый замок выделялся на темной стене горных сосен, его окружала терраса и сады, сбегавшие вниз к озеру. — Это замок Анхайм.

— Я слышал это название раньше. Это, наверное, историческое место. Это близко от вашего дома?

Сестра-монахиня впервые взглянула ему прямо в глаза. Ее лицо ничего не выражало.

— Да, совсем близко, — ответила она.

Ее тон совершенно исключал возможность продолжать разговор. Она, по-видимому, ждала, что Фрэнсис что-нибудь скажет, но он молчал. Тогда мать Мария-Вероника поспешила заверить его:

— Сестры и я... мы самым искренним образом хотим работать для миссии. Вам стоит только высказать свои пожелания, и они будут исполнены. В то же время... — в голосе её зазвучал холодок, — я надеюсь, что вы предоставите нам некоторую свободу действий.

Отец Чисхолм посмотрел на нее.

— Что вы имеете в виду?

— Вы ведь знаете, что наш орден в какой-то степени созерцательный. Мы хотели бы как можно больше времени проводить одни, — она смотрела прямо перед собой. — Мы хотели бы питаться у себя... и вообще вести свое отдельное хозяйство.

Он вспыхнул.

— Я и не мыслил себе иначе. Ваш маленький дом — ваш монастырь.

— Значит вы разрешаете мне самой управлять им? Смысл сказанных ею слов был совершенно ясен, и они

тяжестью легли ему на сердце. Неожиданно Фрэнсис немного грустно улыбнулся.

— Да, конечно. Только будьте поаккуратнее с деньгами. Мы очень бедны.

— Мой орден взял на себя заботу о нашем содержании. Он не мог удержаться от вопроса:

— Разве ваш орден не придерживается обета бедности?

— Да, — быстро парировала она, — но не скупости. Наступило молчание. Они продолжали стоять бок о бок.

Мать Мария-Вероника резко оборвала разговор, словно задохнувшись, пальцы её крепко сжимали ручку. Его лицо пылало, он не мог заставить

себя взглянуть на нее.

— Я пришлою Иосифа с расписанием приемных часов в амбулатории... и о расписании служб в церкви. Доброго утра, сестра.

Когда Фрэнсис ушел, она села, все еще смотря перед собой с гордо-непроницаемым видом. Потом одна единственная слезинка скатилась у нее по щеке. Ее худшие предчувствия сбылись. Она порывисто окунула перо в чернильницу и снова взялась за свое письмо.

„... Все произошло так, как я и боялась, мой милый, милый брат, и я согрешила в моей ужасной... моей неискоренимой гогенлоэвской гордыне. Но кто осудит меня? Он только что был здесь, отмытый от глины и более или менее побритый — на его подбородке остались порезы от бритвы — вооружившийся тупой авторитетностью. Я сразу же еще вчера увидела, что это мелкий буржуа. Но сегодня утром он превзошел самого себя. Известно ли Вам, дорогой граф, что Анхайм — историческое место? Я чуть не расхохоталась, когда он шарил глазами по фотографии. Ты помнишь ту фотографию, которую мы сняли с лодки, когда катались с мамой по озеру? Я ее всюду вожу с собой, это мое единственное земное сокровище. То, что он сказал, было равносильно тому, как если бы он спросил: „Вы видели этот замок, когда совершали туристический маршрут Кука?“ Мне хотелось сказать ему. „Я родилась там!“ Но гордость удержала меня. Ведь не удержишь я, он, наверное, не отрывая глаз от своих плохо почищенных ботинок, пробормотал бы: "О, в самом деле! А вот Господь наш родился в хлеву!“

Понимаешь, что-то в нем сразу тебя поражает. Помнишь господина Шпиннера, нашего первого учителя? Мы еще так мучили его... Помнишь, как он вдруг взглянет с такой обидой, строго и вместе с тем смиренно? Так вот у него такие же глаза. Может быть, его отец тоже был дровосеком, как у господина Шпиннера, и ему пришлось выбиваться в люди без всяких надежд, одним упорным смирением. Но, милый Эрнест, больше всего я боюсь будущего. Я так боюсь опуститься, поддаться и допустить какую-то духовную близость с человеком, которого инстинктивно презираю. Это опасность усугубляется тем, что здесь все такое чужое и чувствуешь себя изолированной от всего света. А эта его отвратительная фамильярная бодность! Я должна намекнуть Марте и Клотильде — этот бедный ребенок ужасно страдал всю дорогу от самого Ливерпуля — чтобы они держались от него подальше. Я решила быть с ним любезной и работать до изнеможения. Но только полная отчужденность, только абсолютная замкнутость..."

Мария-Вероника бросила писать и снова принялась смотреть в окно,

одинокая, исполненная беспокойства.

Скоро отец Чисхолм заметил, что обе младшие сестры всеми силами стараются избегать его. Клотильде не было еще тридцати. Это была плоскогрудая и хрупкая, с бескровными губами и нервной улыбкой девушка. Она была очень набожна и когда молилась, склонив голову набок, слезы ручьем лились из ее светло-зеленых глаз. Марта была совершенно другая: ей было уже за сорок, она была коренастая и сильная, крестьянского склада, с сеткой морщинок вокруг глаз. Суетливая и искренняя, немного грубоватая, Марта казалась воплощением фламандского типа, а самым подходящим местом для нее была, по-видимому, кухня или ферма.

Когда Фрэнсис случайно встречался с ними в саду, бельгийская сестра быстро делала книксен, а болезненно бледное лицо Клотильды вспыхивало, и, нервно улыбнувшись, она спешила дальше. Он знал, что они перешептываются о нем. Ему очень хотелось остановить их и сказать им: "Не бойтесь меня. Мы очень глупо начали, но право же, я гораздо лучше, чем кажусь".

Но он удерживался. У него не было никаких причин для недовольства. Свою работу они выполняли очень добросовестно, с тщательностью, доходящей до совершенства. В ризнице появилось восхитительно вышитое новое покрывало для алтаря и вышитая стола для него, на них было потрачено немало дней терпеливого труда. Бинты всех размеров, аккуратно нарезанные и скатанные, заполняли шкаф в перевязочной.

Дети прибыли и были удобно устроены в большой спальне на нижнем этаже дома, где жили сестры. Теперь классная комната звенела их тоненькими голосками, без конца повторявшими нараспев уроки. Отец Чисхолм часто стоял под окном (за кустами его не было видно) с раскрытым молитвенником в руке и слушал.

Для него так много значила эта маленькая школа, он с таким радостным нетерпением ждал ее открытия. Теперь же Фрэнсис редко заходил в нее, а если заходил, то всегда чувствовал себя нежеланным гостем. Он замкнулся в себе и угрюмо пытался доказать себе, что создавшееся положение естественно и его можно объяснить. Все было очень просто. Мать Мария-Вероника — хорошая женщина, возвышенная, утонченная, преданная своей работе. Но с самого начала она питает к нему вполне понятную антипатию. В конце концов, он вовсе не располагающий к себе человек, он был прав, считая, что не умеет быть приятным с дамами. И все-таки Фрэнсис испытывал горькое разочарование.

Работа в амбулатории сводила их вместе три раза в неделю на четыре

часа подряд, Мария-Вероника работала рядом с ним. Он видел, что работа часто настолько интересовала ее, что она забывала о своем отвращении к нему. И хотя они мало говорили, но в такие дни ему казалось, что между ними возникает нечто похожее на чувство товарищества.

Однажды, спустя месяц после их приезда, когда Фрэнсис кончал трудную перевязку, она невольно воскликнула:

— А из вас вышел бы хирург.

Он вспыхнул:

— Я всегда любил работать руками.

— Это потому, что у вас умные руки.

Эта похвала была ему до смешного приятна. Мария-Вероника говорила дружелюбнее, чем когда-либо раньше. Когда прием подходил к концу и Фрэнсис убирал свои немудреные лекарства, она посмотрела на него испытующе.

— Я собиралась попросить вас... видите ли, сестра Клотильда последнее время слишком много работает, готовя с Мартой на детей. Она слабенькая, и я боюсь, что это ей не под силу. Если вы не возражаете, я хотела бы взять кого-нибудь ей в помощь.

— Ну, конечно же, — сразу согласился он, счастливый тем, что она попросила у него разрешения. — Найти вам служанку?

— Нет, спасибо. Я уже присмотрела хорошую пару.

На следующее утро, идя через двор, Фрэнсис увидел на балконе у монахинь легко узнаваемые фигуры Осанны и Филомены Ванг, они чистили и проветривали циновки. Отец Чисхолм круто остановился, лицо его омрачилось, потом он зашагал к дому сестер. Он нашел Марию-Веронику в белье, она считала и проверяла простыни.

Фрэнсис быстро заговорил: — Простите, пожалуйста, если помешал вам. Но эти... эти новые слуги... я боюсь, что они вам не подойдут.

Она медленно повернулась к нему, на лице ее вдруг появилось выражение досады.

— Наверно, я сама могу лучше судить об этом?

— Мне не хотелось бы, чтобы вы сочли, что я вмешиваюсь не в свое дело, но я обязан предупредить вас — они совсем не заслуживают доверия.

Ее губы скривились:

— Так вот каково ваше христианское милосердие!

Он побледнел. Эта женщина ставила его в ужасное положение, тем не менее, Фрэнсис с решимостью продолжал:

— Я обязан быть практичным. Я думаю о миссии. И о вас.

— Обо мне, пожалуйста, не беспокойтесь, — сказала она с ледяной

улыбкой. — Я вполне могу сама о себе позаботиться.

— А я вам говорю, что эти Ванги в самом деле дрянные людишки.

Мария-Вероника ответила нарочито подчеркнуто:

— Я знаю, что им несладко пришлось. Они рассказали мне.

Он вспыхнул:

— Я настоятельно рекомендую вам избавиться от них.

— Я не собираюсь от них избавляться! — ее голос стал холоден, как сталь.

Она всегда подозревала, а теперь поняла его окончательно. Только потому, что вчера в амбулатории она стала на какую-то минуту мягче, он теперь бросился вмешиваться во все и показывать свою власть, воспользовавшись таким пустяковым предлогом. Никогда, никогда больше она не сделает ему никаких послаблений.

— Вы сами согласились, что я не отчитываюсь перед вами за управление моим домом. Я вынуждена просить вас не нарушать вашего слова.

Фрэнсис молчал. Он ничего больше не мог сделать, ничего больше не мог сказать. Он хотел помочь ей, но сделал грубую ошибку. Уходя, он знал, что их отношения, которые, как ему казалось, улучшаются, теперь стали хуже, чем раньше.

Создавшееся положение начало серьезно тяготить отца Чисхолма. Ему трудно было сохранять невозмутимое выражение лица, когда Ванги много раз на дню проходили мимо него с видом сдерживаемого торжества. Однажды утром в конце июля Иосиф принес ему завтрак — чай и фрукты. У юноши распухли суставы пальцев, а вид был довольно глупый — полуторжествующий, полуйсуганный.

— Господин, простите меня. Я вынужден был поколотить этого мошенника Ванга.

Отец Чисхолм резко приподнялся и сурово посмотрел на него.

— Почему, Иосиф?

Иосиф опустил голову.

— Он говорит о нас много злых слов. Что преподобная мать — большая леди, а мы — просто прах.

— Мы все прах, Иосиф, — священник чуть улыбнулся.

— Он говорит еще хуже, чем это.

— Мы можем перенести злые слова.

— Это не только слова, господин. Он стал до невозможности нахален и все время бесстыдно вымогает у сестер деньги и наживается на их хозяйстве.

Это было совершенно верно. Из-за его неприятия Вангов преподобная мать была особенно снисходительна к ним. Осанна был теперь мажордомом в доме сестер, а Филомена ежедневно с корзиной в руке оправлялась за покупками с таким видом, словно все вокруг принадлежало ей. В конце каждого месяца, когда Марта оплачивала счета пачкой банкнот, которую ей давала преподобная мать, эта прелестная чета отправлялась в город в своих лучших одеждах, чтобы собирать там умопомрачительные комиссионные с купцов. Это был неприкрытый грабеж, непереносимый для шотландской бережливости Фрэнсиса.

Глядя на Иосифа, он мрачно сказал:

— Я надеюсь, ты не очень сильно избил Ванга?

— Увы, учитель, я боюсь, что здорово поколотил его.

— Я очень сердит на тебя, Иосиф. В наказание ты будешь завтра отдыхать и получишь тот новый костюм, который давно просишь.

В этот день в амбулатории Мария-Вероника нарушила свой зарок молчания. Прежде чем впустить пациентов, она сказала Фрэнсису:

— Итак, вы решили снова сделать своей жертвой бедного Ванга?

Он резко ответил:

— Напротив, это он делает жертву из вас.

— Я не понимаю.

— Он грабит вас. Этот человек — прирожденный вор, а вы поощряете его.

Она закусила губу:

— Я не верю вам. Я привыкла доверять своим слугам.

— Очень хорошо. Посмотрим, что будет дальше, — и он спокойно прекратил разговор.

Еще несколько недель напряжения проложили более глубокие морщины на его замкнутом лице. Ужасно было жить в тесном общении с человеком, питающим к тебе отвращение и презирающим тебя, и при этом быть ответственным за духовное благополучие этого человека. Исповеди Марии-Вероники, совершенно бессодержательные, были для него пыткой. Фрэнсис полагал, что и для нее они были не менее мучительны. Каждый день в тишине бледного рассвета он вкладывал ей в губы священную облатку. Ее тонкие длинные пальцы поддерживали кусок полотна, а бледное, поднятое кверху лицо, с вздрагивающими веками, испещренными жилками, казалось, было полно презрения к нему. Он начал плохо спать и бродить ночами по саду. Пока что их разногласия ограничивались сферой ее полномочий. Сдержанный, более чем когда-либо молчаливый, отец Чисхолм ждал наступления момента, когда он вынужден будет навязать ей

свою волю.

Эта необходимость возникла осенью. Все произошло просто вследствие ее неопытности, но он не мог оставить это без внимания. Вздохнув, он направился к дому сестер.

— Преподобная мать... — к своей досаде Фрэнсис обнаружил, что его бьет дрожь. Он стоял перед ней, опустив глаза, глядя на свои злополучные ботинки. — Несколько последних дней вы ходили с сестрой Клотильдой в город?

Она удивленно посмотрела на него.

— Да, это правда.

Наступило молчание. Насторожившись, сестра Мария-Вероника спросила с иронией:

— Вам любопытно узнать, что мы там делали?

— Это я уже знаю, — отец Чисхолм старался говорить как можно мягче. — Вы ходили навещать больных бедняков в городе. Вы дошли даже до Маньчжурского моста. Это достойно похвалы, но боюсь, это придется прекратить.

— Могу я спросить почему? — она старалась говорить так же спокойно, как он, но это ей плохо удавалось.

— Мне, право, не хотелось бы говорить вам...

Ее тонко вырезанные ноздри раздулись, она нахмурилась.

— Если вы запрещаете мне творить милосердие... я имею право знать... я настаиваю.

— Иосиф говорит, что в городе бандиты, Вайчу опять начал драться. Его солдаты опасны.

Мать Мария-Вероника с гордым презрением рассмеялась ему прямо в лицо.

— Я не боюсь. Мужчины в моей семье всегда были солдатами.

— Это весьма интересно, — отец Чисхолм пристально посмотрел на нее. — Но вы не мужчина и сестра Клотильда тоже. А солдаты Вайчу несколько отличаются от затянутых в перчатки кавалерийских офицеров, которые всенепременно имеются в лучших баварских семьях.

Он еще никогда не разговаривал с ней таким тоном. Она покраснела, потом побледнела. Черты ее лица, вся ее фигура, казалось, сжалась.

— Ваши взгляды низменны и трусливы. Вы забываете, что я отдала себя Богу. Я приехала сюда готовая ко всему: к болезням, к несчастным случаям, если нужно будет — к смерти, но отнюдь не к выслушиванию дешевой сенсационной ерунды.

Фрэнсис не отвел глаз — они жгли ее, как раскаленные светящиеся

острия, — и сказал непререкаемо:

— Тогда не будем говорить о сенсациях. То, что вас взяли бы в плен и увезли, как вы правильно заключили, имело бы весьма небольшое значение. Но есть более веская причина, по которой вы должны прекратить свои благотворительные прогулки. Положение женщин в Китае существенно отличается от того, к которому вы привыкли. В Китае женщины в течение веков подвергались суровому исключению из общества. Вы наносите тяжелое оскорбление китайцам, открыто ходя по улицам. С религиозной точки зрения это причиняет большой ущерб работе миссии. По этой причине я категорически запрещаю вам ходить в Байтань без сопровождения и без моего разрешения.

Мария-Вероника вспыхнула так, словно он ударил ее по лицу. Воцарилось мертвое молчание. Ей было нечего сказать. Он собирался уйти, как вдруг в коридоре раздались стремительные шаги и сестра Марта влетела в комнату. Она была так взвинчена, что не заметила Фрэнсиса, полуприкрытого тенью от двери. Не дошла до нее и напряженность момента. Ее глаза, смотревшие с безумным выражением из-под сбитого набок монашеского покрывала, были устремлены на Марию-Веронику. Ломая руки, она иступленно запричитала:

— Они убежали... взяли все... девяносто долларов, которые вы мне дали вчера на оплату счетов... серебро... даже распятие сестры Клотильды из слоновой кости... они удрали, удрали!..

— Кто удрал? — слова выходили из онемевших губ Марии-Вероники с ужасным усилием.

— Ванги, конечно... низкие, грязные воры... Я всегда знала, что это пара жуликов и лицемеров.

Фрэнсис не смел взглянуть на игуменью. Она стояла неподвижно. Испытывая к ней странную жалость, он поспешно вышел из комнаты.

5

Когда отец Чисхолм, напряженный и озабоченный, возвращался к своему дому, он заметил господина Чиа с сыном. Они стояли около рыбного пруда и с видом спокойного ожидания наблюдали карпов. Оба были тепло закутаны — день был очень холодный, "день шести одежд", как говорят в Китае. Ручка мальчика лежала в руке отца, и медленно крадущиеся из тени индийской смоковницы сумерки, казалось, не хотели

стирать эту очаровательную картину и старались обойти ее стороной. Отец с сыном теперь часто посещали миссию и чувствовали себя там совершенно непринужденно. Они улыбнулись заспешившему к ним отцу Чисхолму и поздоровались с церемонной вежливостью. Однако на этот раз господин Чиа деликатно отклонил приглашение священника войти к нему в дом.

— Мы как раз пришли, чтобы пригласить вас к нам. Да, сегодня вечером мы уезжаем в нашу горную "обитель". Мне доставило бы величайшее счастье, если бы вы поехали с нами.

Фрэнсис был поражен.

— Но ведь зима уже на пороге!

— Правда, друг мой, до сих пор я и моя недостойная семья отправлялись в нашу уединенную виллу в горах Гуан только во время немилосердной летней жары, — сказал господин Чиа и вежливо помолчал. — Ну, а теперь мы вводим это новшество, может быть, так будет еще приятнее. Мы запасли много топлива и продовольствия. Не думаете ли вы, отец, что было бы очень полезно для души поразмышлять немного среди снежных вершин?

Отец Чисхолм, пытавшийся разобраться в этом лабиринте иносказаний, в замешательстве сдвинул брови и бросил быстрый вопросительный взгляд на купца.

— Вайчу собирается разграбить город?

Легким пожатием плеч господин Чиа выразил сожаление по поводу прямоты заданного вопроса, но в лице его ничто не дрогнуло.

— Напротив, я сам уплатил ваю значительную дань и удобно расквартировал его людей. Я надеюсь, что он еще долго останется в Байтане.

Наступило молчание. Совершенно растерявшись, отец Чисхолм нахмурился. Господин Чиа снова заговорил:

— Как бы то ни было, друг мой, бывают и другие причины, которые заставляют мудрых людей искать уединения. Я очень прошу вас поехать.

Священник медленно покачал головой

— Очень сожалею, господин Чиа, — я слишком занят в миссии. Как могу я покинуть это прекрасное место, которое вы столь великодушно подарили мне?

Господин Чиа любезно улыбнулся.

— В настоящее время пребывание здесь чрезвычайно полезно для здоровья. Если вы передумаете, обязательно известите меня. Пойдем, Ю... Сейчас будут грузить повозки. Пожми святому отцу руку по-английски.

Отец Чисхолм обменялся рукопожатием с маленьким закутанным мальчиком. Потом он благословил их обоих. Сдержанное сожаление, сквозившее во взгляде и в манерах господина Чиа, встревожило его. Душа Фрэнсиса наполнилась смятением, когда он смотрел им вслед.

Следующие два дня прошли в необычайно напряженной атмосфере. Отец Чисхолм мало виделся с монахинями. Погода испортилась. Большие стаи птиц улетали на юг. Небо потемнело и давило свинцовой тяжестью на все живое. Несколько раз принимался идти снег. Даже жизнерадостный Иосиф проявлял несвойственную ему угрюмость. Он пришел к священнику и выразил желание поехать домой.

— Я уже давно не видел родителей, пора бы мне навестить их.

На вопросы Фрэнсиса он сделал неопределенный жест рукой и проворчал, что в Байтане ходя слухи о том, что с севера, востока и запада надвигается что-то зловещее.

— Так уж подожди, Иосиф, пока эти злые духи доберутся сюда, а тогда убегай, — попробовал пошутить отец Чисхолм, чтобы подбодрить своего слугу, да и себя тоже.

На следующее утро, после ранней мессы, он один отправился в город в поисках новостей. Улицы были полны народа. Жизнь шла своим чередом, но странная тишина нависла над большими домами богачей, и многие магазины были закрыты. На Улице Делателей Сетей он увидел Ханга, который, стараясь не проявлять поспешности, забивал досками окна своей лавки.

— Этого не приходится отрицать, Шанфу! — сказал он, помолчав и бросив на священника зловещий взгляд поверх своих маленьких очков со стеклами из горного хрусталя. — Это болезнь... страшная кашляющая болезнь, которую называют "черной смертью". Уже поражены шесть провинций. Люди бегут с быстротой ветра. Первые беглецы прибыли в Байтань вчера ночью. И одна женщина свалилась мертвой в Маньчжурских ворот. Умный человек знает, что это предвещает. Ай-ай! Нам приходится уходить от голода, нам приходится уходить от чумы. Трудно жить, когда боги разгневаются.

Отец Чисхолм взбирался на холм миссии с омраченным лицом. Ему казалось, что он уже чувствует в воздухе дыхание чумы. Вдруг он остановился. За стеной миссии, прямо у него на дороге, лежали три дохлые крысы. Для отца Чисхолма эта окоченевшая троица была страшным предзнаменованием. Его вдруг затрясло, когда он подумал о своих детях. Фрэнсис сам сходил за керосином, облил им крысиные трупы, поджег и смотрел, как они медленно сгорали. Потом поспешно собрал все, что

осталось, щипцами и закопал.

Отец Чисхолм стоял в глубоком раздумье. Ближайший телеграф был за пятьсот миль отсюда. Послать гонца в Сэньсян на сампане или даже на самом быстром пони значило потерять по меньшей мере шесть дней. И все-таки он должен любой ценой установить какую-то связь с внешним миром.

Вдруг лицо его просветлело. Он нашел Иосифа и, взяв его за руку, быстро повел к себе в комнату. Серьезно и почти торжественно отец Чисхолм обратился к мальчику:

— Иосиф! Я посылаю тебя с чрезвычайно ответственным поручением. Ты возьмешь новую лодку господина Чиа. Скажешь, что господин Чиа и я разрешили тебе. Я приказываю, если будет необходимо, даже украсть ее. Ты понимаешь?

— Да, отец, — глаза Иосифа загорелись. — Это не будет грехом.

— Когда у тебя будет лодка, отправляйся как можно быстрее в Сэньсян. Там пойдешь в миссию к отцу Тибодо. Если его не будет, иди в контору Американской Нефтяной Компании. Найди кого-нибудь из начальства. Скажи, что на нас надвигается чума, что нам срочно нужны лекарства, провиант и доктора. Потом пойдти на телеграф и отошли эти две телеграммы. Вот... возьми эти бумажки. Первая в викариат в Пекине, вторая — в Объединенный главный госпиталь в Нанкине. Вот деньги. Не подведи меня, Иосиф, а теперь ступай... ступай. Да хранит тебя милосердный Бог.

Отец Чисхолм почувствовал некоторое облегчение, когда часом позже мальчик ушел. Он смотрел, как тот спускался с холма, голубой узелок подпрыгивал у него на спине, умная рожица выражала непоколебимую решимость. Чтобы лучше увидеть отплытие лодки, священник поспешил на колокольню. Но, когда он посмотрел оттуда вниз, глаза его потемнели: на обширной равнине перед собой Фрэнсис увидел два движущихся потока — животных и идущих вразброд людей, казавшихся на таком расстоянии маленькими муравьями. Один из потоков приближался к городу, другой удалялся от него. Отец Чисхолм не мог больше ждать, спустился и немедленно направился к школе.

В коридоре сестра Марта на коленях скребла пол. Он остановился.

— Где преподобная мать?

Она подняла мокрую руку, поправила апостольник ^[45].

— В классе, — и прибавила свистящим шепотом с видом сообщницы:

— И с недавних пор в большом беспокойстве.

Он вошел в класс. При его появлении все смолкло. Вереница ясных детских лиц вызвала в его душе внезапную острую боль. Фрэнсис усилием

воли быстро подавил этот невыносимый страх. Мария-Вероника повернулась к нему с бледным непроницаемым лицом. Он подошел к ней и заговорил вполголоса:

— В городе признаки эпидемии. Я боюсь, что это может быть чума. Если это так, нам очень важно подготовиться, — отец Чисхолм замолчал, она тоже молчала, тогда он продолжил: — Мы должны постараться любой ценой уберечь детей. Значит, нужно будет изолировать школу и ваш дом. Я сейчас же распоряжусь, чтобы построили какую-нибудь ограду. Дети и все три сестры должны оставаться внутри, причем одна из сестер должна всегда дежурить у входа, — Фрэнсис опять замолчал, принуждая себя к спокойствию. — Как вы считаете, это будет благоразумно?

Мария-Вероника посмотрела ему в лицо холодно и ничуть не испуганно.

— Чрезвычайно благоразумно.

— Как по-вашему, нам следует обсудить это детально? Она едко ответила:

— Вы уже приручили нас к принципу сегрегации. Он не обратил внимания на эту колкость.

— Вы знаете, как распространяется зараза?

— Да.

Наступило молчание. Отец Чисхолм повернулся к двери, помрачнев от ее непоколебимого нежелания помириться.

— Если Бог пошлет это великое несчастье, нам придется тяжело трудиться вместе. Постараемся забыть наши личные отношения.

— Да, о них лучше не вспоминать, — произнесла мать Мария-Вероника самым холодным тоном. Внешне покорная, в душе она была по-прежнему исполнена презрения к нему.

Он вышел из класса. Фрэнсис не мог не восхищаться ее храбростью, ведь новость, сообщенная им, ужаснула бы большинство женщин. Он подумал, что им может понадобиться все их мужество еще до конца этого месяца.

Убежденный в том, что надо спешить, отец Чисхолм послал садовника за десятником господина Чиа и теми шестью рабочими, которые строили ему церковь. Как только они пришли, он велел им строить толстую ограду из глины вдоль отмеченной им границы. Сухие стебли кукурузы, обмазанные глиной, должны были образовать великолепную изгородь. Пока ограда росла под его тревожным взглядом, опоясывая школу и дом сестер, Фрэнсис вырыл вокруг ее основания узкую канаву. Если понадобится, ее можно будет залить дезинфицирующей жидкостью.

Работа продолжалась весь день и была закончена только поздно ночью. Но даже когда рабочие уже ушли, он не смог отдохнуть. Все растущий страх захлестывал его. Отец Чисхолм перенес за ограду большую часть их запасов, таская на плечах мешки картофеля и муки, масло, бекон, сгущенное молоко и все консервы, какие были в миссии. Свой небольшой запас медикаментов он тоже перенес туда. Только тогда Фрэнсис немного успокоился и посмотрел на часы — было три часа утра. Ложиться уже не стоило. Он прошел в церковь и молился там до рассвета. Когда рассвело, но в миссии все еще спали, отец Чисхолм отправился в Главный Суд. Через Маньчжурские ворота толпы беженцев из пораженных чумой провинций, никем не препятствуемые, вливались в город. Множество их улеглось спать под открытым небом, укрываясь под Великой Стеной. Когда Фрэнсис проходил мимо этих безмолвных фигур, беспорядочной грудой лежащих под мешковиной, полузамерзших на резком ветру, он услышал душераздирающий кашель. Сердце его рванулось к этим несчастным измученным созданиям, многие из которых уже заболели, но смиренно переносили страдания без всякой надежды на избавление. Жгучее необоримое желание помочь им завладело его душой. Он увидел мертвого и нагого старика: одежда, в которой тот больше не нуждался, была снята с него. Казалось, его морщинистое беззубое лицо было обращено к Фрэнсису.

Подгоняемый жалостью, отец Чисхолм дошел до суда, однако здесь его ждал удар: родственник господина Пао уехал, и вся семья Пао тоже уехала. Закрытые ставни их дома смотрели на него незрячими глазами.

Он коротко, с болью вздохнул и, нервничая, вошел в здание суда. В коридорах никого не было. В комнате судьи, как в склепе, эхом отдавалась пустота. Фрэнсис не смог найти никого, кроме нескольких клерков, суетившихся с таинственным видом. От одного из них он узнал, что главный судья отозван на похороны дальнего родственника в Чинтин, за восемьсот ли к югу отсюда. Встревоженному священнику стало ясно, что все чиновники суда, кроме самых низших, были "затребованы" из Байтаня. Гражданские власти города перестали существовать.

Складка между бровями у Фрэнсиса стала глубже, выделяясь, как шрам на осунувшемся лице. Теперь ему оставалось сделать еще одну попытку. И он знал, что она тоже будет тщетной. Тем не менее, Фрэнсис устремился к казармам.

С тех пор как бандит Вайчу стал полным хозяином провинции, свирепо вымогая "добровольные" приношения, существование регулярных войск стало чисто теоретическим. Во время периодических налетов

бандита на город они рассыпались и таяли. И сейчас, когда Фрэнсис подошел к казармам, он увидел всего лишь с дюжину солдат, болтавшихся вокруг, явно безоружных, в грязных серых хлопчатобумажных кителях.

И хотя они остановили его у ворот, ничто не могло противостоять ему — слишком силен был душевный жар, сжигавший его. Он пробился сквозь солдат во внутреннее помещение, где молодой лейтенант в чистой элегантной форме развалился у зарешеченного окна, задумчиво полируя белые зубы веточкой ивы.

Лейтенант Шон и священник пристально разглядывали друг друга. Молодой щеголь — с вежливой настороженностью, его посетитель — с мрачной и безнадежной настойчивостью, весь поглощенный своей целью.

— Городу угрожает ужасная болезнь, — Фрэнсис говорил нарочито сдержанно. — Я ищу кого-нибудь, обладающего достаточным мужеством и властью, чтобы вступить в борьбу с этой страшной опасностью.

Шон продолжал бесстрастно рассматривать священника.

— Вся полнота власти принадлежит генералу Вайчу. А он завтра уезжает в Доуэнлай.

— Тем легче будет остающимся. Умоляю вас помочь мне. Шон с добродетельным видом пожал плечами.

— Ничто не доставило бы мне большего удовольствия, чем работа с Шанфу, совершенно без всяких видов на вознаграждение, исключительно для высшего блага страдающего человечества. Но у меня не больше пятидесяти солдат и никаких запасов продовольствия.

— Я послал за продовольствием в Сэньсян, — Фрэнсис заговорил быстрее. — Оно скоро прибудет. Но пока мы должны сделать все, что в нашей власти, чтобы ввести карантин для беженцев и помешать чуме распространяться по городу.

— Она уже распространилась, — хладнокровно заметил Шон. — На Улице Корзинщиков уже было шестьдесят случаев. Многие умерли. Остальные умирают.

Нервы священника напряглись до предела, в нем поднялась волна протеста, жгучее неприятие поражения. Он быстро шагнул вперед.

— Я намерен помочь этим людям. Если вы не пойдете со мной, я пойду один. Но я совершенно уверен, что вы пойдете.

Впервые лейтенант посмотрел обеспокоенно. Несмотря на свой фатоватый вид, он был храбрым юношей, мечтавшим об успехе и обладавшим чувством собственного достоинства, которое заставило его отвергнуть цену, что предложил ему Вайчу, как позорно низкую. Его ни в малейшей степени не интересовала судьба своих сограждан. В момент

прихода священника он лениво обдумывал, стоит ли ему присоединиться к своим немногим уцелевшим солдатам. Теперь Шон был приведен в неприятное замешательство — против его воли слова священника произвели на него впечатление. Как человек, которого заставляют двигаться, несмотря на его нежелание, он встал, отбросил свою веточку и медленно прицепил револьвер.

— Он плохо стреляет, но сойдет как символ для поддержания неуклонного послушания моих весьма достойных доверия подчиненных, — сказал лейтенант с иронией.

Они вместе вышли в холодный серый день. С Улицы Украденных Часов они извлекли человек тридцать солдат и двинулись к битком набитым жилищам корзинщиков у реки. Здесь чума уже обосновалась с инстинктом навозной мухи. Эти прибрежные жилища — ярусы фанерных лачуг, лепящихся друг на друга по высокому илистому берегу — были как гнойники, полные грязи, паразитов и болезней. Фрэнсис увидел, что если немедленно не принять мер, то в этом скоплении людей зараза распространится с быстротой бушующего пожара.

Он сказал Шону, когда они, выбирались, согнувшись пополам, из крайней лачуги:

— Мы должны найти какое-то помещение для больных. Лейтенант подумал. Неожиданно для себя ему начинало

нравиться их рискованное предприятие. Этот иностранный священник проявил большую смелость, низко склоняясь над больными, а Шон чрезвычайно восхищался смелостью.

— А мы реквизируем помещение имперского учетчика, — быстро ответил лейтенант. (Вот уже много месяцев Шон пребывал в состоянии яростной вражды к этому чиновнику, который заграбастал себе его долю соляного налога.) — Я уверен, что жилище моего отсутствующего друга можно превратить в прекрасный госпиталь.

Они немедленно направились туда. Это был большой, богато обставленный дом в лучшей части города. Шон вошел в него весьма просто — он взломал дверь. Фрэнсис с несколькими людьми остался там, чтобы приготовить все к приему больных, а лейтенант ушел с остальными. Вскоре на носилках стали прибывать первые больные. Кроватей не было, и носилки ставили рядами на полу, покрытом циновками.

В эту ночь, когда Фрэнсис, усталый после целого дня труда, поднимался в гору к миссии, он слышал сквозь слабую непрерывную музыку смерти дикие, пьяные крики и беспорядочную стрельбу. Позади него банды Вайчу грабили запечатые магазины. Но вскоре город снова

замолк, и в мертвенном лунном свете отец Чисхолм увидел, как бандиты, прищпоривая украденных пони, устремились потоком из Восточных ворот через долину. Он рад был тому, что они уходят.

Луна над вершиной холма вдруг затуманилась. Наконец начал идти снег. Когда Фрэнсис подошел к калитке в глиняном заборе, воздух стал живым и трепещущим. Мягкие сухие слепящие хлопья неслись, кружась, из темноты, они садились на глаза и на лоб, влетали в губы, как крошечные остии^[46]. Снежный вихрь был таким густым и плотным, что через минуту земля была покрыта белым ковром. Он постоял у калитки в этой холодной белизне, терзаемый тревогой. Потом тихо позвал. Немедленно мать Мария-Вероника подошла к калитке, поднимая фонарь, от которого на снегу распахнулись яркие лучи. Отец Чисхолм спросил с замиранием сердца:

— Вы все здоровы?

— Да.

Он испытал такое облегчение, словно камень свалился у него с души. Фрэнсис вдруг почувствовал, как он устал и как голоден, — ведь за целый день у него не было ни крошки во рту. Некоторое время отец Чисхолм стоял молча, потом сказал:

— Мы организовали госпиталь в городе... это, конечно, не Бог вещь что... но это лучшее, что мы могли сделать...

Он снова помолчал, ожидая, что она сама заговорит, ибо глубоко понимал трудность своего положения и огромность жертвы, о которой должен был просить.

— Если бы можно было обойтись здесь без одной из сестер, если бы кто-нибудь из них вызвался пойти... помочь ухаживать за больными... я был бы чрезвычайно благодарен.

Наступило молчание. Фрэнсис почти видел, как ее губы складываются, чтобы холодно ответить: "Вы сами приказали нам оставаться здесь. Вы ведь запретили нам выходить в город.

Может быть, сквозь густую завесу снега Мария-Вероника разглядела его лицо — измученное, осунувшееся, с набрякшими веками... Может быть, выражение этого лица удержало ее, но она сказала просто:

— Я пойду.

Отец Чисхолм испытал огромное облегчение. Несмотря на ее неизменную враждебность к нему, мать Мария-Вероника была несравненно более ценной помощницей, чем Марта или Клотильда.

— Это значит, что вам придется перебраться туда. Закутайтесь потеплее и возьмите с собой все необходимое, — сказал он.

Через десять минут Фрэнсис взял ее саквояж, и они молча стали

спускаться. Темные линии их следов на свежавыпавшем снегу шли далеко друг от друга.

На следующее утро шестнадцать из положенных к ним больных умерли, но поступило в три раза больше новых. Это была легочная чума с вирулентностью в десять раз сильнее самого сильного змеиного яда. Люди падали, словно сваленные ударом дубинки по голове, и зачастую умирали, не прожив и суток. Болезнь, казалось, свертывала их кровь и разлагала легкие. При кашле они извергались в виде тонкой белой мокроты, испещренной кровавыми жилками и кишачей смертоносными микробами. Нередко случалось, что на протяжении одного часа беззаботный смех человека застывал в страшный оскал мертвой маски.

Трем врачам Байтаня не удалось остановить эпидемию методом иглоукалывания. На второй же день они прекратили терзать своих пациентов и каждый, по своему усмотрению, находил более действенные методы лечения.

К концу недели город был прочесан из конца в конец. Волна паники смыла апатию людей. Южные выходы из города были забиты повозками, носилками, нагруженными сверх всякой меры мулами и истерически борющимися за возможность покинуть город людьми.

Становилось все холоднее. Великое уныние, казалось, лежало на измученной стране — и здесь, и далеко отсюда. Хотя в голове у Фрэнсиса все путалось от усталости и недостатка сна, он все же смутно понимал, что несчастье, свалившееся на Байтань, это только маленький акт великой трагедии.

Отец Чисхолм не получал никаких известий и не мог представить себе всей громадности бедствия: сотни тысяч миль были поражены чумой, полмиллиона мертвецов лежали под снегом, без погребения. Не мог он знать и того, что глаза всего цивилизованного мира были с сочувствием устремлены на Китай, что туда прибывали для борьбы с эпидемией экспедиции, спешно организованные в Америке и Англии.

Мучительное беспокойство и неизвестность усиливались с каждым днем. Все еще никаких известий не было от Иосифа. Вернется ли он? Сможет ли какая-нибудь помощь придти к ним из Сэньсяна? Десяток раз на дню Фрэнсис устало тащился к причалу в надежде увидеть плывущую вверх по реке лодку.

И вот в начале второй недели вдруг появился Иосиф. Он был истощен и измучен, но слабая улыбка удовлетворения светилась у него на лице. Каких только препятствий не пришлось ему преодолеть! Вся деревня бурлила, Сэньсян был просто местом пыток, миссия там опустошена

болезнью. Но он добивался своего. Он отослал телеграммы и мужественно ожидал ответа, прячась в своей лодке, укрытой в заливе. Теперь вот у него есть письмо. Он достал его грязной дрожащей рукой. Да, еще! — доктор, который знает отца, старый верный друг отца прибудет на лодке с провизией и медикаментами.

Страшно волнуясь, с каким-то необычайным предчувствием, отец Чисхолм взял у Иосифа письмо, вскрыл его и прочел:

"Спасательная экспедиция лорда Лейтона.

Чжэкоу

Дорогой Фрэнсис! Вот уже пять недель, как я в Китае с экспедицией Лейтона. Ты не должен очень этому удивляться, если еще помнишь мои мальчишеские мечты о палубах океанских пароходов и далеких экзотических джунглях.

Честно говоря, я думал, что и сам забыл всю эту чепуху. Но когда начали искать добровольцев для этой спасательной экспедиции, я вдруг самому себе на удивление присоединился к ней. Этот нелепый порыв был вызван отнюдь не желанием стать национальным героем. Может быть, причиной этому было просто давно подавляемое отвращение к моей монотонной жизни в Тайнкасле, а может быть, если решишь быть откровенным, надежда, вполне реальная, увидеть тебя. Как бы там ни было, с тех пор как мы сюда приехали, я все стараюсь продвигаться к северу, пытаюсь пробиться к твоей священной особе.

Твоя телеграмма из Нанкина была передана сюда в наш штаб, и я узнал о ней на следующий день, когда был в Хайчане. Я тут же спросил Лейтона, который, несмотря на свой титул, очень порядочный малый, нельзя ли мне отправиться на помощь тебе. Он дал согласие и даже позволил взять одну из немногих оставшихся паровых лодок. Я только что прибыл в Сэньсян и собираю здесь все необходимое. Я двинусь полным ходом вперед и прибуду, вероятно, всего на сутки позже твоего слуги. До тех пор побереги себя, пожалуйста. Все новости сообщу позже. Спешу.

Твой Уилли Таллох".

Впервые за много дней священник улыбнулся. Где-то глубоко внутри ему стало тепло. Он не был очень удивлен — так похоже это было на Уилли.

Фрэнсис просто почувствовал себя сильнее и крепче — так поддерживало его неожиданное счастье — приезд друга. Ему трудно было сдерживать свое оживление.

На следующий день, когда приближающаяся лодка была замечена, он поспешил на пристань. Лодка еще не успела причалить, как Таллох уже выскочил на берег. Он стал старше, толще, но это был все тот же упрямый спокойный шотландец, как всегда небрежно одетый, застенчивый, сильный и крепкоголовый, как молодой бычок, такой обыкновенный и доброкачественный, как домотканая одежда.

Непонятно почему, в глазах у священника все расплылось.

— Старина! Фрэнсис! Это ты! — Уилли ничего больше не мог произнести. Он все тряс Фрэнсиса за руку, в смущении от своего волнения, которому его северная кровь не позволяла проявиться более откровенно. Наконец, словно поняв, что необходимо что-то сказать, доктор пробормотал:

— Когда мы бродили в Дэрроу по Хай-стрит, нам и не снилось, что мы можем встретиться в таком месте, — он попробовал ухмыльнуться, но у него это не получилось. — А где же твоя накидка и резиновые сапоги? Не можешь же ты шагать по такой инфекции в этих ботинках!? Да, пора за тебя взяться, давно пора мне присмотреть за тобой.

— И за нашим госпиталем, — улыбнулся Фрэнсис.

— Что?! — рыжие брови Таллоха полезли вверх. — У тебя здесь какое-то подобие госпиталя? Ну-ка, посмотрим его.

— Как только ты будешь готов.

Приказав команде лодки следовать за ним с грузом, Уилли зашагал рядом со священником. Несмотря на то, что талия его сильно увеличилась в объёме, он был очень подвижен. Его красное лицо мало изменилось, взгляд был внимательный и решительный.

Он слушал краткий отчет друга, понимающе кивал головой, и сквозь поредевшие волосы на красном черепе видно было множество веснушек. Когда Фрэнсис заканчивал свой рассказ, они как раз подошли к дому, и доктор подмигнул ему невозмутимо:

— Это и есть твой госпиталь?! Ну, что ж... это не так уж плохо.

Уилли через плечо приказал носильщикам вносить ящики. Потом быстро осмотрел госпиталь, взгляд его скользил во все стороны, и только на сестре Марии-Веронике, которая теперь сопровождала их, остановился с

каким-то особенным любопытством. Когда вошел Шон, он бросил быстрый взгляд на молодого щеголя, а потом крепко пожал ему руку. Наконец, когда они все четверо остановились у входа в длинную анфиладу комнат, составляющих основную часть госпиталя, он спокойно обратился к ним.

— По-моему, вы сделали чудеса. И я надеюсь, что вы не ожидаете никаких мелодраматических чудес от меня. Забудьте все ваши предвзятые представления и посмотрите правде в лицо — я не красивый врач-брюнет с переносной лабораторией. Я здесь для того, чтобы работать вместе с вами так, как работаете вы сами, что означает, попросту говоря, работать, как вол. У меня в моем саквояже нет ни капли вакцины — во-первых, потому, что от нее нет никакой пользы, кроме как в сказках, а во-вторых, потому, что мы израсходовали ее всю без остатка в первую же неделю нашего пребывания в Китае. И как вы, несомненно, отметите, — мягко добавил он, — она не остановила эпидемию. Запомните! Если подцепить эту болезнь, то практически она смертельна. В таких обстоятельствах, как говаривал мой старый отец, — он слегка улыбнулся, — одна унция предупреждения лучше, чем тонны лечения. Вот почему, если вы не возражаете, мы сосредоточим свое внимание не на живых, а на мертвых.

Они молчали, с трудом воспринимая значение его слов. Лейтенант Шон улыбнулся и сказал:

— Трупы накапливаются в боковых улочках с угрожающей быстротой. Чрезвычайно неприятно, споткнувшись в темноте, падать в объятия бесчувственного мертвеца.

Фрэнсис бросил взгляд на непроницаемое лицо Марии-Вероники. Иногда молодой лейтенант бывал несколько циничен.

Доктор подошел к ближайшему ящику и стал флегматично и ловко вскрывать его.

— Первым делом надо вас снарядить должным образом. О! Я знаю, вы двое верите в Бога, а лейтенант в Конфуция, — он нагнулся и достал из ящика резиновые сапоги. — Ну, а я верю в профилактику.

Таллох закончил распаковку, вручил каждому подходящие белые защитные комбинезоны и специальные очки, продолжая серьезно и сдержанно бранить их за пренебрежительное отношение к своей безопасности:

— Неужели вы не понимаете, вы, отъявленные простаки... кто-то кашляет вам в глаза, и вам конец... зараза проникает через роговую оболочку. Это было известно уже в XIV веке... чума была завезена из Сибири охотниками... уже тогда надевали защитные слюдяные козырьки... Ну, ладно, я вернусь позже, сестра, и тогда осмотрю ваших больных как

следует; но прежде всего Шон, его преподобие и я осмотрим все вокруг.

Фрэнсис жил все время в таком душевном напряжении, что как-то упустил из виду жестокую необходимость хоронить зараженные бациллами трупы, как можно скорее, — раньше, чем они станут добычей крыс. Индивидуальные похороны были невозможны в этой твердой, как чугун, земле, да и весь запас гробов давно уже иссяк. И во всем Китае не хватило бы горючего, чтобы сжечь трупы, ибо, как снова отметил Шон, нет ничего менее поддающегося воспламенению, чем промерзшая человеческая плоть. Практически оставалась только одна возможность разрешить эту проблему. Они выкопали громадную яму за стенами города, выложили ее негашеной известью и реквизировали повозки. Нагруженные колымаги, которыми правили люди Шона, с грохотом проносились по улицам и сбрасывали свой страшный груз в эту общую могилу.

Через три дня, когда город был очищен, а все тела, что валялись в покрытых ледяной коркой полях, полурастерзанные и растащенные собаками, собраны, были приняты более строгие меры. Люди боялись, что духи их предков будут осквернены такой нечистой могилкой, и стали прятать своих умерших родственников, собирая множество зараженных трупов под половицами и на чердаках под глиняными крышами своих домов.

Доктор предложил лейтенанту Шону объявить, что все укрыватели трупов будут расстреляны. Когда смертные возки громыхали по городу, солдаты кричали: "Выносите своих мертвецов, не то умрете сами".

Они же тем временем безжалостно уничтожали некоторые владения, которые Уилли отметил, как рассадники заразы. Опыт и жестокая необходимость сделали доктора жестким и энергичным. Втроем они входили в дома, очищали комнаты, рушили бамбуковые перегородки топорами, обливали керосином и устраивали погребальные костры для крыс.

Улица Делателей Сетей была снесена первой. Когда они возвращались, Таллох, опаленный и испачканный сажей, все еще с топором в руке, посмотрел с сомнением на священника, устало шагавшего рядом с ним по пустынным улицам, и сказал с внезапным приливом раскаяния:

— Это занятие совсем не для тебя, Фрэнсис. Ты уже так извелся, что того гляди свалишься. Почему бы тебе не подняться на несколько дней к себе, к своим ребятишкам, о которых ты до смерти беспокоишься?

— Это было бы прелестное зрелище, — быстро ответил тот, — священник, отдыхающий в то время, когда город пылает.

— Да кто увидит тебя в этом захолустье? Фрэнсис сдержанно

улыбнулся.

— Мы не невидимы.

Таллох резко оборвал разговор. У входа в госпиталь он обернулся, угрюмо глядя на багровое зарево, все еще тлеющее в низком тусклом небе.

— Пожар Лондона был логической необходимостью, — медленно возгласил он и вдруг сорвался: — Черт возьми, Фрэнсис, убивай себя, если уж тебе так хочется, но помолчи о причинах, побуждающих тебя к этому.

Переутомление начинало сказываться на них. Фрэнсис не раздевался уже десять дней, одежда стояла на нем колом от замерзшего пота. Иногда он стаскивал с себя сапоги, повинаясь приказу Таллоха растереть ноги сурепным маслом. Но, несмотря на это, большой палец правой ноги был отморожен и воспалился и причинял ему ужасные мучения. Фрэнсис смертельно устал, но всегда было что-то еще, что необходимо было сделать... и еще... и еще...

У них не было воды, только талый снег — колодцы промерзли до дна. Готовить пищу было почти невозможно. Однако Уилли настоял, чтобы они ежедневно сходились в полдень для общей трапезы, — это должно было служить противодействием против страшного кошмара, каким стала их жизнь. В этот час доктор упорно лез из кожи, стараясь быть веселым, иногда заводил им фонограф, который он привез. У него был неистощимый запас анекдотов и смешных рассказов. Таллох торжествовал, если ему удавалось вызвать слабую улыбку на губах Марии-Вероники. Лейтенант Шон совершенно не понимал шуток, но вежливо слушал, когда их ему объясняли. Иногда Шон немного запаздывал к еде. И хотя они догадывались, что он развлекал какую-нибудь хорошенькую женщину, которая, подобно им, пока уцелела, все же его пустой стул произвольно сильно действовал им на нервы.

В начале третьей недели в Марии-Веронике стали проявляться признаки полного упадка сил. Как-то Таллох посетовал, что госпиталю не хватает свободного места, она предложила:

— А что если нам взять гамаки? Мы тогда могли бы разместить вдвое больше больных и к тому же более удобно.

Доктор помолчал, глядя на нее с мрачным одобрением.

— Почему я раньше не подумал об этом?! Это же великолепная мысль!

Мать Мария-Вероника густо покраснела от его похвалы, опустив глаза, и хотела заняться своей тарелкой риса, но не могла. У нее начали дрожать руки. Они тряслись так сильно, что пища падала с вилки. Мария-Вероника не в состоянии была поднести хоть крупицу риса к губам, от нервного напряжения у нее покраснела даже шея.

Несколько раз бедная женщина пыталась повторить свои попытки, но безуспешно. Она сидела с опущенной головой, испытывая нелепое унижение, потом, не говоря ни слова, встала и вышла из-за стола.

Позднее отец Чисхолм нашел ее за работой в женской палате. Никогда еще не видал он такого спокойного и безжалостного к себе самопожертвования. Она не гнушалась ничем, делала для больных такую работу, от которой с отвращением отвернулся бы последний китайский мусорщик. Фрэнсис не осмеливался взглянуть на нее — такими невыносимыми стали их отношения. В течение многих дней он не заговаривал с ней.

— Преподобная мать... доктор Таллох думает... все мы думаем, что вы слишком много работаете... нужно бы сестре Марте сменить вас.

Ей удалось обрести вновь лишь малую частицу былой холодной отчужденности. Предложение Фрэнсиса снова вывело ее из равновесия. Мария-Вероника выпрямилась.

— Вы считаете, что я делаю недостаточно?

— Отнюдь нет. Вы работаете великолепно.

— Тогда зачем же пытаться устранить меня? — ее губы дрожали.

Отец Чисхолм неловко сказал:

— Мы заботимся о вас.

Его тон, по-видимому, задел ее за живое. Сдерживая слезы, она запальчиво ответила:

— Пожалуйста, не заботьтесь обо мне. Чем больше работы вы мне поручите и чем меньше будете проявлять сочувствия, тем приятнее мне будет.

Ему пришлось прекратить разговор. Он поднял на неё глаза, но преподобная мать была непреклонна и упорно избегала его взгляда. Фрэнсис печально отвернулся. Снегопад прекратившийся было на неделю, вдруг начался опять. Снег падал и падал, и конца ему не было. Фрэнсис никогда не видал такого снега, таких больших и мягких хлопьев. Каждая новая снежинка, казалось, усиливала тишину. Дома стояли словно замурованные в безмолвную белизну. Улицы были загромождены высокими сугробами, через которые трудно было переносить носилки с больными, отчего страдания последних только усиливались. Сердце отца Чисхолма было истерзано. В эти нескончаемые дни Фрэнсис потерял всякое представление о времени, месте и страхе. Когда он склонялся над умирающими, чтобы поддерживать их, глаза его останавливались на них с глубоким состраданием, а в его затуманенном мозгу проплывали какие-то бессвязные мысли... Христос обещал нам страдания... эта жизнь дана нам

лишь для того, чтобы мы подготовились к жизни будущей... когда Бог захочет, Он осушит слезы в наших глазах, и не будет больше "ни печали, ни вздыхания..."

Теперь команда доктора задерживала всех беженцев за стенами города, подвергая их дезинфекции, и держала в карантине, пока не убеждалась, что они не больны. Однажды, когда они втроем возвращались из наспех построенных хижин, служивших изоляторами, Таллох, чьи силы были уже на исходе, а нервы совсем расшатались, спросил с нескрываемой злостью:

— А что, ад хуже, чем это?

Фрэнсис, преодолевая туман усталости, окутывавший его, спотыкаясь, но двигаясь вперед, совсем не героический, но неустрашимый, ответил:

— Ад — это то состояние, когда человек перестает надеяться.

Никто из них не знал, когда эпидемия начала спадать. Не было никакой кульминации их усилий, никакого пышного завершения из подвига. Смерть не слонялась больше по улицам с явной очевидностью. Самые страшные трущобы лежали грязным пеплом на снегу. Массовое бегство из северных провинций постепенно прекратилось, словно громадная черная туча, неподвижно висевшая над ними, начала, наконец, медленно отползать к югу.

Таллох выразил свои ощущения единственной фразой:

— Одному твоему Богу известно, Фрэнсис, сделали ли мы что-нибудь... Я думаю... — он оборвал фразу. Осунувшийся, прихрамывающий, Уилли впервые, казалось, готов был сломиться. Он выругался, недовольный собой, затем предложил:

— Сегодня опять поступило меньше больных... давай, сделаем передышку, а то я сойду с ума.

В этот вечер они оба впервые отлучились из госпиталя и поднялись в миссию, чтобы провести ночь в доме священника. Был уже одиннадцатый час, и несколько звезд чуть виднелись в темной чаше неба.

Доктор и священник остановились на вершине укутанного снегом холма, куда они взобрались с большими усилиями, и Уилли, рассматривая мягкие очертания миссии, освещенные исходящей от снега белизной, сказал с несвойственной ему мягкостью:

— Ты сделал здесь хорошее местечко, Фрэнсис. Я не удивляюсь, что ты так упорно боролся, чтобы уберечь своих малышей. Ну, если я хоть сколько-нибудь помог, я очень рад, — его губы дрогнули. — Это, наверное, очень приятно — жить здесь с такой красивой женщиной, как Мария-Вероника.

Священник слишком хорошо знал своего друга, чтобы обижаться на

него, однако ответил ему с натянутой и обиженной улыбкой:

— Боюсь, что она совсем не считает это приятным.

— Нет?!

— Ты же должен был заметить, что она меня терпеть не может.

Они помолчали. Таллох искоса посмотрел на священника.

— Твоей самой привлекательной добродетелью, святой ты человек, всегда было прискорбное отсутствие тщеславия, — он двинулся вперед. — Пойдем в дом и сделаем себе тодди. Ведь это чего-нибудь да стоит — пройти через такое бедствие и знать, что ему близок конец. Это как-то поднимает тебя над уровнем животных. Только не пытайся использовать это как аргумент против меня, чтобы доказать существование души.

Усевшись в комнате Фрэнсиса, оба испытали момент блаженного изнеможения. До поздней ночи они говорили о доме. Уилли немногословно высмеивал свою карьеру. Он ничего не достиг, ничего не приобрел, кроме пристрастия к виски. Но теперь, вступив в сентиментальный средний возраст, когда уже хорошо сознаешь свои недостатки и обманчивость своих иллюзий, Таллох жаждал вернуться домой, в Дэрроу, и пережить еще одну, еще более увлекательную авантюру — брак. Он сконфужено улыбнулся, как бы прося прощения.

— Отец очень хочет, чтобы у меня была практика и целый выводок ребят. Он славный старик, всегда вспоминает тебя, Фрэнсис... своего католического Вольтера.

С исключительной нежностью доктор говорил о своей сестре Джин. Она теперь вышла замуж и обеспеченно живет в Тайнкасле. Он промолвил со значением, не глядя на своего друга:

— Она долгое время не могла примириться с безбрачием духовенства.

Нежелание Уилли говорить о Джуди вызывало подозрения, но зато о Полли он мог говорить без умолку. Он встретил ее полгода назад в Тайнкасле, тетя Полли была еще совсем крепкой.

— Что за женщина! Попомни мои слова, она еще удивит тебя когда-нибудь. Полли всегда была, есть и будет козырным тузом.

Они так и заснули, сидя.

К концу той недели эпидемия еще заметнее пошла на убыль. Теперь повозки с мертвецами редко проносились с грохотом по улицам, стаи грифов-стервятников не налетали больше на город, и снег больше не шел.

В следующую субботу отец Чисхолм снова стоял на балконе миссии, вдыхая ледяной воздух. Он испытывал чувство глубокой, счастливой благодарности. Со своего наблюдательного пункта Фрэнсис видел детей, беззаботно игравших за высоким глиняным забором. Он чувствовал себя

подобно человеку, которому после долгого ночного кошмара медленно начинает проникать в глаза дневной свет.

Вдруг его взгляд упал на фигуру солдата, казавшуюся очень темной на фоне сугробов, человек быстро поднимался по дороге к миссии. Сначала священник подумал, что это кто-нибудь из людей лейтенанта. Потом с некоторым удивлением увидел, что это был сам Шон.

Молодой офицер впервые посетил его. Удивление и радость светились в глазах Фрэнсиса, когда он спускался по лестнице навстречу лейтенанту. Но стоило отцу Чисхолму, уже на пороге, увидеть лицо Шона, как приветствие замерло у него на губах. Шон был изжелта-бледен, осунулся и серьезен, как никогда раньше. Пот слабой росой выступил на лбу, обнаруживая его спешку, так же как и расстегнутый китель — небрежность, совершенно невероятная для такого педанта, как Шон.

Лейтенант не терял времени даром и быстро заговорил:

— Пожалуйста, пойдёмте со мной сейчас же. Ваш друг доктор заболел.

Фрэнсису стало вдруг очень холодно, как будто его ударила сильная струя морозного воздуха, его стала бить дрожь. Он смотрел на Шона, всеми фибрами души отказываясь верить услышанному. Спустя, как ему показалось, долгое время, он услышал свои слова:

— Уилли слишком много работал. Он свалился от слабости.

Чёрные суровые глаза Шона чуть приметно дрогнули.

— Да. Он свалился.

Снова наступило молчание. И тогда Фрэнсис понял, что случилось самое худшее. Он побледнел. Сразу же, в чем был, отец Чисхолм отправился с лейтенантом.

Полпути они прошли в полном молчании. Потом Шон с военной точностью, пресекающей всякие эмоции, кратко рассказал, что произошло. Доктор Таллох вошел с очень усталым видом и хотел выпить. Когда он наливал себе виски, он вдруг страшно закашлялся и оперся, чтобы удержаться, на бамбуковый стол. Лицо его стало тускло-серым, а на губах показалась красновато-лиловая пена. Когда Мария-Вероника подбежала помочь ему, он, прежде чем свалиться, слабо улыбнулся ей и сказал:

— Теперь пора посылать за священником.

В то время как они подошли к госпиталю, на занесенные снегом крыши, как усталое облако, уже спускалась мягкая серая мгла. Фрэнсис и Шон быстро вошли. Таллох лежал в маленькой комнатке на своей узкой походной кровати под стеганым покрывалом из пурпурного шелка. Сочный глубокий цвет покрывала подчеркивал его ужасную бледность, отбрасывая

синевато-багровую тень на лицо. С мучительной болью Фрэнсис увидел, как быстро сразила его лихорадка. Можно было подумать, что это не Уилли, а какой-то другой человек. Он так невероятно осунулся и высох, как будто болезнь изнуряла его много недель. Язык и губы распухли, глаза остекленели и налились кровью.

Мария-Вероника стояла на коленях у кровати, поправляя пузырь со снегом на лбу больного. Она держалась очень прямо, напряженно, выражение лица было строго и сосредоточенно. Когда отец Чисхолм и лейтенант вошли, монахиня встала. Она не заговорила.

Фрэнсис подошел к кровати. Ужасный страх сжимал его сердце. Смерть шла рядом с ними все эти недели, она стала для них привычной и незначительной, какой-то отвратительной обыденностью. Но теперь, когда тень смерти легла на его друга, боль, пронзившая его, была необычна и ужасна. Тал-лох был еще в сознании, его остановившийся взгляд еще узнавал.

— Я приехал за приключениями, кажется, я добился своего, — Уилли попытался улыбнуться.

Через минуту он добавил, полузакрыв глаза, словно эта мысль только что пришла ему в голову:

— Старина, я слаб, как котенок.

Фрэнсис сел на низкий стул у его изголовья. Шон и Мария-Вероника отошли в другой конец комнаты.

Тишина, мучительное чувство ожидания были невыносимы, и они все возрастали, и вместе с ними росло внушающее страх ощущение вторжения в то тайное, чего нельзя постигнуть.

— Тебе удобно?

— Могло бы быть хуже. Дай мне глоточек того японского виски. Оно поможет мне. Старина, это ужасная рутина — умирать так... особенно мне... я всегда ненавидел хрестоматийные рассказы...

Когда Фрэнсис дал ему глотнуть спиртного, Уилли закрыл глаза и, казалось, уснул. Но скоро он начал тихо бредить.

— Ну-ка, парень, дай мне еще выпить. Ах, чтоб тебя! Вот это вещь! Я не мало попил такого в Тайнкасле. Ну, а теперь я уезжаю домой в милый старый Дэрроу... На берега Алланских вод, где пролетела дивная весна... Тебе нравится эта песенка, Фрэнсис? Это хорошая песенка. Спой ее, Джин. Да погромче, громче... я не могу слышать тебя в этой темноте.

Фрэнсис заскрежетал зубами, подавляя свое отчаяние. К Уилли снова вернулось сознание.

— Ладно, ладно, ваше преподобие. Я буду лежать тихонько и беречь

силы. Все-таки это очень странно... в общем-то... всем нам предстоит когда-то перейти эту черту... — бормоча, он опять погрузился в безотчетность.

Священник на коленях молился около его кровати. Он молил о помощи, о наитии, но в то же время был странно нем, будто охвачен каким-то оцепенением. Город за окном в своем безмолвии казался призрачным. Наступили сумерки. Мария-Вероника встала, чтобы зажечь лампу, потом снова вернулась в дальний угол комнаты, куда не падал свет. Ее губы не шевелились, но пальцы под халатом без остановки перебирали четки.

Таллоху становилось все хуже: язык у него почернел, горло так опухло, что нестерпимо было смотреть на него во время приступов тошноты. Но вдруг он словно бы оживился и приоткрыл глаза.

— Который час? — спросил он хриплым, лающим голосом. — Скоро пять... а дома... в это время там пьют чай... помнишь, Фрэнсис, сколько нас собиралось за большим круглым столом?.. — он надолго замолчал. — Ты напиши моему старику и скажи ему, что его сын умер, как мужчина. Забавно... я все еще не могу поверить в Бога.

— Какое это теперь имеет значение? — Фрэнсис сам не знал, что он говорит. Он плакал, чувствуя глупое унижение от своей слабости, оттого, что слова его были бессвязны и беспомощны. — Он верит в тебя...

— Не заблуждайся, я вовсе не каюсь.

— Всякое человеческое страдание является актом покаяния...

Наступило молчание. Священник больше ничего не говорил. Слабым движением Таллох протянул руку, и она упала на руку Фрэнсиса.

— Старина, я никогда еще не любил тебя так сильно, как сейчас... за то, что ты не стараешься запугать меня и затащить на небо... понимаешь... — его веки устало опустились. — У меня ужасно болит голова, — голос прервался. Он лежал на спине в полном изнеможении, быстро и неглубоко дыша, со взглядом устремленным вверх, будто он видел что-то там, за потолком. Горло его было совершенно сжато, он не мог даже кашлять. Конец был близок. Теперь Мария-Вероника стояла на коленях у окна, спиной к ним, неотрывно глядя в темноту. Шон стоял в ногах кровати со страдальчески застывшим лицом.

Вдруг Уилли повел глазами, в которых еще мерцала слабая искорка. Фрэнсис увидел, что он тщетно старается что-то прошептать. Он встал на колени, обвил руками умирающего, приблизил щеку к его губам. Сначала он ничего не мог слышать. Потом до него дошли еле различимые слова:

— Наша борьба... Фрэнсис... пожалуй, за нее можно простить мне мои грехи.

Его глазницы заполнились тенями. Уилли охватила невыразимая усталость. Священник скорее почувствовал, чем услышал последний слабый вздох. В комнате словно стало еще тише. Все еще держа его тело, как мать могла бы держать своего ребенка, Фрэнсис начал тихим прерывающимся голосом, почти не сознавая, что он говорит, читать De profundis: "Из глубины пропасти взываю к Тебе, Господи. Господи, услышь голос мой... ибо Господь полон милосердия, и в Нем наше спасение..."

Наконец отец Чисхолм встал, закрыл покойному глаза, сложил безвольные руки. Выходя из комнаты, он увидел Марию-Веронику, все еще склоненную у окна. Как в полусне, посмотрел на Шона и краем сознания отметил со смутным удивлением, что плечи молодого офицера конвульсивно вздрагивали.

6

Чума прошла, но великая апатия охватила занесенную снегом страну. В деревне рисовые поля превратились в замерзшие озера. Немногие уцелевшие крестьяне не могли обрабатывать землю, наглухо погребенную под снегом. Нигде не было ни признака жизни. В городах оставшиеся в живых медленно пробуждались от мучительной спячки и вяло возвращались к повседневной жизни. Купцы и чиновники еще не вернулись. Говорили, что многие дальние дороги были совершенно непроходимы. Никто не помнил такой плохой погоды. Ходили слухи, что все горные переходы завалены снегом. Участились обвалы, с шумом проносящиеся в далеких горах Гуан, похожие на клубы чистого белого дыма.

Река в верховьях промерзла до дна и лежала гигантским серым пустырем, над которым ветер в слепом отчаянии нес снежную пыль. Ниже по реке был канал, громадные глыбы льда с грохотом сталкивались и разбивались под Маньчжурским мостом. В каждом доме была нужда, и голод притаился совсем рядом.

Одна лодка рискнула пробиться сквозь острые зубчатые плавучие льдины и поднялась от Сэньсяна вверх по реке. На ней было доставлено продовольствие и медикаменты из экспедиции Лейтона, а также сильно запоздавшая пачка писем. После короткой остановки, забрав остальных людей из группы доктора Таллоха, лодка отправилась обратно в Нанкин.

В полученной почте было одно сообщение более важное, чем все

остальные, отец Чисхолм медленно шел из того конца сада, где маленький деревянный крест отмечал могилу доктора Таллоха, с письмом в руке, и мысли его были заняты приездом каноника Мили, о котором оно извещало. Он надеялся, что работа его была удовлетворительна — миссия, конечно, заслуживала того, чтобы он мог гордиться ею. Если бы только погода переменилась, если бы в ближайшие две

недели все растаяло! Когда Фрэнсис подошел к церкви, мать Мария-Вероника спускалась со ступенек. Он должен сказать ей... хотя он стал страшиться тех редких случаев, когда какое-нибудь дело заставляло его нарушать молчание между ними...

— Преподобная мать... представитель нашего Общества иностранных миссий, каноник Мили, совершает инспекционную поездку по китайским миссиям. Он отплыл пять недель тому назад и придет к нам приблизительно через месяц, — он помолчал. — Я подумал, что следует вас предупредить... на тот случай, если вы захотите высказать ему свои пожелания...

Мать Мария-Вероника была закутана, морозный пар от ее дыхания почти скрывал лицо. Она подняла на него непроницаемый взгляд. Ей теперь редко приходилось видеть его вблизи, и перемена, происшедшая в нем за последние недели, поразила ее. Он был худ и совершенно изможден. Кожа плотно обтягивала выдающиеся скулы, щеки слегка ввалились и от этого глаза казались больше и как-то необыкновенно светились.

Неожиданное известие всколыхнуло запрятанную в глубине её души мысль. Повинуясь внезапному порыву, она сказала:

— Я хочу ему сказать только одно. Я попрошу, чтобы меня перевели в другую миссию.

Наступило долгое молчание. Хотя слова Марии-Вероники и не были для него совершенной неожиданностью, Фрэнсис почувствовал, что его охватывает уныние, ощущение своего поражения.

— Вы очень несчастливы здесь?

— Счастье не имеет к этому никакого отношения. Я уже говорила вам, что вступая в монашескую жизнь, я приготовилась вынести все.

— Даже вынужденное общение с человеком, которого вы презираете?

Она покраснела, но что-то сильнее ее, бьющееся где-то глубоко в груди, заставило ее ответить с гордым вызовом:

— Вы, очевидно, совершенно неправильно меня понимаете. Это что-то более глубокое... что-то духовное.

— Духовное? Может быть, вы попытаете сказать мне что именно.

— Я чувствую... — мать Мария-Вероника быстро перевела дыхание,

— что вы нарушаете равновесие моей внутренней жизни... моих религиозных убеждений.

— Это очень серьезно, — он смотрел невидящими глазами на письмо, которое комкал своими костлявыми пальцами. — Мне очень больно это слышать... так же больно, как вам, я уверен, говорить это. Но может быть, вы меня неверно поняли... о чем вы говорите?

— Уж не думаете ли вы, что я заранее подготовила перечень всего? — несмотря на свое самообладание, она чувствовала все усиливающееся волнение. — Это вообще ваше... отношение... Ну, также, некоторые ваши слова, когда умирал доктор Таллох... и потом... когда он умер.

— Продолжайте, пожалуйста.

— Он был атеистом, а вы практически обещали ему вечную награду... ему... неверующему...

Фрэнсис быстро сказал:

— Бог судит нас не только по тому, во что мы верим, но и по тому, что мы делаем.

— Он не был католиком... он даже не был просто христианином.

— А как вы определяете христианина? Если один из семи дней он идет в церковь, а остальные шесть лжет, клеветает, обманывает своих близких? — он чуть улыбнулся. — Доктор Таллох жил иначе. И умер он... помогая другим... как и сам Христос.

Мария-Вероника упрямо повторила:

— Он был вольнодумцем.

— Дитя мое, современники Господа нашего считали его ужасным вольнодумцем... поэтому-то они и убили Его...

Она совершенно потеряла власть над собой.

— Это непростительно делать такие сравнения... это... это надругательство!

— Не знаю... Христос был очень терпимым человеком... и смиренным...

Краска снова прилила к ее щекам.

— Он установил определенные правила. Ваш доктор Таллох не подчинялся им. Вы это сами знаете. Почему, когда он под конец был уже без сознания, вы не совершили последнего помазания?

— Да, я не сделал этого! А может быть, должен был сделать.

Отец Чисхолм некоторое время стоял в мучительном раздумье, несколько подавленный. Затем, казалось, приободрился.

— Но милосердный Бог все равно может простить его, — он помолчал, а потом сказал открыто и просто:

— Разве вы не любили его тоже?

Мария-Вероника заколебалась, опустила глаза.

— Да... как можно было не любить его?

— Тогда давайте не будем делать память о нем поводом для ссоры. Есть одна истина, которую многие из нас забывают. Христос учил этому. Церковь учит этому... хотя, если послушать большинство из нас, нынешних, то так не подумаешь. Никто в доброй вере не может погибнуть. Ни один. Буддисты, магометане, даоисты, самые черные из каннибалов, пожиравших когда-либо миссионеров... Если они искренни в соответствии со своими понятиями, они будут спасены. Это — чудесное милосердие Божие. Так почему бы Богу не получить удовольствия от встречи с честным агностиком в Судный день? Бог подмигнул бы ему и сказал: "Видишь. Я здесь, несмотря на все то, чему тебя учили верить. Входи в Царство, которое ты честно отрицал", — отец Чисхолм хотел улыбнуться, но увидев выражение ее лица, вздохнул и покачал головой.

— Мне, право, очень жаль, что вы так это воспринимаете. Я знаю, что со мной трудно ужиться, и, может быть, я несколько странен в своих взглядах. Но вы так замечательно работали здесь... дети вас любят... и во время чумы... — он резко оборвал готовую сорваться похвалу. — Я знаю, мы не

очень-то хорошо ладили... но миссия очень пострадает, если вы уйдете...

Отец Чисхолм смотрел на нее со странной настойчивостью, с каким-то напряженным смирением. Он ждал, что она заговорит. Потом, когда она так и не заговорила, отец Чисхолм медленно ушел.

Она же направилась в столовую присмотреть за детским обедом. Позднее Мария-Вероника шагала взад и вперед по своей бедной комнате в каком-то непонятном незатихающем волнении. Вдруг, с чувством отчаяния, она села и принялась писать одно из тех бесконечных писем, в которых изо дня в день она рассказывала своему брату обо всех своих делах. Эти письма были для нее отдушиной, в них Мария-Вероника изливала свои чувства, они были для нее и наказанием и утешением.

Взяв перо, она, вздохнула с облегчением — казалось, сам процесс письма действует на нее успокаивающе.

"Я только что сказала ему, что должна просить о переводе. Это случилось совершенно внезапно, как будто прорвалось все, что я подавляла в себе, но отчасти это прозвучало и как угроза. Я сама удивлялась себе, поражалась словам, которые говорила. Но мне представился подобный случай, и я не могла устоять. Мне хотелось сейчас же, немедленно

ошеломить его, сделать ему больно. Но, милый мой Эрнест, я не стала от этого счастливее... После момента триумфа, когда я увидела его опечаленное лицо, мне стало еще тягостнее и беспокойнее.

Я смотрю на безбрежные, пустынные серые пространства, так не похожие на наш уютный зимний пейзаж с его золотистым воздухом, бубенчиками санок, жмущимися друг к другу крышами домиков, — и мне хочется плакать... будто сердце мое разобьется.

Меня побеждает его молчание, его способность стоически все переносить, не говоря ни слова. Я уже рассказывала тебе о его работе во время чумы, когда он расхаживал среди заразы и внезапной омерзительной смерти так беззаботно, словно он прогуливался по главной улице своей ужасной шотландской деревни. И дело тут не только в его храбрости — именно простота этой храбрости и полное отсутствие малейшей мысли о себе — придавали ей такой невероятный героизм. Когда его друг доктор умер, он обнимал его, совершенно не думая о заразе, о том, что его щека забрызгана запекшейся кровью, которой кашлял под конец больной. А выражение его лица... Это сострадание и полнейшая самоотверженность... оно пронзило мне сердце. Только моя гордость спасла меня от унижения заплакать у него на глазах! А потом я разозлилась. Самое досадное то, что я однажды написала тебе, что я его презираю. Эрнест! Я была неправа — что за признание от твоей упрямой сестры! — я больше не могу презирать его. Я теперь презираю не его, а себя. Но его я ненавижу! И я не поддамся ему, не опущусь до его уровня, не покорюсь этой его простоте, которая действует мне на нервы.

Две другие сестры уже покорены им. Они любят его — и это еще одно унижение, которое мне приходится переносить. Марта, тупая, безмозглая крестьянка, готова обожать любую сутану. Но Клотильда, застенчивая и робкая, краснеющая по самому ничтожному поводу, очень деликатная, милая и тонко чувствующая, тоже совершенно предана ему. Во время своего вынужденного карантина она сделала ему толстое стеганое покрывало на постель, мягкое и теплое, просто великолепное. Она отнесла его Иосифу, его слуге, и попросила положить на постель отца — она так скромна, что в его присутствии не могла бы произнести слово "постель" даже шепотом. Иосиф улыбнулся: "Мне очень жаль, сестра, но у него нет постели".

По-видимому, он спит на голом полу, укрываясь только своим пальто — зеленоватым одеянием неопределенного возраста, которое он очень любит и о котором гордо говорит, поглаживая его протершиеся и обтрепавшиеся рукава: "Невероятно, но факт! Оно у меня с тех пор, когда я

еще был студентом в Холиуэлле".

Марта и Клотильда провели на кухне настоящее дознание: они убеждены, что он не заботится о себе, и это их страшно нервирует и волнует. У них были такие лица, как у шокированных старых дев, и я чуть не расхохоталась, когда они мне сообщили (я и без них это отлично знала), что он ест только черный хлеб, картошку и соевый творог, "Иосифу приказано варить котелок картошки, — промяукала Клотильда, — и класть ее в плетеную корзинку, а когда он голоден, он ест холодную картошку, макая ее в соевый творог. И очень часто картошка прокисает, прежде чем он доест всю корзину". — "Ужасно, не правда ли? — ответила я резко. — Но некоторые желудки никогда не знали хорошей пищи, им вовсе нетрудно обходиться без нее". — "Да, преподобная мать", — пробормотала Клотильда, вспыхнув, и удалилась.

Она согласилась бы на целую неделю епитимьи, лишь бы увидеть, что он хоть раз съел хороший горячий обед. О, Эрнест, ты знаешь, как я ненавижу примерных, виляющих хвостами монахинь, которые в присутствии священника закатывают белки и тают в подбострастном экстазе. Никогда, никогда я не опущусь до этого. Я поклялась в этом в Кобленце, когда постригалась, потом в Ливерпуле, и я сдержу свою клятву... даже в Байтане. Но соевый творог! Ты никогда не столкнешься с ним. Это жидкая розоватая паста, отдающая застоявшейся водой и древесными опилками!"

Неожиданный звук заставил ее поднять голову.

— Эрнест... Это невероятно... дождь идет...

Она бросила писать, словно не в силах продолжать, и медленно положила перо. Потемневшими недоверчивыми глазами мать Мария-Вероника смотрела на дождь, стекавший по оконному стеклу, подобно тяжелым слезам.

Спустя две недели дождь все еще шел. Тусклые небеса были, как открытые шлюзы, из которых непрерывно лило. Крупные капли вырывали ямки в пожелтевшем снегу. Он казался вечным... этот снег. Громадные смерзшиеся пласты его, набирая непредвиденную скорость, соскальзывали с церковной крыши и шлепались, вздымая брызги, в талый снег. Ручейки дождя стремительно бежали по серовато-коричневому снежному месиву и прокладывали в нем канавки, при этом они подмывали снизу сугробы, которые медленно бултыхались в несущийся под ними поток. Вся миссия превратилась в слякотную трясиину. Потом появился первый кусочек коричневой земли, — он был не менее значителен, чем вершина Арарата. Затем показались другие такие же кусочки, они росли, сливались вместе,

образуя ландшафт из выцветшей травы и покрытой струпьями голой земли, изломанной и изрытой наводнением.

Крыши миссии, наконец, не выдержали и непрерывно протекали. С карнизов вода лила водопадами. Дети, зеленые и несчастные, сидели в классной комнате, а сестра Марта подставляла ведра туда, где текло сильнее. Клотильда, совсем простуженная, во время уроков сидела под зонтом старшей сестры. Легкая почва сада не могла противостоять объединенной силе дождя и таяния снега. Ее смывало с холма в желтое неистовство, в котором плавали вырванные с корнем кусты олеандров. Испуганные карпы из рыбного садка устремились в поток. Деревья тоже медленно подмывало. Один тягостный день шелковицы и катальпы^[47] стояли прямо на своих обнаженных корнях, словно на выпущенных мертвенно-бледных щупальцах, потом медленно свалились. За ними последовали белые шелковицы, затем прелестные цветущие сливы. В тот же день была смыта нижняя стена. Только закаленные кедры да громадная индийская смоковница стояли среди мутного грязного опустошения.

Накануне приезда каноника Мили отец Чисхолм, идя на вечернее богослужение для детей, с тяжелым сердцем осматривал мрачную картину разоренья. Он повернулся к Фу, садовнику, стоявшему рядом с ним.

— Я так хотел оттепели. Господь наказал меня, послав ее.

Фу, подобно большинству садовников, не отличался жизнерадостностью.

— Великий Шанфу, который приедет к нам из-за моря, очень плохо будет думать о нас. Ах! Если бы он видел, как цвели мои лилии прошлой весной!

— Ну, не будем унывать, Фу. Все это еще можно исправить.

— Все мои растения погибли, — хмуро сказал Фу, — нам придется все начинать сначала.

— Такова жизнь... начинать сначала, когда все погибло! Несмотря на свои увещевания, Фрэнсис, входя в церковь,

чувствовал глубокую угнетенность. Он опустился на колени перед освещенным алтарем. Ему казалось, что сквозь шум дождя, упорно барабанившего по крыше, сквозь детские дисканты, певшие *Tantum ergo*, он слышит бормотанье воды под собой. Но звук текущей воды уже давно стал привычным эхом в его ушах. Его страшно угнетал жалкий вид, в котором миссия предстанет завтра перед его гостем. Фрэнсис постарался отбросить эти мысли, как навязчивую идею.

Когда служба кончилась, и Иосиф задул свечи и ушел из ризницы, он медленно прошел в придел. Там висел влажный туман. Сестра Марта

повела детей ужинать, но старшая сестра и Клотильда все еще молились, коленапреклоненные на сырых досках. Отец Чисхолм молча прошел мимо них, потом вдруг резко остановился. Насквозь простуженная Клотильда являла собой жалкое зрелище, а губы Марии- Вероники были сведены холодом. Он с какой-то необыкновенной внутренней убежденностью почувствовал, что ни одной из них нельзя позволить остаться здесь. Фрэнсис вернулся к ним и сказал:

— Простите, но я сейчас буду запираю церковь.

Обе в замешательстве молчали — это было совершенно не в его духе. Монахини казались удивленными, но, не говоря ни слова, послушно поднялись и пошли впереди него к выходу. Он запер двери и последовал за ними сквозь струящийся сумрак.

Мгновение спустя какой-то странный звук остановил их — низкий рокот, нарастающий, как раскат подземного грома. Сестра Клотильда вскрикнула. Фрэнсис повернулся и увидел, что стройное здание церкви движется. Блестя и отсвечивая от влаги, она грациозно покачнулась в угасающем свете, потом, подобно сопротивляющейся женщине, пала. От ужаса у него остановилось сердце. С раздирающим грохотом подмытый фундамент разрушился. Одна сторона осела внутрь, шпиль на крыше с треском отломился, все остальное превратилось в ужасающее зрелище разваливающихся бревен и бьющегося вдребезги стекла. И вот его церковь, его прелестная церковь, уже лежит, распавшаяся в ничто, у его ног.

Оглушенный болью, он с минуту стоял, как вкопанный, потом побежал к обломкам крушения. Но алтарь превратился в щепки, дарохранительница была раздавлена балкой. Отец Чисхолм не мог спасти Святые Дары. А его облачение, драгоценная память отца Рибьеру, было разодрано в клочья. Стоя с обнаженной головой под проливным дождем, он слышал сквозь испуганное перешёптывание монахинь причитания сестры Марты:

— Почему... почему... почему это свалилось на нас?! — стонала она, ломая руки. — Милостивый Господи! Какое худшее несчастье мог бы Ты послать нам?

Отец Чисхолм, не мог сдвинуться с места, ноги его как будто приросли к земле, он пробормотал, стараясь поддержать скорее свою веру, чем ее:

— Случись это на десять минут раньше... всех нас убило бы. Делать было нечего. Они покинули обломки, оставив их темноте и дождю.

На следующий день ровно в три часа прибыл каноник Мили. Из-за бурливости вздувшейся от дождей реки его джонка встала на якорь в заводи, в пяти ли ниже Байтаня. Достать носилки было невозможно, было

только несколько тачек с длинными, как у плуга, ручками и с цельными деревянными колесами; этими тачками со времени чумы пользовались немногие из уцелевших рикш для перевозки пассажиров.

Для Мили, как человека, облеченного высоким саном, создавалось трудное положение. Но другого выбора не было. Каноник был весь забрызган грязью, ноги его свисали с тачки и болтались, так он и добрался до миссии.

Для встречи гостя сестра Клотильда, репетировала с детьми приветственную песню, дети должны были при этом махать маленькими флажками. Однако встречу пришлось отменить. Стоявший на наблюдательном посту на балконе отец Чисхолм поспешил к калитке, едва заведя Ансельма.

— Мой дорогой отец! — закричал Мили, разминая затекшие члены и сердечно сжимая обе руки Фрэнсиса. — Это мой счастливейший день за многие месяцы — снова увидеть тебя. Я говорил тебе, что непременно когда-нибудь проникну на Восток. А сейчас, когда весь мир интересуется страдающим Китаем, было просто необходимо претворить мою решимость в действие! — он резко оборвал разговор — глаза его через плечо Фрэнсиса увидели картину разрушения.

— Что такое... я не понимаю. Где же церковь?

— Ты видишь все, что от нее осталось.

— Но это же такая неприятность... ты же писал о прекрасном здании.

— Мы понесли некоторые потери, — спокойно сказал Фрэнсис.

— Ну, знаешь... это поистине непостижимо... это в высшей степени... Фрэнсис перебил его с гостеприимной улыбкой:

— Когда ты примешь горячую ванну и переоденешься, я тебе все расскажу.

Часом позже, розовый после ванны, в новой шелковой сутане, Ансельм с обиженным выражением лица сидел, помешивая суп.

— Должен сознаться тебе, что это величайшее разочарование в моей жизни... приехать сюда, на самый край света...

Он отхлебнул суп, вытягивая к ложке пухлые поджатые губы. За эти годы Мили располнел. Теперь это был крупный, широкоплечий, преисполненный достоинства холеный мужчина, с большими подвижными руками, которые становились то дружескими, то величественно-важными, в зависимости от его желания. Кожа его по-прежнему была гладкой, а глаза по-детски ясными.

— А я так хотел отслужить торжественную мессу в твоей церкви, Фрэнсис. Должно быть, фундамент был плохо заложен.

— Вообще-то просто чудо, что он хоть как-то был заложен.

— Глупости! У тебя была уйма времени, чтобы устроиться здесь. Что я должен, скажи ради Бога, сказать им дома? — он издал короткий меланхолический смешок. — Я даже обещал прочесть им лекцию в Лондонском отделении Общества иностранных миссий — "Миссия святого Андрея, или Бог во тьме Китая". Я привез мой Цейс, чтобы сделать снимки для волшебного фонаря. Это ставит меня... всех нас... в неловкое положение...

Наступило молчание.

— Конечно, я знаю, что у тебя были трудности, — продолжал Мили, в котором досада боролась с раскаянием, — но у кого их нет? Уверяю тебя, что у нас их тоже хватает. Особенно в последнее время, когда мы разделились на два отделения... после смерти епископа Мак-Нэбба.

Отец Чисхолм замер от боли.

— Он умер?

— Да, да, старик скончался, наконец. Пневмония, в марте месяце. Но он уже сильно сдал, был страшным путаником и со странностями, для всех нас было просто облегчением, когда он скончался, очень тихо. Теперь епископом назначен отец Тэррент. Он пользуется большим успехом.

Снова возникло молчание. Отец Чисхолм поднял руку и прикрыл глаза. Рыжий Мак умер... Невыносимой болью воспоминания нахлынули на него: тот день на реке, великолепная семга: эти добрые, мудрые, пронизательные глаза; теплота этих глаз, когда Фрэнсис так терзался в Холиуэлле; спокойный голос в кабинете в Тайнкасле перед его отъездом в Китай: "Не переставай бороться, Фрэнсис, за Бога и за добрую старую Шотландию".

Ансельм рассуждал, с дружеским великодушием не обращая внимания на состояние Фрэнсиса:

— Ну, полно, полно. Мы должны смотреть в лицо фактам, я полагаю. Теперь, когда я здесь, я сделаю все, что могу, чтобы облегчить твое положение. У меня большой организационный опыт. Тебе, может быть, будет небезынтересно послушать как-нибудь, как я поставил наше Общество на ноги. Своими личными просьбами в Лондоне, Ливерпуле и Тайнкасле я собрал тридцать тысяч фунтов — и это только начало.

Он улыбнулся, показывая здоровые зубы.

— Ну, не горюй так, мой дорогой друг. Я ведь не слишком строг и склонен к осуждению... Первым делом надо пригласить к обеду преподобную мать, она, кажется, толковая женщина, и устроить настоящую конференцию круглого стола.

Фрэнсис с трудом оторвался от воспоминаний о милых забытых днях.

— Преподобная мать предпочитает питаться в своем доме.

— Ты просто не приглашал ее как следует, — Мили посмотрел на худощавую фигуру Фрэнсиса с добрым дружеским сожалением. — Бедняга Фрэнсис! Не думаю, чтобы ты понимал женщин. Она придет, будь спокоен, предоставь это мне!

На следующий день Мария-Вероника действительно пришла к обеду. Ансельм был в прекрасном настроении — он великолепно отдохнул за ночь, а утро провел в деятельном осмотре миссии. После посещения школы Мили был настроен благосклонно и приветствовал преподобную мать (хотя расстался с ней пять минут назад) преувеличенно торжественно:

— Это поистине большая честь для нас, преподобная мать. Стаканчик хереса? Нет? А он отличный, уверяю вас... это амонтильядо, — он излучал улыбки. — Может быть, его немного растрясло в дороге, поскольку я привез его из дома... но аромат, подаренный ему Испанией, отрицать не приходится.

Они уселись за стол.

— Ну, Фрэнсис, чем ты нас угостишь? Надеюсь, что никаких тайн китайской кухни, вроде супа из птичьих гнезд или пюре из креветок не будет? Ха-ха-ха!.. — Мили весело расхохотался, беря себе цыпленка. — Хотя должен признаться, что я до некоторой степени увлекаюсь восточной кухней. Когда мы плыли на пароходе, — кстати, это было очень бурное плавание, четыре дня никто не являлся в кают-компанию, кроме вашего покорного слуги, — нам подавали совершенно восхитительное китайское кушанье chow-mein.

Мать Мария-Вероника подняла опущенные на скатерть глаза.

— Разве chow-mein — китайское кушанье? Это скорее американский вариант китайского обычая собирать все остатки и готовить из них.

Мили смотрел на нее, слегка приоткрыв рот.

— Моя дорогая преподобная мать! Chow-mein... Как... — он посмотрел на Фрэнсиса, ища поддержки, не нашел ее и снова рассмеялся.

— Во всяком случае, я сжевал^[48] мою порцию, уверяю вас... Ха- ха!

Повернувшись, чтобы дотянуться до блюда с салатом, которое подносил ему Иосиф, он продолжал:

— Нет, оставив в стороне пищу, Восток влечет к себе и чарует непреодолимо. Мы, жители Запада, склонны считать китайцев низшей расой. Но я, например, готов пожать руку любому китайцу, лишь бы он верил в Бога и... карболовое мыло!

Отец Чисхолм бросил быстрый взгляд на Иосифа — его лицо было

непроницаемо, только ноздри слегка раздулись.

— А теперь... — Мили вдруг замолчал, и его манеры стали величаво-торжественными. — У нас важные дела на повестке дня. Преподобная мать, наш отец-настоятель миссии, когда был мальчишкой, постоянно устраивал мне какие-нибудь каверзы, а теперь моя задача выручить его из этой переделки!

Никаких определенных результатов их конференция не дала, кроме скромного перечня достижений Ансельма на родине.

Освободившись от работы в приходе, он целиком отдался трудам, посвященным миссиям, помня, что папа Римский особенно предан распространению веры и всегда охотно поощряет самоотверженных работников, посвятивших себя его любимому делу.

Вскоре Мили завоевал признание. Он начал разъезжать по стране и произносить страстные, красноречивые проповеди в крупных английских городах. У него был настоящий талант приобретать друзей, он не пренебрегал ни одним знакомством, хоть сколько-нибудь ценным. По возвращении из Манчестера или Бирмингема Ансельм садился и писал множество очаровательных писем, благодаря одного за восхитительный обед, другого за щедрое пожертвование в Фонд иностранных миссий. Скоро его корреспонденция стала столь обширна, что пришлось брать секретаря.

Вскоре и в Лондоне Мили стали считать незаурядным гостем. Его дебют с кафедры Вестминстерского собора был эффектен. Он всегда был дамским кумиром, теперь же был принят в избранном кругу богатых старых дев, коллекционирующих в своих роскошных домах кошек и священников. У него всегда были обворожительные манеры. В том же году его приняли в члены клуба "Атенеум". А неожиданно быстро раздувшиеся мешки с деньгами Фонда иностранных миссий вызвали чрезвычайно милостивые знаки одобрения из самого Рима.

Когда Ансельм стал самым молодым каноником в Северной Епархии, почти никто не завидовал его успеху. Даже циники, приписывающие бурную карьеру Мили повышенной активности щитовидной железы, признавали его деловую хватку. К тому же он был совсем не глуп. Ансельм отлично разбирался в цифрах и умел обращаться с деньгами. За пять лет он основал две новые миссии в Японии и семинарию для китайцев в Нанкине. Новое отделение Общества иностранных миссий в Тайнкасле было внушительно, деятельно и совершенно свободно от долгов.

Короче говоря, жизнь удалась Ансельму. А теперь, с епископом Тэррентом около него, он вполне мог рассчитывать, что его

превосходнейшая работа будет процветать все больше.

Через два дня после официальной встречи Мили с Фрэнсисом и преподобной матерью дождь перестал, и бледное солнце послало своих первых, робких разведчиков к забытой им земле. Настроение Ансельма поднялось. Он, шутя, сказал Фрэнсису:

— Я привез с собой хорошую погоду. Некоторые люди гоняются за солнцем, а солнце гоняется за мной.

Ансельм извлек свою камеру и начал делать бесчисленные снимки. Энергия его была потрясающая. Он вскакивал утром с постели с криком: "Бой, бой", — это он звал Иосифа приготовить ему ванну. Затем Мили служил мессу в классной комнате и после обильного завтрака отправлялся на прогулку в тропическом шлеме, с толстой палкой в руках, с камерой, качающейся у него на бедре. Он совершал много экскурсий и даже рылся осторожно на пепелищах пораженного чумой Байтаня в поисках сувениров. Каждый раз, созерцая мрачные сцены опустошения, Ансельм благочестиво бормотал: "Рука Господня!" Часто он застывал на месте у городских ворот, останавливая своего спутника драматическим жестом: "Подожди! Я должен это снять!"

В воскресенье Мили вышел к завтраку в весьма приподнятом настроении.

— Мне только что пришла в голову мысль, что я все-таки смогу прочитать эту лекцию. Описать Опасности и Трудности, стоящие на пути Миссионера. Работа среди чумы и наводнения. Сегодня утром я сделал великолепный снимок с руин церкви. Какой из него получится слайд! А титр сделать: "Бог наказует тех, кого любит". Это будет превосходно, не правда ли?

Но накануне отъезда манеры Ансельма изменились, и когда он заговорил с Фрэнсисом, сидя на балконе после ужина, тон его был очень официален.

— Я должен поблагодарить тебя, Фрэнсис, за гостеприимство, оказанное путнику. Но я недоволен твоими делами. Я не могу себе представить, как ты отстроишь церковь. Общество не может дать тебе денег на это.

— Я не просил об этом.

— Напряжение последних двух недель начинало сказываться на Фрэнсисе, и его самообладание почти истощилось.

Мили пронзил собеседника взглядом.

— Если бы только ты имел больше успеха у зажиточных китайцев, у богатых купцов. Если бы только твой друг, господин Чиа, узрел свет.

— Он не узрел, — сказал отец Чисхолм с несвойственной ему резкостью. — И он уже щедро жертвовал нам. Я больше не попрошу у него ни таля.

Ансельм с досадой пожал плечами.

— Это, конечно, твое дело. Но я должен сказать тебе откровенно — я серьезно разочарован твоей работой в миссии. Возьми хотя бы количество обращений. Оно не идет ни в какое сравнение со статистическими данными других миссий. Мы делаем у себя график, и твоя миссия занимает последнее место в диаграмме.

Отец Чисхолм, крепко сжав губы, ответил иронически:

— Я полагаю, что миссионеры обладают различными индивидуальными способностями.

— И различным энтузиазмом, — рассердился Ансельм, почувствовав насмешку. — Почему ты упорно отказываешься от катехизаторов? Это общепринято. Если бы у тебя было хоть три активных человека, которым ты платил бы по сорок талей в месяц, то тысяча обращений обошлась бы тебе в каких-нибудь полторы тысячи китайских долларов!

Фрэнсис ничего не ответил. Он неистово молился о том, чтобы не потерять власти над собой, чтобы снести это унижение, как нечто заслуженное им.

— И ты не поддерживаешь свой декорум, — продолжал Мили. — Ты живешь слишком убого. А ты должен производить впечатление на туземцев, держать носилки, слуг, быть больше на виду.

— Ты заблуждаешься, — сказал Фрэнсис. — Китайцы ненавидят показуху. Они называют ее цимянь. А священников, которые прибегают к ней, презирают.

Ансельм вспыхнул от гнева.

— Я полагаю, что ты имеешь ввиду их собственных низких языческих священников?

— Какое это имеет значение? — отец Чисхолм чуть улыбнулся. — Многие из них хорошие и благородные люди.

Наступило натянутое молчание. Ансельм, окончательно шокированный, натянул пальто.

— После этого говорить уже не о чем. Должен сознаться, что твоя позиция меня глубоко огорчает. Она смущает даже преподобную мать. С самого моего приезда мне совершенно ясно, какие между вами разногласия, — он встал и ушел в свою комнату.

Фрэнсис еще долго сидел в сгущающемся тумане. Эти последние слова задели его больнее всего: значит, его предчувствие подтвердилось.

Теперь он не сомневался, что Мария-Вероника подала просьбу о переводе.

На следующее утро каноник Мили должен был уехать. Он возвращался в Нанкин, чтобы провести неделю в викариате, а затем отправиться в Нагасаки инспектировать шесть японских миссий. Его чемоданы были упакованы, носилки для доставки к джонке ждали, он уже распрощался с сестрами и детьми.

Теперь, одетый для путешествия, в солнечных очках, с куском зеленого газа, спускающимся со шлема, Ансельм стоял в передней, прощаясь с отцом Чисхолмом.

— Ну, Фрэнсис! — Мили протянул руку, словно нехотя даруя ему прощение. — Мы должны расстаться друзьями. Не всем дано хватать звезды с неба. Я думаю, что ты действовал из лучших побуждений. — Он выставил грудь вперед. — Странно! Мне не терпится отправиться дальше. Страсть к путешествиям у меня в крови. До свидания! Au revoir! Auf Wiedersehen! И последнее, но не менее важное — да благословит тебя Бог!

Спустив противомоскитную сетку, Мили залез в носилки. Носильщики, сгибаясь под тяжестью и охая, подняли его и тронулись, шаркая ногами. У покосившихся ворот миссии выглянул из носилок и прощально помахал белым носовым платком.

На закате отец Чисхолм вышел пройтись и, задумавшись, очутился среди развалин церкви. Был его любимый час — час подкрадывающихся сумерек и далеко разлившейся тишины. Он уселся на обломке каменной глыбы, думая о своем старом учителе — почему-то он всегда видел Рыжего Мака глазами школьника — и вспоминая его призывы к мужеству. Сейчас в нем было мало мужества. Эти последние две недели непрерывных усилий над собой, чтобы терпеливо переносить покровительственный тон своего гостя, совершенно опустошили его. Но может быть, Ансельм был прав. Разве не был он и в самом деле неудачником и в глазах Бога, и в глазах людей. Он так мало сделал. И это малое, сделанное с таким трудом и такое несовершенное, было почти уничтожено. Как же ему быть дальше? Томительная безнадежность охватила его. Сидя неподвижно, с опущенной головой, он не услышал шагов у себя за спиной. Матери Марии-Веронике пришлось окликнуть его.

— Я не помешаю вам?

Отец Чисхолм изумлено посмотрел на нее.

— Нет, нет... как видите, — он болезненно улыбнулся, — я ничего не делаю.

Наступило молчание. В неясном сумеречном свете ее лицо заливалось бледностью. Отец Чисхолм не мог видеть нервного тика у нее на щеке, но

он чувствовал какую-то странную напряженность ее фигуры. Она сказала бесцветным голосом:

— Мне надо поговорить с вами.

— Да?

— Несомненно, вам будет унизительно слушать меня, но я должна сказать вам. Я... Простите меня.

Слова, сначала выдавливаемые насильно, потом полились беспорядочным потоком, набирая скорость.

— Я горько, я мучительно сожалею о своем поведении в отношении вас. С первой нашей встречи я вела себя постыдно, греховно. Во мне сидит дьявол гордыни. Он всегда был во мне, еще с самого раннего детства, когда я бросала вещи в голову моей няни. Вот уже столько недель я хочу прийти к вам, сказать вам... но моя гордыня, моя упорная злоба не пускала меня. Эти последние десять дней я плакала о вас в душе. Это третирование, эти унижения, которые вы терпели от грубого, светского, приверженного к земным благам священника, который недостойн развязать вам ботинки. Отец, я ненавижу себя — простите, простите меня...

Ее голос оборвался, она припала к земле и зарыдала, закрыв лицо руками.

Все краски в небе поблекли, только за вершинами гор светился еще зеленоватый отблеск вечерней зари. Он быстро угас, и милосердный сумрак окутал их. Прошло какое-то время, одинокая слеза скатилась по ее щеке.

— Теперь вы не покинете миссию?

— Нет, нет... — у нее разрывалось сердце, — если вы позволите мне остаться. Я никогда не знала никого, кому я так хотела бы служить. Я никогда не знала души лучше, возвышеннее вашей.

— Шшш... дитя мое. Я бедное и ничтожное создание... Вы были правы... я простой человек...

— Отец, сжальтесь надо мной... — земля приглушала ее рыдания.

— А вы — знатная дама. Но в глазах Бога мы оба с вами дети. Если мы сможем работать вместе и помогать друг другу...

— Я буду помогать вам, чем только смогу. Одно я, во всяком случае, могу сделать. Мне ничего не стоит написать брату. Он отстроит заново нашу церковь... восстановит миссию. Он очень богат, он с радостью сделает это. Если только вы поможете мне, поможете мне побороть мою гордыню.

Они долго молчали. Ее рыдания стали затихать. Великое тепло переполнило его сердце. Он взял ее за руку, чтобы поднять с земли, но она

не хотела вставать. Тогда он встал на колени рядом с ней и, не молясь, стал смотреть в чистую мирную ночь. Оттуда, из этой ночи, сквозь века, тоже стоя на коленях среди теней сада, смотрел на них другой бедный и простой человек.

7

Было солнечное летнее утро 1912 года. Отец Чисхолм отделял воск от собранного меда. Его мастерская в конце огорода, построенная в баварском стиле — опрятная, целесообразная, с ножным токарным станком и аккуратно разложенными по полкам инструментами — была для него и сейчас таким же источником удовольствия, как в тот день, когда мать Мария-Вероника протянула ему ключ от нее. Сейчас она была полна сладким запахом тающего мёда, громадная миска которого выделялась на полу желтым озером среди свежих стружек. На скамейке стояла плоская кастрюля застывающего рыжевато-коричневого воска, из которого завтра он будет делать свечи. И какие свечи! — ровно горящие и душистые — даже в соборе святого Петра не найти таких!

Со вздохом удовлетворения Фрэнсис вытер лоб, его короткие ногти были заляпаны воском. Потом, подняв на плечо большой кувшин меда, он толчком открыл дверь и пошел через сад. Фрэнсис был счастлив. Просыпаясь утром, когда скворцы щебетали на карнизах и прохладная утренняя роса еще лежала на траве, он думал, что не может быть большего счастья, чем работать — много руками, меньше головой, но больше всего сердцем — и жить, просто, так, как он живет, близко к земле, которая никогда не казалась ему далекой от неба.

Провинция процветала, и народ, забывая о наводнении, чуме и голоде, пребывал в мире. Пять лет прошло с тех пор, как миссия, благодаря щедрости графа Эрнеста фон Гогенлоэ, была отстроена заново. Теперь она скромно благоденствовала. Церковь была больше и прочнее первой. Отец Чисхолм построил ее основательно, без лепных работ и штукатурки, по образцу монастырей, которые королева Маргарита строила в Шотландии сотни лет назад. Классическая и строгая, с простой колокольной и нефами, поддерживаемыми сводчатыми арками, она все больше и больше нравилась ему своей простотой. В конце концов, новая церковь стала нравиться ему еще больше той, первой. И она-то уж была надежной.

Школа была расширена, к ней пристроили новый детский дом.

Покупка двух примыкающих орошаемых полей позволила создать при усадьбе образцовую маленькую ферму со свинарником, коровником и загородкой для кур, где гордо расхаживала Марта, в деревянных башмаках, с подоткнутым подолом, разбрасывая зерно и счастливо клохча по-фламандски.

Теперь его паства состояла из двух сотен преданных душ, из которых ни одна не преклоняла колени перед алтарем по принуждению. Приют для сирот увеличился втрое, и его терпеливое предвидение начало приносить первые плоды. Старшие девочки помогали сестрам с малышами, некоторые вступили в новициат, другие скоро должны были выйти в мир. А прошлым Рождеством он выдал замуж старшую, девятнадцатилетнюю девушку, за молодого крестьянина из деревни Лиу. Когда недавно отец Чисхолм был там — это была веселая, удачная поездка, из которой он вернулся только на прошлой неделе — молодая жена опустила голову и сказала, что он должен вскоре вернуться, чтобы совершить еще одно крещение.

Отец Чисхолм переместил тяжелый мед на другое плечо — маленький, сутулый человек сорока трех лет начинающий лысеть, с уже дающим о себе знать суставным ревматизмом. Ветка жасмина хлестнула его по лицу. Редко сад бывал так прекрасен. Этим он тоже был обязан Марии-Веронике. Хоть у него и были довольно искусные руки, но в садоводстве Фрэнсис ничего не смыслил. Зато у преподобной матери неожиданно проявился талант выращивать цветы. Из ее родной Германии прибыли семена и пучки саженцев, заботливо укутанные в мешковину. Письма Марии-Вероники с просьбой прислать черенок того или другого растения летели в знаменитые сады Кантона и Пекина, подобные его быстрым, назойливым белым голубям. И эта красота, это пронизанное солнцем святилище, полное щебета и жужжанья, — все это дело ее рук.

Их дружба была чем-то похожа на этот драгоценный сад. Во время своих вечерних прогулок он обыкновенно находил ее здесь, — поглощенная своим делом, в грубых перчатках, она срезала крупные белые пионы, которые росли здесь в такой изобилии, поправляла склонившиеся стебли, поливала золотистые азалии. Они коротко обсуждали неотложные дела, а иногда и вовсе не говорили. Когда в саду начинали бесшумно летать светлячки, они расходились каждый своим путем.

Отец Чисхолм приблизился к верхним воротам и увидел детей, идущих парами через усадьбу на обед. Он улыбнулся и заспешил. Дети усаживались за длинным низким столом в новой пристройке к спальне — две дюжины маленьких иссиня-черных головок и блестящих желтых мордашек, — с Марией-Вероникой на одном конце и Клотильдой на

другом. Марта с помощью послушниц-китаянок разливала дымящуюся рисовую похлебку в целую батарею голубых мисочек. Анна, его найденыш из снежного сугроба, теперь красивая девушка, раздавала мисочки с присущей ей мрачноватой сдержанностью.

При появлении отца Чисхолма шум затих. Он бросил стыдливый мальчишеский взгляд на преподобную мать, прося снисхождения, и торжествующе поставил кувшин с медом на стол.

— Сегодня у нас свежий мед, дети! Только, — вот жалость какая! — я уверен, что никто не хочет его!

Сейчас же раздался пронзительный крик протеста, словно подняли болтовню маленькие обезьянки. Подавляя улыбку, Фрэнсис меланхолично кивнул головой самому младшему — торжественному мандарину трех лет, который сидел, заглатывая свою похлебку, мечтательно покачиваясь и ерзя маленьким мягким задочком по скамейке.

— Я просто не могу поверить, чтобы хорошему ребенку нравилась такая гадость! Скажи мне, Симфориен, — ужас какие звучные имена святых ухитрялись выискивать новообращенные для своих детей. — Скажи мне, Симфориен... неужели ты не предпочел бы поучить катехизис, вместо того чтобы поесть меду?

— Меду! — ответил Симфориен мечтательно.

Он уставился на морщинистое загорелое лицо, склонившееся над ним. Потом, удивленный собственной смелостью, разразился слезами и упал со скамейки. Смеясь, отец Чисхолм поднял ребенка.

— Ну, ну, полно! Ты хороший мальчик, Симфориен. Бог любит тебя. А за то, что ты сказал правду, ты получишь двойную порцию меду.

Он почувствовал укоризненный взгляд Марии-Вероники. Сейчас она пойдет за ним к двери и скажет шепотом: "Отец... мы должны помнить о дисциплине!" Но сегодня каким далеким казалось ему то время, когда он стоял за дверьми гудевшего голосами класса, смущенный и несчастный, и боялся войти: такой недружелюбно-замораживающей становилась при его появлении атмосфера в классе, — сегодня ничто не могло помешать ему баловать детей. Его привязанность к ним всегда доходила до абсурда. Отец Чисхолм говорил, что это его привилегия патриарха. Как он и ожидал, Мария-Вероника вышла с ним из комнаты, но хотя лицо ее было необычайно хмуро, она не сделала ему даже мягкого упрека. Вместо этого она, немного поколебавшись, сказала:

— Сегодня утром Иосиф рассказал мне нечто странное.

— Да. Этот мошенник хочет жениться... вполне естественно. Но он прожжужал мне все уши разговором о красотах и удобствах сторожки,

которую надо построить у ворот миссии... нет, конечно, не для Иосифа его и жены... исключительно для пользы миссии...

— Нет, тут дело не в сторожке, — она не улыбочиво закусил губу. — Строительство идет в другом месте, на Улице Фонарей, — вы знаете этот великолепный участок в центре — и в больших, несравненно больших масштабах, чем что-либо сделанное нами здесь. — она говорила с необыкновенной горечью. — Прибыло множество рабочих и целые баржи белого камня из Сэньсяна. Абсолютно все. Уверяю вас, что только американские миллионеры могут тратить такие средства. Скоро мы получим лучшее заведение в Байтане, со школами для мальчиков и девочек, площадкой для игр, общедоступной рисовой кухней, бесплатной амбулаторией и больницей с живущим при ней врачом. Она замолчала, глядя на него полными слез глазами.

— Какое заведение? — Фрэнсис говорил автоматически, ошеломленно предчувствуя ее ответ.

— Другая миссия. Протестантская. Американские методисты.

Они долго молчали. Будучи уверенным в отдаленности своей миссии, он никогда даже не думал о возможности такого вторжения. Клотильда позвала старшую сестру в столовую.

Отец Чисхолм остался один в тягостном раздумье, затем медленно направился к своему дому. Сияющее утро померкло. Что случилось с его средневековой крепостью? Мгновенно перенесясь в детство, он испытал то же чувство несправедливой обиды, как иногда, когда они собирали ягоды и какой-нибудь другой мальчишка обирал его секретный, лично им найденный куст. Отец Чисхолм знал, какую ненависть друг к другу проявляют соперничающие миссии. Знал безобразные зависть и подозрения и уж, конечно, пререкания по вопросам доктрины, обвинения и контробвинения, хриплые взаимные обличения, из-за которых христианская вера представлялась терпимым китайцам какой-то адской вавилонской башней, где все кричат во всю силу легких: "Смотрите, вот оно! Вот!" Но где? Увы! там не было ничего, кроме ярости, шума и омерзения.

У себя дома он нашел Иосифа. С пыльной тряпкой в руке тот слонялся по передней, делая вид, что работает, — ему не терпелось сообщить плачевные новости.

— Отец уже слышал о прибытии этих отвратительных американцев, поклоняющихся фальшивому Богу?

— Замолчи, Иосиф! — резко ответил священник. — Они поклоняются не фальшивому Богу, а тому же истинному Богу, что и мы. Если ты еще

когда-нибудь так скажешь, ты никогда не получишь своей сторожки.

Иосиф удалился бочком, ворча себе под нос. Днем отец Чисхолм спустился в Байтань на Улицу Фонарей и собственными глазами увидел подтверждение роковых новостей. Да, строительство новой миссии началось. Она быстро росла под руками многочисленных каменщиков, плотников и чернорабочих. Он наблюдал за цепочкой рабочих, которые, покачиваясь на узких длинных досках, таскали корзины лучшей сучинской глазури. Фрэнсис видел, что размах работ был поистине царским.

Он застыл на месте, погруженный в свои мысли, и вдруг заметил рядом с собой господина Чиа. Отец Чисхолм спокойно приветствовал старого друга. Они поговорили о хорошей погоде, о процветании торговли. Фрэнсис почувствовал в манере купца большую, чем обычно, сердечность.

Вдруг, соблюдая все необходимые приличия, господин Чиа невинно заметил:

— Приятно наблюдать, как добродетель все возрастает, хотя многие, пожалуй, сочтут это уже излишеством. Что касается меня, я получаю большое наслаждение, гуляя в садах другой миссии. Более того, когда отец прибыл сюда много лет тому назад, он был очень плохо принят, — господин Чиа деликатно и с намеком замолчал. — Однако даже такому маловлиятельному и занимающему низкое положение человеку, как я, кажется весьма вероятным, что новые миссионеры, приехав сюда, могут встретиться с таким отвратительным отношением к себе, что они, к великому сожалению, вынуждены будут уехать.

Отец Чисхолм вздрогнул — невероятное искушение завладело им. Двусмысленность слов купца, их скрытый подтекст были значительнее самых страшных угроз. Господин Чиа искусно и тайно осуществлял громадную власть в округе. Фрэнсис знал, что стоит ему ответить, рассеянно глядя в пространство: "Конечно, было бы очень печально, если бы какое-нибудь несчастье случилось с миссионерами, которые приедут... но кто может воспрепятствовать воле небес!?" — и угрожающее его миссии нашествие было бы обречено. Но он отпрянул от этой мысли, ненавидя себя за нее. Чувствуя, что на лбу у него проступил холодный пот, Фрэнсис ответил, как можно спокойнее:

— Многие ворота ведут к небесам. Мы входим в одни, эти новые проповедники в другие. Как можем мы отрицать за ними право осуществлять добро по-своему? Если они хотят приехать, пусть приезжают.

Он не заметил, как необычно блеснули вдруг спокойные глаза господина Чиа. Все еще глубоко взволнованный, отец Чисхолм простился с другом и стал подниматься на гору к дому. Очень уставший, он вошел в

церковь и сел перед распятием у бокового алтаря. Глядя в лицо, обрамленное терновым венцом, отец Чисхолм молился в душе о ниспослании ему стойкости, мудрости и терпения.

К концу июня методистская миссия была почти достроена. При всем мужестве отец Чисхолм не мог заставить себя наблюдать за последовательными стадиями строительства, — он угрюмо избегал проходить по Улице Фонарей. Но когда Иосиф, исправно приносивший злые вести, сообщил, что два иностранных дьявола прибыли, Фрэнсис вздохнул, надел свой единственный парадный костюм, взял клетчатый зонтик и принудил себя пойти с визитом.

Он позвонил у двери, и звук колокольчика гулко раздался в пустом новом доме, пахнущем краской и штукатуркой. Прождав в нерешительности с минуту в портике зеленого стекла, отец Чисхолм услышал внутри поспешные шаги, и дверь открыла маленькая увядшая женщина средних лет в серой шерстяной юбке и блузке с высоким воротом.

— Добрый день. Я отец Чисхолм. Я взял на себя смелость зайти, чтобы приветствовать вас в Байтане.

Она нервно вздрогнула, и выражение испуга мелькнуло в ее бледно-голубых глазах.

— О, да. Входите, пожалуйста, Я миссис Фиске. Уилбур... мой муж... доктор Фиске... он наверху. Мы, к сожалению, совсем одни и еще не совсем устроились! — она поспешно прервала его извинения. — Нет, нет, вы должны зайти.

Он поднялся за ней наверх в очень высокую прохладную комнату, где человек лет сорока, чисто выбритый, с коротко подстриженными усами и такой же миниатюрный, как и она, взгромоздясь на стремянку, методично расставлял книги на полках. На его умных близоруких глазах были сильные очки. Мешковатые бриджи придавали трогательность его худым маленьким икрам. Спускаясь со стремянки, он споткнулся и чуть не упал.

— Будь осторожнее, Уилбур, — миссис Фиске взмахнула руками, словно хотела поддержать его. Потом представила мужчин друг другу. — Ну, а теперь, давайте сядем, если сможем... — она тщетно пыталась улыбнуться. — Очень жаль, что мы еще не получили нашу мебель... но в Китае ко всему привыкаешь.

Они уселись. Отец Чисхолм сказал любезно:

— А у вас здесь великолепное здание.

— Да, нам очень повезло. Мистер Чандлер, нефтяной магнат, был очень щедр.

Воцарилось напряженное молчание. Они так мало соответствовали

тревожным ожиданиям священника, что он чувствовал себя застигнутым врасплох. Он и сам был далеко не великаном, но эти Фиске своими крошечными размерами заставляли умолкнуть враждебность, прежде чем она успеет подать голос. Маленький доктор выглядел кротким, даже робким, какая-то умоляющая улыбка скользила около его губ, словно боясь обосноваться на них. Его жена при ближайшем рассмотрении казалась добрым тихим созданием; голубые глаза ее, вероятно, легко проливали слезы, а руки то теребили тонкую золотую цепочку медальона, то поправляли густые каштановые волосы, вьющиеся и покрытые сеткой, которые, как увидел слегка шокированный Фрэнсис, оказались париком.

Вдруг доктор Фиске откашлялся. Он сказал очень просто:

— Как вам должен быть неприятен наш приезд.

— О, нет... совсем нет, — теперь священник в свою очередь выглядел неловко.

— Нам пришлось однажды испытать такое же. Мы были во внутреннем районе страны в провинции Ланхи, — прелестное местечко. Мне хотелось бы, чтобы вы увидели наши персиковые деревья. Девять лет мы там были совсем одни.

Потом приехал еще один миссионер. Нет, — быстро вставил он, — это был не католический священник. Ну, и... мы ужасно негодовали, правда, Агнес?

— Да, дорогой, — она робко кивнула. — И все-таки... мы пережили это. Мы уже ветераны, отец.

— Давно ли вы в Китае?

— Уже больше двадцати лет! Мы поехали сюда безумно молодой парой в день нашей свадьбы. Мы всю свою жизнь посвятили этому, — ее глаза увлажнились, но она тут же весело и ясно улыбнулась. — Уилбур! Я должна показать отцу Чисхолму фотографию Джона.

Агнес встала и с гордостью взяла с каминной полки фотографию в серебряной рамке.

— Это наш мальчик, когда он учился в Гарварде, прежде чем уехать в Оксфорд стипендиатом Родеса^[49]. Да, он все еще в Англии... работает в нашей миссии в поселке докеров в Тайнкасле.

Это название разрушило его натянутую вежливость.

— В Тайнкасле! — он улыбнулся. — Это очень близко от моего дома.

Она смотрела на него, восхищенная, улыбаясь ответно и нежно прижимая фотографию к груди.

— Ну, разве не удивительно! Мир все-таки очень мал, — миссис Фиске проворно водворила фотографию на камин. — Ну, а теперь я

принесу кофе и мои любимые пончики... семейный рецепт, — она снова прервала его протесты. — Это вовсе не обременительно. Я всегда в это время заставляю Уилбура немного закусить. У него не все в порядке с двенадцатиперстной кишкой. Кому же о нем позаботиться, как не мне?

Фрэнсис хотел побыть у них пять минут, а просидел больше часа.

Фиске были уроженцами Новой Англии, из города Бидефорде в штате Мэн, рожденные, воспитанные и поженившиеся в соответствии с принципами их строгой религии. Когда они рассказывали о своей молодости, перед отцом Чисхолмом быстро проносились картины сельской местности: большие соленые реки, текущие среди серебряных берез к туманному морю, белые деревянные дома, что стоят среди темно-красных кленов, тонкая белая колокольня, которая возвышается над деревней, звенящие колокола и темные молчаливые фигуры людей на хрустящей от мороза улице, — словом, все простая и скромная жизнь.

Но Фиске выбрали другой, более трудный путь, на котором им пришлось немало пострадать. Однажды они чуть не умерли от холеры; во время боксерского восстания, когда многие миссионеры были убиты, они просидели шесть месяцев в грязной отвратительной тюрьме, где им каждый день грозила смертная казнь. Их привязанность друг к другу и к сыну была поистине трогательна. При всей своей робости Агнес Фиске была неукротима в материнских заботах о своих мужчинах.

Несмотря на свое трудное прошлое, она была сентиментальной идеалисткой чистой воды. Всю ее жизнь можно было прочесть по множеству нежных сувениров, которые она тщательно хранила. Вскоре Агнес уже показывала Фрэнсису двадцатилетней давности письмо своей дорогой матери с рецептом этих самых пончиков и локон с головы Джона, который она носила в своем медальоне. Наверху в комодке было еще множество подобных драгоценностей: связки пожелтевших писем, высохший свадебный букет, передний зубок ее сына, лента, которую она надевала на биддефордское церковное собрание...

Здоровье миссис Фиске было очень хрупким и в самом непродолжительном времени, как только здесь все будет устроено, она уедет на полгода в отпуск, который проведет в Англии с сыном. Агнесса уже теперь совершенно серьезно настаивала на том, чтобы отец Чисхолм дал ей поручения туда, домой. Когда он, наконец, собрался уходить, она пошла проводить его до калитки. Глаза ее наполнились слезами.

— Я просто не могу вам сказать, какое я испытываю облегчение, как я рада вашей доброте, вашему дружелюбию, вашему приходу... особенно из-за Уилбура. Там, откуда мы приехали, ему пришлось испытать ужасные

неприятности... такую ненависть возбуждали против него... такой фанатизм. Под конец дошло до того, что когда он пошел навестить больного, его сбил с ног и избил до бесчувствия этот молодой зверь... миссионер, обвинявший Уилбура в том, что он ворует бессмертную душу у того больного, — сказала она и, подавив волнение, добавила — Давайте помогать друг другу. Уилбур такой хороший врач. Зовите его в любое время, когда понадобится.

Она пожала ему руку и пошла обратно. Отец Чисхолм шел домой в странном состоянии духа.

Несколько дней Фрэнсис ничего не слышал о Фиске. Но в субботу в миссию святого Андрея доставили грудку домашнего печенья. Когда он принес печенье, еще теплое и завернутое в салфетку в детскую столовую, Марта нахмурилась.

— Что же она думает, эта новая женщина, что мы сами не можем испечь такое же?

— Она старается быть доброй, Марта. И мы тоже должны стараться.

Уже несколько месяцев сестра Клотильда страдала от болезненного раздражения кожи. Какие только примочки не пробовали, начиная с жидкости от солнечных ожогов и кончая карболкой, но все безуспешно. Она так мучительно страдала, что делала даже специальную новену об исцелении. Через неделю отец Чисхолм, увидев, как она трет свои красные, с облезшей кожей, мучительно чешущиеся руки, нахмурился и, поборов внутреннее сопротивление, послал записку доктору Фиске.

Доктор пришел через полчаса. Спокойно осмотрел пациентку в присутствии старшей сестры; не говоря громких слов, похвалил применявшееся лечение; потом приготовил микстуру, которую надо было принимать внутрь каждые три часа, и незаметно ушел. Через десять дней скверная сыпь исчезла и сестра Клотильда стала другим человеком. Но когда первая радость прошла, она пришла на исповедь, терзаемая сомнениями.

— Отец, я так усердно просила Бога... а...

— А вас исцелил протестантский миссионер?

— Да, отец...

— Дитя мое, пусть это не смущает вашу веру. Бог ответил на вашу молитву. Мы все орудия в Его руках... каждый из нас, — он вдруг улыбнулся. — Не забывайте слов старого Лаоцзы: "Религий много, разум один, все мы братья".

В тот же вечер, когда отец Чисхолм гулял в саду, Мария-Вероника сказала почти нехотя:

— А этот американец... оказывается, хороший врач. Он кивнул:

— И хороший человек.

Работа обеих миссий продолжалась без всяких трений. Общим хватало места в Байтане, и каждый старался ничем не ущемить другого. Мудрость решения отца Чисхолма не иметь в своем стаде платных христиан теперь была очевидна. Только один из его прихожан переметнулся на Улицу Фонарей. Он был возвращен оттуда с короткой запиской: "Дорогой Чисхолм! Податель этой записки плохой католик, но будет еще худшим методистом. Всегда Ваш друг в Едином Боге, Уилбур Фиске.

P.S. Если кого-нибудь из ваших надо будет положить в больницу, присылайте. Они не услышат никаких грязных намеков на греховность Борджиа^[50]".

Священник радовался. "Господи, — думал он, — доброта и терпимость — с ними двумя как прекрасна была бы Твоя земля!"

Фиске не выставлял напоказ свою образованность: мало-помалу открылось, что он был археологом и китаеведом первой величины. Доктор посылал недоступные для понимания статьи каким-то неизвестным ученым обществам в Америке. Его хобби был фарфор, а его коллекция "Черное семейство" восемнадцатого века была поистине прекрасна. Как большинство маленьких мужчин, находящихся под властью своих жен, он любил поспорить. Вскоре они с Фрэнсисом подружились настолько, что могли уже вести дебаты — осторожно, очень искусно, а иногда, увы! и с чрезмерным пылом — о некоторых пунктах разногласий между их верованиями. Подчас страсти разгорались так сильно, что противники расставались несколько недовольные друг другом, так как маленький педантичный доктор мог быть очень неприятным, если его вывести из себя, но это быстро проходило.

Однажды после одного из таких споров Фиске встретил священника на улице. Он резко остановился, словно только этого и ждал.

— Мой дорогой Чисхолм, я размышлял о проповеди, которую я однажды слышал из уст Эльдера Каммингса, нашего знаменитого богослова. Вот что он утверждал: "Величайшим злом наших дней является рост Римской церкви, происходящий благодаря гнусным, дьявольским интригам ее священников". Я хотел бы поставить вас в известность, что с тех пор, как я имел честь с вами познакомиться, я считаю, что преподобный Каммингс несет чушь.

Фрэнсис, улыбаясь в предвкушении достойного ответа, покопался в своих богословских книгах и через десять дней, чопорно поклонясь, сказал Фиске:

— Мой дорогой Фиске, в катехизисе кардинала Куэста я нашел, напечатанную черным по белому, следующую просвещающую фразу: "Протестантство является безнравственным учением, хулящим Бога, оно унижает человека и угрожает обществу." Я хочу поставить вас в известность, мой дорогой Фиске, что даже прежде, чем я имел честь с вами познакомиться, я считал высказывания кардинала непростительными, — приподняв шляпу, он торжественно удалился.

Находившийся по соседству китаец подумал, что согнувшийся пополам от смеха маленький чужеземный дьявол методи совсем рехнулся.

Как-то в ветреный осенний день в конце октября отец Чисхолм встретил супругу доктора на Маньчжурском мосту. Миссис Фиске возвращалась с базара, в одной руке она держала плетеную сумку, другой прижимала к голове шляпу.

— О, Господи! — жизнерадостно воскликнула она, — ведь это прямо настоящая буря! Мне в волосы надуло столько пыли, что придется опять мыть голову вечером.

Привыкнув уже к этой ее странности, к этому единственному пятну на безупречной душе, Фрэнсис не улыбнулся. При каждом удобном случае Агнес Фиске невинно старалась выдать свой ужасный парик за роскошную гриву волос. Его даже трогали ее маленькие наивные попытки обмануть.

— Я надеюсь, вы все здоровы.

Она улыбнулась, склонив голову и прочно придерживая шляпу.

— Я-то здоровехонька, а вот Уилбур скис немного — это оттого, что я завтра уезжаю. Он будет так одинок, бедный мальчик. Впрочем, вы-то всегда одиноки, — какая у вас одинокая жизнь! — она помолчала. — Ну, скажите же мне, раз уж я еду в Англию, не могу ли я что-нибудь сделать для вас? Я привезу Уилбуру новое теплое белье, нигде нет такого шерстяного белья, как в Англии. Привезти и вам тоже?

Он, улыбаясь, покачал головой. Потом вдруг странная мысль пришла ему в голову.

— Если вам когда-нибудь будет нечего делать, загляните к моей милой старой тетке в Тайнкасле. Ее зовут мисс Полли Бэннон. Подождите, я сейчас напишу вам ее адрес. Он нацарапал адрес огрызком карандаша на клочке бумаги, оторванной от свертка в ее сумке. Она засунула его в перчатку.

— Передать ей что-нибудь?

— Расскажите ей, как я хорошо живу и как я счастлив... и какое здесь чудесное место. Скажите ей, что, не считая вашего мужа, я самый важный человек в Китае.

Ее глаза засветились теплой лаской.

— Может быть, я расскажу ей больше, чем вы предполагаете. Женщины умеют понимать друг друга. Ну, до свиданья. Смотрите же, заглядывайте иногда к Уилбуру. И берегите себя.

Агнес пожала ему руку и ушла, бедная слабая женщина с железной волей.

Фрэнсис дал себе обещание навестить доктора Фиске. Но недели летели одна за другой, а он никак не мог выкроить свободного часа. Сначала надо было устраивать дом для Иосифа. Когда же маленькая привратницкая была построена, нужно было заниматься приготовлениями к свадебной церемонии и торжественной свадебной мессе. После того как Иосиф с женой были окончательно устроены, отец Чисхолм поехал в деревню Лиу вместе с возвращавшимися со свадьбы отцом и братьями Иосифа. Он давно уже лелеял мечту о создании в Лиу маленького филиала миссии. Поговаривали о том, что через горы Гуан будет проложена большая торговая дорога. Когда-нибудь в будущем у него, может быть, будет молодой помощник — священник, который мог бы работать в этом новом центре в горах. Ему почему-то хотелось начать осуществление своих планов с увеличения посевных площадей деревни Лиу. Для этого надо было договориться со своими тамошними друзьями, чтобы они расчистили, вспахали и засеяли еще 60 му^[51] пахотной земли.

Все эти дела служили Фрэнсису вполне основательным извинением, что не помешало ему почувствовать острый укол совести, когда спустя почти пять месяцев, он неожиданно встретился с Фиске. Впрочем, доктор был в отличном настроении и не мог скрыть радости и какой-то странной игривости, что позволяло сделать только один вывод.

— Да, — он радостно засмеялся, но быстро принял подобающе важный вид. — Да, Вы совершенно правы, миссис Фиске возвращается в начале будущего месяца.

— Я очень рад. Далеконько ей пришлось путешествовать одной.

— Ей повезло. Она нашла себе чрезвычайно подходящую попутчицу.

— Ваша жена очень общительный и дружелюбный человек.

— Да, и у нее большой талант совать нос в чужие дела, — прибавил мистер Фиске. Казалось, он все время подавлял ни с чем не сообразную склонность к хихиканью. — Вы должны прийти и пообедать с нами, когда она приедет.

Отец Чисхолм редко бывал где-нибудь, его образ жизни не позволял ему этого, но теперь чувство раскаяния заставило его принять приглашение.

— Спасибо, я приду.

Через три недели ему напомнила о его обещании каллиграфически выполненная записочка: "Сегодня, обязательно, в половине восьмого".

Не очень-то ему хотелось идти, да и неудобно было — вечерня назначена была на семь часов. Но, перенеся службу на полчаса раньше, он послал Иосифа за носилками — в этот вечер отец Чисхолм отправился во всем блеске.

Методистская миссия была ярко освещена и выглядела необычайно празднично. Он вышел во дворе. Фрэнсис надеялся, что никакого особого торжества не будет и что это не затянется надолго. Он вовсе не был нелюдимом, но жизнь его за эти последние годы как-то все больше сосредоточивалась внутри, и унаследованная от отца шотландская склонность к сдержанности развилась в какую-то странную скованность с чужими.

Отец Чисхолм почувствовал облегчение, когда, войдя в верхнюю комнату, которая была украшена сегодня цветами и гирляндами цветной бумаги, увидел, что в ней нет никого, кроме хозяина и хозяйки. Они стояли вместе на коврике у камина, немного покрасневшие в жаркой комнате, и были похожи на детей, которые ждут гостей. Толстые линзы доктора сияли гостеприимством. Миссис Фиске быстро подошла и взяла его за руку.

— Я так рада видеть вас, мой бедный заброшенный человек.

Невозможно было усомниться в теплоте и искренности ее слов. Она, казалось, совершенно забыла свою застенчивость.

— Вы, наверное, рады, что вернулись. Я уверен, что вы замечательно съездили.

— Да, да, это была чудесная поездка. У нашего дорогого сына все обстоит великолепно. Как бы я хотела, чтобы сегодня вечером он был здесь, с нами. — Агнес мило болтала, простодушная, как девочка, с блестящими от возбуждения глазами. — Я должна вам столько рассказать. Но вы услышите... правда, вы услышите... когда придет наша гостья.

Он не удержался и вопросительно поднял брови.

— Да, сегодня нас будет четверо. Одна дама... хотя мы с ней и разных взглядов... теперь она мой самый близкий друг. Она гостит у нас, — миссис Фиске запнулась, увидя его удивление, потом обеспокоенно и как бы просительно сказала:

— Мой милый, добрый отец, вы не должны сердиться на меня.

Она обернулась лицом к двери и хлопнула в ладоши, подавая условный сигнал.

Дверь открылась, и тетя Полли вошла в комнату.

В этот сентябрьский день 1914 года ни Полли, ни сестра Марта, сидевшие на кухне, не обращали ни малейшего внимания на привычный слабый треск стрельбы в горах. Марта готовила обед, орудуя своими непорочно чистыми медными кастрюлями, а тетя Полли стояла у окна и гладила стопку полотняных апостольников. За три месяца эта пара стала неразлучной, словно две коричневые курочки, попавшие в курятник с белыми курами. Они отдавали должное друг другу. Марта заявила, что она никогда не видела лучшего вышивания гладью, чем у Полли, а Полли, пощупав Мартину вышивку крестом, первый раз в жизни признала, что ее вышивка хуже. Кроме того, у них, конечно, была неисчерпаемая тема для разговоров: — Фрэнсис.

Сейчас Полли спрыскивала белье, с видом знатока подносила утюг к щеке, чтобы удостовериться в том, что он горяч, и жаловалась:

— Он опять очень скверно выглядит.

Марта одной рукой подбросила дров в плиту, не переставая другой задумчиво помешивать суп.

— А чего другого можно ожидать? Он же ничего не ест.

— Когда он был молодым, у него был очень хороший аппетит.

Бельгийка с безнадежным видом пожалала плечами.

— Я еще не встречала священника, который так мало ест. Ах, я знавала нескольких настоящих обжор. У нас в Метье был один аббат, так он съедал великим постом по шесть рыбных блюд. У меня на этот счет своя теория. Если человек есть очень мало, у него сжимается желудок, и потом он уже не может есть больше.

Полли, мягко выражая свое несогласие, покачала головой.

— Вчера, когда я принесла ему несколько свежих лепешек, он посмотрел на них и сказал: "Как можно есть, когда тысячи людей голодают, их видно даже из этой комнаты".

— Ба! Они всегда голодают. В этой стране привыкли есть траву.

— Но он говорит, что теперь будет еще хуже из-за войны.

Сестра Марта попробовала свой знаменитый *pot-au-feu*^[52], одобрила его, повернулась к Полли и сделала гримасу.

— Здесь всегда война. Так же как и голод. Мы в Байтане привыкли к бандитам. Они палят себе из ружей, вот как сейчас. Потом город откупается от них, и они убираются восвояси. Так как же, съел он мои ячменные лепешки?

— Он съел одну. Да. И сказал, что она просто восхитительная. А потом он велел мне отдать остальные преподобной матери, чтобы она раздала их бедным.

— Этот добрый отец сведет меня с ума.

Хотя за пределами своей кухни сестра Марта была кротка, как ягненок, сейчас она напустила на себя грозный вид и выглядела прямо свирепо.

— Отдает, отдает, отдает! Так и шкура не выдержит. Рассказать вам, что случилось прошлой зимой? Однажды в городе, когда шел снег, он снял свое пальто, свое новое прекрасное пальто, которое мы, сестры, сшили ему из лучшей импортной шерсти, и отдал его какому-то уже полузамерзшему бездельнику. Уж я-то заставила бы его самого рассказать все, но старшая решила сама отчитать его. Он посмотрел на нее такими удивленными глазами, что от их взгляда вам становится как-то не по себе, и сказал: "Но почему же нет? Что толку проповедовать христианство, если мы сами не будем жить, как христиане? Христос отдал бы свое пальто нищему. Почему я не должен этого делать?" Когда преподобная мать очень сердито ответила ему, что пальто было нашим подарком, он улыбнулся и, дрожа от холода, сказал: "Ну, значит, это вы хорошие христиане, а не я". Просто невероятно! Вы просто не поверили бы, если бы были, как я, воспитаны в деревне, где вам всячески внушают быть бережливым. Ну ладно, хватит! Давайте сядем и похлебаем супу. Если ждать, пока наедятся эти прожорливые ребяташки, можно в обморок упасть от голода.

Отец Чисхолм возвращался из города. Когда он проходил мимо незанавешенного окна кухни, взгляд его упал на парочку, сидевшую за ранним обедом. Глубокая тревога, омрачавшая его лицо, на мгновение сменилась легкой улыбкой.

Несмотря на его первоначальные опасения, приезд Полли оказался очень удачным. Она великолепно приспособилась к жизни миссии и наслаждалась ею с такой безмятежностью, будто проводила уик-энд в Блэ KPUле. Ее не приводили в уныние перемена климата и превратности погоды. Полли молча шествовала к своей скамейке в огороде и там, среди кочнов капусты, вязала часами, выпрямившаяся, с отставленными локтями, сосредоточенно сжатыми губами. Глаза ее благодушно смотрели куда-то вдаль, а рыжая кошка, примостившись у ее ног, мурлыкала, как сумасшедшая. Они были закадычными друзьями со старым Фу, и она стала центром внимания нелюдимого садовника, — ей он показывал выращенные им чудовищных размеров овощи, ей предсказывал погоду по всяким приметам и зловещим предзнаменованиям.

Полли никогда не вмешивалась в дела сестер и никогда не присваивала себе никаких привилегий. Она обладала инстинктивной тактичностью, проистекавшей из ее умения молчать и из повседневной простоты ее жизни. Никогда еще Полли не была так счастлива. Она видела осуществленной свою заветную мечту — Фрэнсис стал священником, миссионером. И кто знает — Полли никогда не решилась бы выразить эту мысль словами — может быть, и ее скромные усилия помогли ему немного стать тем, кем он был.

Она собиралась погостить здесь два месяца, но потом было решено, что она останется до января. Единственное о чем сожалела Полли, так это о том, что она не могла приехать сюда раньше.

Смерть Нэда не освободила ее от ответственности. Постоянным предметом тревоги была Джуди, с ее капризами и легкомыслием, с ее вечно переменчивыми стремлениями. После первой службы в Городском Совете Тайнкасла она сменила уже с полдюжины должностей, — все они поначалу казались ей великолепными, и все она вскоре с отвращением бросала. Потом Джуди решила стать учительницей, но занятия в колледже скоро наскучили ей, и ей явилась смутная мысль уйти в монастырь. В этот период /ей было двадцать семь лет/ она вдруг сделала открытие, что ее истинное призвание — стать сестрой милосердия, и поступила стажеркой в Нортумберлендскую больницу. Это-то обстоятельство и дало Полли возможность приехать сюда. Впрочем, полученная ею свобода оказалась, по-видимому, слишком кратковременной. Уже через каких-то четыре месяца трудности работы в больнице совершенно обескуражили Джуди и она засыпала Полли письмами, полными обид и жалоб, намекающими на то, что тетя Полли должна поскорее возвращаться, чтобы заботиться о своей бедной, заброшенной племяннице.

Когда Фрэнсис постепенно, по кусочкам (тетя Полли не отличалась словоохотливостью), нарисовал себе картину жизни Полли дома, он стал смотреть на нее, как на святую. Но ее стойкость вовсе не была похожа на устойчивость статуи. У нее были свои слабые струнки, а ее необычайная способность делать что-нибудь некстати осталась неизменной. Она, например, проявила незаурядную инициативу и, полная самого искреннего желания помочь Фрэнсису в работе, почти совершила новое обращение двух заблудших душ, которые во время одной из ее постоянных экскурсий в Байтань раболепно привязались к ее особе и к ее кошельку. Фрэнсису стоило немалого труда избавить ее от Осанны и Филомены Ванг.

Ради одного только утешения, получаемого от ежедневного разговора с ней, он имел все основания ценить эту удивительную женщину. И теперь,

когда отец Чисхолм неожиданно оказался лицом к лицу со страшными испытаниями, ему хотелось опереться на ее здравый смысл.

Подойдя к дому, он увидел на веранде сестру Клотильду и Анну, ожидавших его. Фрэнсис вздохнул: неужели они не дадут ему спокойно обдумать полученные тревожные известия! На болезненно желтом лице Клотильды пылал нервный румянец; она стояла рядом с девушкой, похожая на тюремщика, придерживая ее свежезабинтованной рукой. Глаза Анны были полны мрачного вызова. От нее также сильно пахло духами. Под вопросительным взглядом отца Чисхолма Клотильда быстро перевела дух.

— Я вынуждена была просить преподобную мать разрешить мне привести сюда Анну. В конце концов, она находится под моим специальным наблюдением.

— Да, сестра? — священник заставил себя говорить терпеливо.

Сестра Клотильда дрожала от истерического негодования.

— Я столько перенесла от нее! Наглость, и непослушание, и лень. Я наблюдала, как она портит и ссорит других девочек. Да и ворует к тому же. Да даже и сейчас от нее несет одеколоном мисс Бэннон. Но то, что она сделала сегодня...

— Да, сестра?

Сестра Клотильда покраснела еще сильнее. Для нее этот разговор был большим наказанием, чем для скверной Анны.

— Она теперь взяла привычку уходить по ночам. Вы же знаете, что все вокруг кишит солдатами. Она ушла на всю эту ночь с одним из солдат Вайчу, её постель даже не смята. А когда сегодня утром я пыталась ее образумить, она стала драться и укусила меня.

Отец Чисхолм перевел глаза на Анну. Казалось невероятным, что эта стоящая перед ним надутая и непокорная молодая женщина и есть тот крошечный ребенок, которого он прижимал к груди в далекую зимнюю ночь и которого считал даром небес. Анне еще нет двадцати, но это уже вполне созревшая девушка с высокой грудью, мрачными глазами и красными, как вишни, пухлыми губами. Она всегда отличалась от других детей своим равнодушием, дерзостью и непослушанием. Фрэнсис подумал: на этот раз хрестоматии ошиблись — ангела из Анны не получилось. Тяжелое бремя, лежащее у него на душе, смягчило его голос.

— Ты можешь что-нибудь сказать, Анна?

— Нет.

— Нет, отец, — прошипела Клотильда.

Анна бросила на нее угрюмый, ненавидящий взгляд.

— Это очень грустно, Анна, что ты так отплачиваешь нам за все

заботы о тебе. Разве ты не счастлива здесь?

— Нет, не счастлива.

— Почему же?

— Я не просила, чтобы меня брали в монастырь. Вы даже не купили меня, я досталась вам даром. И мне надоело молиться.

— Но не все же время ты молишься. У тебя есть твоя работа.

— Я не хочу плести корзины.

— Ну, мы придумаем тебе что-нибудь другое.

— Что? Шитье? Что, я всю жизнь должна шить? Отец Чисхолм заставил себя улыбнуться.

— Конечно, нет. Когда ты научишься всяким полезным вещам, один из наших молодых людей захочет жениться на тебе.

Она ответила ему презрительной усмешкой, которая, казалось, ясно говорила: я хочу чего-нибудь более волнующего, чем ваши молодые люди.

Он помолчал, а потом произнес с некоторой горечью, потому что неблагодарность девушки все-таки причиняла ему боль:

— Никто не собирается держать тебя здесь против твоей воли. Но пока все в окрестности не успокоится, ты должна остаться. В город может прийти большая беда. Большая, очень большая беда может нагрянуть на весь мир. Пока ты здесь, ты в безопасности. Но ты должна соблюдать правила нашего дома. А теперь иди с сестрой и слушайся ее. Если я опять узнаю о твоём непослушании, я очень рассержусь.

Отец Чисхолм отпустил обеих, а когда Клотильда уходила, сказал ей:

— Сестра, попросите преподобную мать зайти ко мне. Он посмотрел, как женщины шли через усадьбу, потом медленно пошел в свою комнату.

Словно у него не хватало неприятностей и без них! Когда через пять минут вошла Мария-Вероника, отец Чисхолм стоял у окна и смотрел на город у подножия холма. Он продолжал молчать, пока она не подошла к нему. Наконец, Фрэнсис сказал:

— Мой дорогой друг, у меня для вас две плохих новости, и первая — это то, что, по-видимому, у нас здесь еще до конца года будет война.

Она в спокойном ожидании смотрела на него. Он повернулся и посмотрел ей в лицо.

— Я только что пришел от господина Чиа. Война неизбежна. Уже много лет в этой провинции хозяйничал Вайчу. Как вам известно, он совершенно разорил крестьян налогами и поборами. Если они не платили, их деревни уничтожались, целые семьи вырезывались. Но при всей его жестокости купцам Байтаня всегда удавалось откупиться от него, — отец Чисхолм помолчал. — Теперь другой генерал движется с низовья Янцзы в

нашу провинцию — генерал Наян. Говорят, он не так жесток, как Вай. Кстати, наш старый друг Шон перешел к нему. Наян желает взять провинцию Вая, те есть получить привилегию выжимать здесь соки из народа. Он войдет в Байтань. Откупиться от обоих невозможно. Откупиться можно только от победителя. Так что на этот раз они вынуждены будут драться.

Мария-Вероника слегка улыбнулась.

— Я знала почти все это и раньше. Но почему вы сегодня видите все это в таком зловещем свете?

— Может быть, потому, что война уже витает в воздухе, — он бросил на нее странно-напряженный взгляд. — К тому же это будет жестокая война.

Ее улыбка стала шире.

— Но ведь ни вы, ни я не боимся войны. Наступило молчание. Фрэнсис не смотрел на нее.

— Конечно, я думаю и о нас, не защищенных здесь городскими стенами. Если Вай нападет на Байтань, мы окажемся в самой гуще драки. Но больше, чем о нас, я думаю о бедных, беспомощных и голодных людях. Я всем сердцем полюбил их. Они хотят всего-навсего, чтобы их оставили в покое, дали возможность мирно жить со своими семьями, трудиться на своей земле. Годами их угнетал один тиран. Теперь на сцене появился другой и поэтому им суют в руки ружья, да, да, в руки наших прихожан, машут флагами и кричат обычные в таких случаях лозунги: "Свобода! Независимость!" В них разжигают ненависть. А потом — так как два диктатора желают этого — эти несчастные создания набросятся друг на друга. А для чего? Когда бойня кончится, рассеется дым и смолкнет стрельба их будут угнетать еще больше, на них наложат еще больше поборов, еще более тяжкое ярмо, — он вздохнул. — Так как же можно не грустить, думая о бедном человечестве?

Она пожала плечами и сказала несколько строптиво:

— Да вы просто пацифист. Но ведь, несомненно, бывают славные и справедливые войны? История доказала это. Моя семья сражалась в таких войнах не раз.

Отец Чисхолм долго не отвечал, глядя в окно. Когда же он, наконец, повернулся к ней, морщины вокруг его глаз стали резче. Медленно, с усилием священник сказал:

— Как странно, что вы сказали это именно сейчас, — он помолчал, избегая ее взгляда. — Наша небольшая беда здесь только отголосок гораздо большей беды, — он с громадным трудом заставил себя продолжать. —

Господин Чиа через специального курьера получил сообщение от своих деловых компаньонов в Сэньсяне. Германия вторглась в Бельгию и вступила в войну с Францией и Англией.

Некоторое время оба молчали. Мария-Вероника изменилась в лице, но стояла с высоко поднятой головой, напряженно застыв. Наконец Фрэнсис сказал:

— Другие тоже скоро узнают об этом. Но мы не должны допустить, чтобы это как-то отразилось на нас здесь, в миссии.

— Да, не должны, — ответила она машинально, словно взгляд ее был устремлен куда-то далеко, за тысячи миль отсюда.

Первый симптом раскола проявился через несколько дней: это был маленький бельгийский флажок, наспех вышитый нитками на кусочке шелка и демонстративно укрепленный в окне спальни сестры Марты. В тот же день она поспешила пораньше прибежать из амбулатории. Сгорая от нетерпения, сестра Марта вошла в дом сестер и закудаhtала от нервного удовольствия. Наконец-то она дождалась того, чего ждала всей душой, — наконец-то пришли газеты! Это была "Интеллидженс", ежедневная американская газета, которая выходила в Шанхае и приходила в миссию нерегулярно, пачками, приблизительно раз в месяц. Поспешно, дрожащими от нетерпения руками, полная мрачных предчувствий, сестра Марта разорвала упаковку. С минуту она торопливо переворачивала страницы, затем испустила вопль негодования.

— Что за чудовища! О Боже мой, это невыносимо!

Она настойчиво, не поднимая головы от газет, поманила рукой сестру Клотильду, которая только что быстро вошла в комнату, влекомая сюда той же магнетической силой.

— Смотрите, сестра! Они в Лувене, — собор разрушен, вдребезги разнесен снарядами. А Метриё — это десять километров от моего дома — сровняли с землей.

— О Боже милостивый! Такой прекрасный, такой процветающий город!

Объединенные общим бедствием, обе сестры склонились над газетами, прерывая чтение восклицаниями ужаса.

— Даже алтарь разбит! — Марта ломала руки. — Метриё! Я ездила туда с отцом в высокой повозке, когда была совсем маленькой семилетней девчушкой. Какой там базар! В тот день мы купили двенадцать серых гусей. Они были такие жирные... такие великолепные... а теперь...

Клотильда с широко раскрытыми от ужаса глазами читала о битве на Марне.

— Они убивают наших храбрецов! Такая бойня! Такая подлость!

Хотя старшая сестра уже вошла в комнату и спокойно уселась за стол, Клотильда не замечала ее присутствия, но Марта уголком глаза видела ее. Задыхаясь от негодования, тыча пальцем в газету, она дрожащим голосом призывала сестру Клотильду:

— Посмотрите-ка сюда, сестра Клотильда: "Из достоверных источников сообщается, что немецкие захватчики вторглись в монастырь в Лувене. Абсолютно достоверные источники подтверждают тот факт, что много невинных детей было безжалостно перебито".

Клотильда была бледна, как слоновая кость.

— Во время франко-прусской войны было то же самое. Они бесчеловечны. Неудивительно, что эта американская газета уже называет их гуннами, — последнее слово она прошипела.

— Я не могу позволить вам говорить в таких выражениях о моем народе.

Клотильда, захваченная врасплох, быстро повернулась, опираясь на оконную раму. Но Марта была наготове.

— Ваш народ, преподобная мать? Я бы на вашем месте не слишком гордилась этим народом. Жестокие варвары. Убийцы женщин и детей.

— Немецкая армия состоит из джентльменов. Я не верю этой вульгарной газетишке. Это неправда.

Марта подбоченилась. Ее резкий голос крестьянки скрипел от возмущения.

— А то, что эта "вульгарная газетишка" сообщает о безжалостном вторжении вашей джентльменской армии в маленькую миролюбивую страну, это правда?

Преподобная мать теперь была бледнее Клотильды.

— Германия должна иметь свое место под солнцем.

— Поэтому она грабит и убивает, разрушает соборы и базарные площади, куда я ездила девчонкой... потому что она хочет и солнце, и луну... жадная свинья...

— Сестра!

Полная достоинства даже в волнении, старшая сестра встала.

— Существует в этом мире такая вещь, как справедливость. Германия и Австрия всегда были обделены. И не забывайте, что в этот момент мой брат сражается, чтобы выковать новую судьбу Тевтонии. Поэтому, как ваша начальница, я вам обеим запрещаю произносить клеветнические слова, которыми вы сейчас осквернили свои губы.

Наступило тягостное молчание, потом она повернулась, чтобы уйти из

комнаты. Когда Мария-Вероника дошла до двери, Марта закричала:

— Однако ваша замечательная судьба еще не выкована. Союзники выиграют войну.

Преподобная мать подарила ее холодной сострадательной улыбкой и вышла из комнаты.

Вражда усиливалась, раздуваемая слухами, что просачивались в отдаленную миссию, которая сама находилась под угрозой войны. Хотя французенка и бельгийка никогда не питали особой приязни друг к другу, теперь они стали закадычными друзьями. Марта покровительствовала слабенькой Клотильде, заботилась о ее здоровье, поила лекарством, чтобы унять ее мучительный кашель, выбирала ей лучшие куски. Вместе, не таясь, они вязали митенки и носки для посылок храбрым раненым. Через голову преподобной матери они говорили о своих возлюбленных странах, эти разговоры сопровождались множеством вздохов и намеков, причем обе старались, о, очень старались, не сказать ничего оскорбительного. Потом Марта с подчеркнутой значительностью говорила:

— Пойдем помолимся за исполнение наших желаний.

Мария-Вероника переносила все это в гордом молчании. Она тоже молилась за победу. Отец Чисхолм часто мог видеть рядом три лица, поднятые вверх в молитвенном экстазе, но молились они о противоположных победах, а его мучили заботы и тревоги о насущном, он следил за наступлениями и отступлениями войск Вая, слышал о всеобщей мобилизации, которую провел Наян, и молился о мире... о сохранности своих людей... и о достаточном количестве пищи для детей...

Вскоре сестра Клотильда начала обучать свой класс пенью "Марсельезы". Она делала это потихоньку, когда Мария-Вероника была занята в мастерской корзинок на другом конце миссии. Ученики, склонные к подражанию, быстро усвоили песню. Однажды утром, когда преподобная мать, которая теперь находилась в постоянном напряжении и уставала, пересекала усадьбу, из окон класса Клотильды вырвались звуки французского национального гимна, дети распевали его во все горло под аккомпанемент разбитого пианино.

"Allons, enfants de la patrie..."^[53]

На мгновение Мария-Вероника приостановилась, как бы споткнувшись, потом лицо ее застыло в суровой непреклонности. Она собрала все свои силы и пошла дальше с высоко поднятой головой.

Однажды днем, в конце месяца, Клотильда опять занималась в своем классе. Дети, уже исполнившие ежедневную "Марсельезу", заканчивали урок катехизиса. Сестра Клотильда, следуя недавно введенному ею

обычаю, сказала:

— Теперь, дорогие ребята, встаньте на колени и помолимся немножко за храбрых французских солдат.

Дети послушно опустили на колени и повторили за ней три раза "Богородица Дева, радуйся". Клотильда уже собиралась дать им знак, чтобы они встали, как вдруг с ужасом увидела преподобную мать, стоявшую сзади нее. Мария-Вероника была спокойна и весела. Смотря через плечо сестры Клотильды, она обратилась к детям:

— А теперь, дети, будет только справедливо, если вы скажете такую же молитву за храбрых немецких солдат.

Клотильда, ставшая серо-зеленой, повернулась к ней. Казалось, она сейчас задохнется.

— Это мой класс, преподобная мать.

Мария-Вероника игнорировала ее.

— Ну же, милые дети, за храбрых немцев, — "Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария..."

Грудь Клотильды вздымалась, в нервическом оскале обнажились узкие зубы. Судорожно она занесла руку и ударила преподобную мать по лицу.

Наступила полная ужаса тишина. Клотильда разразилась слезами и, рыдая, выбежала из комнаты. В лице Марии-Вероники не дрогнул ни один мускул. С той же милой улыбкой она сказала детям:

— Сестра Клотильда больна. Вы видели, она наткнулась на меня. Я закончу урок. Но сначала, дети, три "Богородицы" за немецких солдат. Когда молитва закончилась, она невозмутимо села за стол и открыла книгу.

В этот вечер, неожиданно войдя в амбулаторию, отец Чисхолм застал врасплох сестру Клотильду, которая отмеривала себе щедрую дозу хлородина. Услышав его шаги, она быстро обернулась и чуть не уронила полную мензурку, щеки ее залил болезненный румянец. Эпизод в классе довел ее нервное напряжение до предела. Заикаясь от волнения, Клотильда извинилась:

— Я принимаю немного для желудка. У нас так много тревог в последнее время.

Он понял по мензурке и по ее замешательству, что она употребляла лекарство как снотворное.

— Я бы не злоупотреблял им, сестра. В нем много морфия.

Когда она ушла, Фрэнсис запер пузырек в шкафчик с ядами. Он стоял в пустой амбулатории, терзаясь тревогой и страхом перед опасностью, которая нависла над ними здесь, угнетенный абсолютной ненужностью той далекой ужасной войны, и вдруг почувствовал, что его заливают волна гнева

на бессмысленную затаенную вражду этих женщин. Некоторое время отец Чисхолм надеялся, что все образуется, но этого не произошло. Внезапно решившись, он сжал губы. В тот день после уроков Фрэнсис послал за тремя сестрами. Его лицо было необычно суровым. Оставив их стоять перед своим столом, он заговорил медленно, выбирая слова, и слова его были горьки:

— Ваше поведение в такое время, как сейчас, меня чрезвычайно огорчает. Это должно прекратиться. У вас нет для этого никакого оправдания.

Наступило недолгое молчание. Клотильду затрясло. Она ринулась в бой.

— Но у нас есть оправдание, — она пошарила в кармане своей одежды и сунула ему в руку изрядно помятый кусок газеты. — Прочтите это, прошу вас. Это писал кардинал.

Отец Чисхолм внимательно изучил вырезку и медленно прочел ее вслух.

Это был отчет о заявлении кардинала Аметта, сделанном им с кафедры собора Нотр-Дам в Париже: "Возлюбленные братья, товарищи по оружию и доблестные союзники Франции! Всемогущий Бог на нашей стороне. В прошлом Бог помог нам стать великой страной, он опять поможет нам в час нашей беды. Бог стоит рядом с нашими храбрыми солдатами на поле битвы. Он делает их оружие сильным и направляет его на врага. Бог охраняет Своих детей. Бог дарует нам победу..."

Фрэнсис прервал чтение. Он не мог дальше читать. Все застыли в молчании. Голова Клотильды тряслась от нервного торжества, лицо Марты выражало упорство и одобрение. Но Мария-Вероника оставалась непобежденной. Она решительно вынула из черного полотняного мешка у пояса аккуратную газетную вырезку и развернула ее.

— Я ничего не знаю о предвзятых мнениях какого-то французского кардинала. Но вот здесь совместное обращение к германскому народу архиепископов Кёльна, Мюнхена и Эссена.

Холодным надменным голосом она прочла: "Возлюбленный народ нашего отечества, Бог с нами в этой правой борьбе, которая была навязана нам. Поэтому приказываем вам во имя Бога сражаться до последней капли крови за честь и славу нашей страны. Бог в Своей премудрости и справедливости знает, что мы правы, и Бог даст нам..."

— Достаточно!

Стараясь овладеть собой, Фрэнсис прервал ее. Душу его волнами заливали гнев и отчаяние. Здесь вот, перед ним, была квинтэссенция

человеческой злобы и лицемерия. Чувство бессмысленности и безнадежности жизни вдруг овладело им и придавило его.

Он продолжал сидеть, подперев голову рукой, потом тихо сказал:

— Одному Богу известно, как Ему надоели эти вопли, взывающие к Нему.

Фрэнсис резко встал и начал ходить по комнате, весь во власти охватившего его волнения.

— Я не могу опровергать противоречия кардиналов и архиепископов при помощи других противоречий. Да я и не возьму на себя смелость делать это. Я — никто, ничтожный шотландский священник, сидящий в джунглях Китая, где вот-вот разразится бандитская война. Но неужели вы не видите всего безумия и всей низости войны? Мы — Святая Католическая Церковь, да и все великие церкви христианского мира, оправдываем эту войну. Мы идем дальше — с лицемерной улыбкой и апостольским благословением мы освящаем эту войну. Мы посылаем миллионы наших верных сынов, чтобы их калечили и убивали, чтобы увечили их тела и души, чтобы они убивали и уничтожали друг друга. Умрите за свою страну, и все простится вам! Патриотизм! Король и император! С десяти тысяч кафедр гласят: "Отдайте Кесарево Кесарю..." — он резко оборвал свой монолог, крепко стиснув руки, затем продолжил свою речь. Глаза его горели. — В наше время нет кесарей, есть только финансисты и политики, которые хотят получить алмазные копи в Африке и каучук в порабощенном Конго. Христос проповедовал вечную любовь. Он проповедовал братство людей. Он не кричал, взойдя на гору: "Убивайте, убивайте! Кричите о своей ненависти и вонзайте штыки в тела своих братьев!" И это не Его голос звучит в церквях и высоких соборах сегодняшнего христианского мира, но голос приспособляющихся и трусов, — его губы дрожали. — Как, заклинаю я вас именем Бога, которому мы служим, как можем мы приходить в эти чужие страны, в страны, которые мы называем языческими, и иметь дерзость обращать их народы в веру, которую мы сами опровергаем каждым нашим поступком? Нечего удивляться, что они глумятся над нами. Христианство — религия лжи! Религия классов, денег и национальной ненависти! О, эти проклятые войны! — словно задохнувшись, Фрэнсис остановился, пот выступил у него на лбу, глаза потемнели от боли. — Почему церковь не ухватится за представившуюся ей возможность? Ведь это такой благоприятный случай, чтобы оправдать свое звание супруги Христовой. Вместо того, чтобы заниматься подстрекательством и проповедовать ненависть, закричать в каждой стране устами ее священников и епископов: "Брось оружие! Не убий! Мы

приказываем вам не воевать!" Да, это вызвало бы преследования и привело бы ко многим смертным казням. Но это сделало бы их мучениками, а не убийцами. Эти мертвые украшали бы наши алтари, а не оскверняли бы их, — он понизил голос, в его осанке появилось какое-то пророческое спокойствие. — Церковь поплатится за свою трусость. Змея, вскормленная на груди, в один прекрасный день ужалит эту грудь. Утверждать власть оружия — значит навлечь на себя гибель. И может наступить такой день, когда громадные военные силы вырвутся на свободу и повернут оружие против церкви, развратят миллионы ее детей и загонят ее — робкую тень — обратно в римские катакомбы^[54].

Когда Фрэнсис кончил, стояла мертвая тишина. Марта и Клотильда опустили головы, словно они были тронуты против своей воли. Но Мария-Вероника с оттенком высокомерия, характерным для давних дней их раздоров, посмотрела на него холодным ясным взглядом, блистающим жестокой насмешкой.

— Это было в высшей степени впечатляюще, отец... достойно тех соборов, которые вы порицаете... Но разве ваши слова не пустой звук, если вы не живете в соответствии с ними... здесь, в Байтане?..

Кровь прилила к его лицу и быстро отхлынула. Он ответил ей без гнева:

— Я строго запретил всем до одного моим прихожанам участвовать в той безнравственной войне, которая грозит нам. Я заставил их поклясться, что они со своими семьями придут в миссию, когда начнутся беспорядки. За все последствия я беру ответственность на себя.

Все три сестры смотрели на него. Что-то слегка дрогнуло в холодном неподвижном лице Марии-Вероники. Но когда они гуськом выходили из комнаты, отец Чисхолм понял, что они не примирились. Он вдруг содрогнулся от непреодолимого страха. У него было странное ощущение, что время остановилось и колеблется, пытаясь удержать равновесие, в ожидании того рокового, что может произойти.

В воскресенье утром его разбудил звук, которого он со страхом ждал уже много дней — гул отдаленной артиллерийской канонады. Фрэнсис вскочил и поспешил к окну. На западных холмах, в нескольких милях от них, шесть легких полевых орудий начали обстрел города. Он быстро

оделся и сошел вниз. В тот же момент появился бегущий от крыльца Иосиф.

— Началось, господин. Прошлой ночью генерал Наян вступил в Байтань, и теперь силы Вая атакуют его. Наши люди уже подходят к воротам.

Отец Чисхолм бросил быстрый взгляд через плечо Иосифа.

— Впусти их сейчас же.

Слуга отправился открывать ворота, а он поспешил к дому. Дети собрались к завтраку и были на удивление спокойны. Только одна-две самые маленькие девчушки хныкали, когда внезапно раздавались далекие взрывы. Фрэнсис обошел длинные столы, заставляя себя улыбаться:

— "Это всего-навсего только маленькие хлопушки, дети, через несколько дней будут покрупнее..."

Все три сестры стояли порознь. Мария-Вероника была спокойна, хотя и бледна, как мрамор, но он сразу заметил, что Клотильда расстроена. Она, казалось, еле сдерживается, стиснув руки в длинных рукавах и бледнея при каждом пушечном выстреле.

Священник кивнул в сторону детей и пошутил специально для нее:

— Эх, если бы мы могли все время держать их за едой! Сестра Марта чересчур поспешно захихикала в ответ:

— Да, да, тогда с ними не было бы никаких хлопот.

Клотильда попыталась улыбнуться, но в это время в отдалении снова загрохотали пушки. Через минуту отец Чисхолм покинул столовую и поспешил к привратницкой, где у широко открытых ворот стояли Иосиф и Фу.

Его прихожане со своими пожитками потоком вливались в ворота. Молодые и старые, жалкие, смиренные, невежественные создания, перепуганные, жаждущие безопасности, — само воплощение страдающего человечества. Его сердце наполнилось радостью при мысли о том убежище, которое он давал им. Крепкие кирпичные стены будут для них надежной защитой. Он благословил свое тщеславие, поддавшись которому приказал сделать их такими высокими. Со странной нежностью Фрэнсис наблюдал за одной старухой, одетой в лохмотья, — на ее морщинистом лице запечатлелась терпеливая покорность длинной, полной лишений жизни. Спотыкаясь, она вошла со своим узелком, тихонько пристроилась в углу переполненного людьми двора и стала старательно варить горстку бобов в старой банке из-под сгущенного молока.

Около него невозмутимо стоял Фу, но Иосиф, доблестный Иосиф, был явно не в своей тарелке. Женитьба изменила его, он не был уже

беззаботным юношей, но был мужем и отцом, со всеми обязанностями и ответственностью семьянина и собственника.

— Им следует поспешить, — бормотал он беспокойно, — мы должны запереть и забаррикадировать ворота.

Отец Чисхолм положил руку на плечо своего слуги,

— Только когда все войдут, Иосиф.

— Но мы наживем себе неприятности, — ответил Иосиф, пожимая плечами. — Некоторые из наших людей призваны в армию Вая. Вряд ли ему понравится, что они предпочитают сидеть здесь, вместо того чтобы воевать.

— И, тем не менее, они не будут воевать, — ответил священник твердо. — Ну, ну, не надо унывать. Подними наш флаг, а я пока присмотрю за воротами.

Иосиф ушел, ворча, и через несколько минут флаг миссии из бледно-голубого шелка с более темным голубым крестом святого Андрея взвился и затрепетал на флагштоке.

У Фрэнсиса от гордости забилося сердце, а грудь вдруг переполнила радость. Этот флаг символизировал мир и добрую волю ко всем людям, нейтральный флаг, флаг всеобщей любви. Когда все запоздавшие вошли в ворота, их временно заперли. В этот момент Фу обратил его внимание на кедровую рощу, расположенную в каких-нибудь трехстах ядрах влево от миссии на их стороне Холма Зеленого Нефрита. Из этой кущи деревьев неожиданно появилась длинная пушка. Он мог видеть, хотя и не очень ясно, сквозь ветви быстрые движения солдат в зеленых мундирах армии Вая, роющих траншеи и укрепляющих позиции. Хотя священник и мало понимал в подобных вещах, эта пушка показалась ему гораздо мощнее тех обычных полевых орудий, которые сейчас действовали. Он всё еще смотрел туда, как вдруг сверкнула быстрая вспышка, за которой тут же последовал ужасающий взрыв и над головой раздался дикий вой снаряда. Новое тяжелое орудие произвело опустошительные изменения. Оно с оглушительным грохотом било по городу, и ему отвечала недостаточно дальнобойная батарея Наяна. Мелкие снаряды, не долетая до кедровой рощи, дождем посыпались вокруг миссии. Один из них попал в огород, и взвихрил, и осыпал земляной ливень. Переполненный людьми двор немедленно отозвался криками ужаса, и Фрэнсис побежал перевести людей с открытого пространства в церковь, где было не так опасно.

Шум и смятение возрастали. Мария-Вероника боролась в классе с паникой. Спокойная и улыбающаяся, она, перекрикивая разрывы снарядов, собрала детей вокруг себя, велела им заткнуть уши пальцами и петь во всю

силу легких.

Когда дети немного успокоились, их быстро провели через двор в подвал монастырского дома. Жена Иосифа со своими двумя ребятишками была уже там. Странно было видеть все эти маленькие желтые личики здесь, в полутьме, среди запасов керосина, свечей и сладкого картофеля, под длинными полками, на которых стояли варенья и консервы сестры Марты. Здесь, внизу, вой снарядов был не так слышен, но время от времени тяжелые удары сотрясали здание до самого основания. Оставив Полли с детьми, Марта и Клотильда побежали принести им перекусить; Клотильда, всегда быстро взвинчивающаяся, теперь почти обезумела. Когда она пересекала усадьбу, небольшой осколок ударил ее в щеку.

— О, Господи! — закричала она, опускаясь на землю, — я убита! — и бледная, как смерть, она начала покаянную молитву.

— Не валяйте дурака! — Марта яростно потрясла ее за плечо. — Пойдем и принесем этим несчастным ребятишкам овсяную кашу.

Иосиф позвал отца Чисхолма в амбулаторию. Одну женщину легко ранило в руку. Остановив кровотечение и перевязав рану, священник отослал и Иосифа и свою пациентку в церковь, а сам поспешил к окну и стал тревожно вглядываться в город, пытаясь определить размеры разрушений, которые орудие Вая наносило Байтаню. Он поклялся оставаться нейтральным, но не в силах был подавить громадного желания, разрушительного и опустошающего, чтобы Вай, Вай непобедимый, потерпел поражение. По-прежнему стоя у окна, Фрэнсис заметил, что из Маньчжурских ворот вышел отряд солдат Наяна. Они вытекали из ворот, как поток серых муравьев; их было человек двести. Ломаной, рваной линией они начали подниматься на холм. Он смотрел на них, весь во власти какого-то страшного очарования. Сначала они быстро, небольшими внезапными бросками продвигались вперед, четко выделяясь на нетронутой зелени холма. Люди, согнувшиеся вдвое и тащившие за собой винтовки, то медленно поднимались по холму, то мчались стрелой десятков ярдов и потом отчаянно бросались на землю. Орудие Вая продолжало обстрел города. Серые фигурки приблизились. Теперь они совершали свой трудный подъем под полыхающим солнцем, ползя на животах. На расстоянии ста шагов от кипарисовой рощи они залегли, вжимаясь в склон, на целых три минуты. Потом их командир подал знак — солдаты с криком вскочили на ноги и бросились к расположению орудия. Они быстро покрыли половину расстояния, еще несколько секунд — и они достигнут цели. И тогда резкий звук пулеметов прорезал сверкающий воздух. Там, в кипарисовой роще, притаились в ожидании три пулемета. Под их ударами

серые фигуры остановились, как бы в замешательстве, а затем стали падать. Некоторые падали вперед, другие на спину, а иные на мгновение застыли на коленях, словно молились. Они падали по-всякому, даже комично, а потом лежали неподвижно на солнце. И тогда стук "максимов" прекратился. Все снова стало тишиной, теплом и спокойствием, пока тяжелый взрыв большого орудия не прогремел вновь, пробуждая все к жизни, — все, кроме этих тихих маленьких фигур на зеленом склоне холма. Отец Чисхолм застыл у окна, поглощенный душевной мукой. Это была война. Эта напоминающая игру пантомима уничтожения, увеличенная в миллион раз, разыгрывалась сейчас среди плодородных равнин Франции.

Он содрогнулся и начал страстно молиться: "О Господи! Дай мне жить и умереть за мир". Вдруг его усталые глаза уловили какой-то признак движения на холме. Один из солдат Наяна не был мертв. Медленно и мучительно он тащил свое тело вниз по склону, в направлении миссии. Его продвижение вперед все замедлялось — силы оставляли его. Наконец он замер, не двигаясь, в полном изнеможении лежа на боку в каких-нибудь шестидесяти ярдах от верхних ворот.

Фрэнсис думал: "... он мертв... сейчас не время для псевдогероизма... если я выйду туда, я получу пулю в голову... я не должен этого делать..." Но он уже вышел из амбулатории и шел к верхним воротам. Открывая ворота, Фрэнсис виновато оглянулся: к счастью, никто из миссии не видел его. Он вышел на залитый ярким солнечным светом, склон холма. Его низенькая черная фигура и длинная тень, отбрасываемая ею, были ужасающе заметны. И хотя окна миссии были пусты, отец Чисхолм чувствовал на себе множество глаз, которые следили за ним из кипарисовой рощи. Он не смел торопиться. Раненый солдат дышал с трудом, ловя воздухом и всхлипывая. Обе руки его слабо прижимались к разорванному животу, а глаза, его человечески глаза, смотрели на Фрэнсиса страдающе и вопросительно. Священник поднял его на спину и понес в миссию. Поддерживая раненого, он запер ворота, а потом тихонько оттащил его в безопасное место. Дав ему глоток воды, отец Чисхолм нашел Марию-Веронику и велел ей приготовить койку в амбулатории.

В этот же день была предпринята еще одна неудачная попытка захватить пушку. А с наступлением ночи Фрэнсис Чисхолм и Иосиф перенесли в миссию еще пятерых раненых. Амбулатория стала походить на госпиталь.

На следующее утро обстрел продолжался непрерывно. Грохот не утихал ни на минуту. Городу приходилось туго, похоже было, что западная

стена была пробита. Вдруг Фрэнсис увидел, что со стороны Западных ворот, приблизительно в одной миле от миссии, главные силы армии Вая устремились к разбитому брустверу. Сердце у него екнуло. "Они в городе", — подумал он, но точного представления о происходящем у него все-таки не было.

Остаток дня прошел в состоянии тоскливой неуверенности. Уже к вечеру он выпустил детей из погреба, а свою паству из церкви, чтобы все подышали свежим воздухом. Они-то хоть были невредимы. Отец Чисхолм переходил от одной группы к другой, подбадривая людей, и старался найти себе в этом поддержку. Когда он обошел всех, то обнаружил возле себя Иосифа. Его лицо впервые выражало неприкрытый страх.

— Господин, из кедровой рощи от пушки Вая пришел посыльный.

У главных ворот три солдата из армии Вая заглядывали через решетку, а офицер, которого Фрэнсис принял за командира орудейного расчета, стоял рядом. Не колеблясь, священник открыл ворота и вышел к ним.

— Что вам угодно?

Офицер был короткий, коренастый, средних лет мужчина, с тяжелым лицом и толстыми губами мула. Он дышал через широко открытый рот, показывая грязные верхние зубы. Одет он был в обычную кепку и зеленую форму с кожаным поясом, украшенным кисточкой. Обмотки кончались над парой разбитых дешевых парусиновых туфель на резиновой подошве.

— Генерал Вай благосклонно обращается к вам с несколькими просьбами. Во-первых, вы не должны больше укрывать раненых противников.

Фрэнсис, взволнованный, вспыхнул:

— Раненые не причиняют никакого вреда. Они уже вышли из войны.

Тот, другой, не обратил никакого внимания на его протест:

— Во-вторых, генерал Вай предоставляет вам привилегию сделать свой вклад в снабжение его продовольствием. Вашим первым даром будут восемьсот фунтов риса и все американские консервы, имеющиеся в ваших кладовых.

— Нам уже и так не хватает продовольствия...

Несмотря на принятое решение, — сохранять спокойствие, отец Чисхолм почувствовал, что в нем закипает гнев. Он сердито сказал:

— Вы не можете так грабить нас.

Как и раньше, командир орудия пропустил его возражение мимо ушей. У него была манера стоять боком, расставив ноги, и бросать слова через плечо, как оскорбление.

— В третьих, необходимо, чтобы вы очистили вашу усадьбу от всех,

кого вы здесь укрываете. Генерал Вай думает, что вы даете убежище дезертирам из его войска. Если это так, они будут расстреляны. Все другие мужчины, годные для военной службы, должны немедленно вступить в армию Вая.

На этот раз священник не протестовал. Он стоял, напряженный и бледный, стиснув руки, с горящими от негодования глазами. Воздух перед ним дрожал и плавился в красном мареве.

— Предположим, что я откажусь исполнить эти скромнейшие просьбы?

Упрямое лицо перед ним почти улыбнулось.

— Это, я вас заверяю, будет ошибкой. Тогда я вынужден буду чрезвычайно неохотно повернуть свою пушку в вашу сторону и в течение пяти минут превратить вашу миссию со всем ее содержимым в порошок.

Наступило молчание. Три солдата корчили рожи и делали знаки молодым женщинам во дворе. Положение миссии представилось Фрэнсису так холодно и отчетливо, словно это была картинка, выгравированная на стали. Он должен согласиться под страхом уничтожения на эти бесчеловечные требования. И эта уступка будет только прелюдией ко все большим и большим требованиям. Страшный гнев обуял его. Во рту у него пересохло, он не поднимал горящих глаз от земли.

— Генерал Вай должен понимать, что нам потребуется несколько часов, чтобы приготовить все эти припасы для него... и я должен подготовить своих людей к уходу отсюда... Сколько времени он мне дает?

— До завтра, — быстро ответил офицер. — При условии, что сегодня до полуночи вы доставите на позицию моей пушки подношение лично мне. Вы принесете мне консервов и еще достаточное количество ценных вещей, чтобы вышел приличный подарок.

Опять наступило молчание. Фрэнсис чувствовал, что сердце его растет, увеличивается и злобно душит его. Сдавленным голосом он солгал:

— Я согласен. У меня нет выбора. Сегодня я принесу вам то, что вы просите.

— Это говорит в пользу вашей мудрости. Я буду ждать вас. И не советую вам обманывать меня.

В тоне капитана прозвучала мрачная ирония. Он поклонился священнику, крикнул команду солдатам и неуклюже зашагал к кедровой роще.

Отец Чисхолм вернулся в миссию, дрожа от ярости. Лязг тяжелых чугунных ворот, закрывшихся за ним, отдался у него в мозгу цепью звенящих лихорадочных отголосков. Каким же дураком он был, как глупо

радовался, воображая, что он сможет избежать испытания. Он... кроткий голубь... Фрэнсис скрежетал зубами, а безжалостный гнев на самого себя волна за волной накатывал на него. Он резко отослал Иосифа и всех, кто, собравшись вокруг, робко молчал, люди искали на его лице ответа на свои страхи.

Обыкновенно со всеми своими горестями отец Чисхолм шел в церковь, но сейчас он не мог склонить голову и покорно пробормотать: "Господи, я принимаю это страдание. Я подчиняюсь". Фрэнсис прошел в свою комнату и с размаху бросился на плетеный стул. Его мысли беспорядочно неслись, ничем не сдерживаемые. Он вспомнил свою прекрасную проповедь о мире и застонал. К чему теперь все его хорошие слова? Что будет со всеми ними?

И еще один шип вонзился в него — ненужность, полнейшая бессмысленность присутствия Полли в миссии в такое время. Он тихонько выругал миссис Фиске за ее докучливую услужливость, из-за которой его бедная старая тетка подвергалась этому фантастическому кошмару. Ему казалось, что тяготы всего мира легли на его согнутые слабые плечи. Фрэнсис вскочил. Он не мог сдаться, и он не сдастся малодушно страшным угрозам Вая и еще более ужасной угрозе этой пушки, которая росла в его разгоряченном воображении и разбухла до таких гигантских размеров, что стала символом всех войн и всех жестоких орудий, созданных человеком для истребления рода человеческого.

Фрэнсис страдал, не зная, что предпринять. Весь в испарине от внутреннего напряжения он шагал по комнате. В дверь тихо постучали, и вошла Полли.

— Мне не хотелось бы мешать тебе, Фрэнсис... но, если у тебя есть свободная минутка... — она слегка улыбнулась, пользуясь своей привилегией нарушать его уединение.

— Что такое, тетя Полли? — он с большим усилием придал спокойное выражение лицу.

Может быть, у нее есть какие-нибудь новости, еще одно послание от Вая?

— Я была бы рада, если бы ты померил это, Фрэнсис. Я не хочу, чтобы он получился очень широким. Тебе в нем будет хорошо и тепло зимой.

Под его налитым кровью взглядом она достала шерстяной шлем, который она ему вязала. Он не знал плакать ему или смеяться. Это было так похоже на Полли. Когда раздастся трубный глас, возвещающий начало Страшного Суда, и тогда она, несомненно, выберет минутку, чтобы предложить ему чашку чая. Оставалось только подчиниться. Фрэнсис

стоял, а она подгоняла полуоконченный шлем на его голове.

— Ну что ж, как будто все хорошо, — бормотала Полли критически. — Разве только чуть широк у шеи.

Склонив голову набок и поджав длинную сморщенную верхнюю губу, она считала петли костяной спицей .

— Шестьдесят восемь. Я уберу четыре. Спасибо, Фрэнсис. Надеюсь, я не помешала тебе?

К глазам его подступили слезы. Он испытывал почти непреодолимое желание положить голову на ее жесткое плечо и неистово, отчаянно закричать:

— Тетя Полли! Я в такой беде! Бога ради, скажи, что мне делать!

Но Фрэнсис не сделал этого. Он долго смотрел на нее, потом тихо спросил:

— Тебя не беспокоит, Полли, опасность, которая нам всем угрожает?

Она чуть улыбнулась.

— От беспокойства кошка сдохла. А потом... разве ты не заботишься о нас?

Ее неистребимая вера в него была как глоток чистого холодного воздуха. Фрэнсис смотрел, как Полли складывала свою работу, скалывала ее спицами и, кивнув ему, молча удалилась. Каким-то непостижимым образом за ее обыденностью, за ее видом, словно говорящим: "ничего не случилось", скрывался отпечаток более глубокого знания, Фрэнсис видел, что она все понимает. Теперь у него уже не было сомнений в том, что он должен делать. Взяв пальто и шляпу, Фрэнсис тайком пробрался к нижним воротам.

За стенами миссии глубокий мрак словно завязал ему глаза. Но он быстро пошел вниз по дороге к городу, не обращая внимания ни на какие препятствия. У Маньчжурских ворот его резко остановили, и часовые, рассматривая его, направили свет фонаря ему в лицо. Отец Чисхолм рассчитывал на то, что его узнают — в конце концов, он был известной фигурой в городе — но ему повезло сверх ожидания. Один из трех солдат, задержавших его, был из команды Шона и работал с ним во время эпидемии чумы. Этот человек сразу же поручился за него и после коротких переговоров со своими товарищами согласился отвести его к лейтенанту.

Улицы были пустынные, местами завалены камнями и зловеще безмолвны. Из отдаленной восточной части города время от времени доносилась стрельба. Следуя за своим быстро и мягко ступающим проводником, священник испытывал какое-то странное возбуждающее чувство вины.

Шон был в своем прежнем помещении в казармах. Он урвал несколько минут, чтобы поспать и лежал совершенно одетый на той самой походной кровати, которая когда-то принадлежала доктору Таллоху. Лейтенант был небрит, обмотки его потемнели от грязи, и под глазами лежали серые тени от усталости. Когда Фрэнсис вошел, Шон приподнялся, опираясь на локоть.

— Ну и ну! — протянул он. — А я воображал себе Вас и Вашу чудесную миссию там, наверху, — лейтенант выскользнул из постели, подкрутил лампу и сел к столу. — Хотите чаю? Ну, и я тоже не хочу. Но я рад видеть вас. Жаль, что я не могу представить вас генералу Наяну. Он сейчас ведет атаку в восточной части города... а может быть, казнит каких-нибудь шпионов. Он весьма просвещенный человек.

Фрэнсис, не прерывая молчания, сел к столу. Он слишком хорошо знал Шона и знал, что надо дать ему выговориться. А сегодня лейтенант был менее говорлив, чем обычно. Он настороженно посмотрел на священника.

— Ну, что же вы не просите меня об этом, мой друг? Ведь вы пришли сюда за помощью, которую я не могу вам оказать. Нам следовало бы быть в вашей миссии уже два дня тому назад, если бы не эта проклятая Сорана, которая просто-напросто разнесла бы нас на куски, если бы мы туда сунулись.

— Вы имеете в виду пушку?

— Да, пушку, — ответил Шон с вежливой иронией. — Я слишком хорошо знаком с ней вот уже несколько лет... Она прибыла сюда с французской канонеркой. Сначала ею завладел генерал Хсиа. Дважды с большим трудом я отбирал ее у него, но каждый раз он откупал ее обратно у моего начальника. Потом у Вая была наложница из Пекина, которая обошлась ему в двадцать тысяч долларов серебром. Она была армянка, очень красивая, ее звали Сорана. Когда она ему надоела, он поменял ее у Хсиа на пушку. Вы видели, что вчера мы пытались ее захватить. Это невозможно... Она укреплена... мы должны пересекать открытую местность... а у нас для прикрытия только наша "пиф-паф"-батарея... Возможно, что из-за нее мы проиграем войну... и это теперь, когда я как раз так хорошо продвигаюсь у генерала Наяна. Наступило молчание. Священник сказал жестко:

— Предположим, что захватить пушку возможно?

— Нет, не соблазняйте меня, — Шон покачал головой со скрытой горечью. — Но если я когда-нибудь подберусь к этому мерзкому орудию, я прикончу его раз и навсегда.

— Мы можем подойти очень близко к пушке.

Шон медленно поднял голову, вопрошающе глядя на Фрэнсиса.

Проблеск оживления мелькнул в его глазах. Он ждал.

Отец Чисхолм наклонился вперед, губы его сжались в одну линию.

— Сегодня вечером офицер Вая, командующий орудийным расчетом, приказал мне принести ему до полуночи продукты и деньги. В противном случае он грозитя подвергнуть миссию обстрелу...

Он продолжал говорить, глядя на Шона, потом сразу замолчал, понимая, что больше ничего говорить не надо. Целую минуту оба молчали. С самым беззаботным видом Шон думал. Наконец, он улыбнулся — во всяком случае, мускулы его лица проделали все необходимое для акта улыбки, но ничего похожего на веселость не было в его глазах.

— Мой друг, я вынужден по-прежнему считать вас даром неба.

Застывшее в неподвижности лицо священника омрачилось.

— Я забыл о небе сегодня.

Шон кивнул, не вдумываясь в его замечание.

— Теперь слушайте, и я скажу вам, что мы сделаем. Часом позже Фрэнсис и Шон вышли из казармы и через Маньчжурские ворота направились к миссии. Шон сменил свою форму на поношенную синюю блузу и широкие, закатанные до колен штаны, какие носят кули. Плоская шляпа прикрывала его голову. На спине он нес большой мешок, крепко зашитый бечевкой. На расстоянии примерно трехсот шагов за ними молча следовали двадцать его солдат. На полпути Фрэнсис тронул своего спутника за руку.

— Теперь моя очередь.

— Он не тяжелый, — Шон нежно переложил свой тюк на другое плечо. — Да я, наверное, и попривычнее вас к этому.

Они достигли стен миссии. Нигде ни огонька... Смутно проступающие контуры... призрачные и незащитные... они заключают в себе все, что он любит... Полная тишина. Вдруг из привратничкой до него донесся мелодичный звон американских часов, которые он подарил Иосифу на свадьбу. Фрэнсис машинально сосчитал удары. Одиннадцать часов.

Шон отдал своим людям последние распоряжения. Один из них, присев на корточки у стены, подавил кашель, который, казалось, разнесся эхом по всему холму. Шон яростным шепотом выругал его. Но солдаты не имели значения. Значение имело то, что должны были сделать они с Шоном. Он почувствовал, что его друг вглядывается в него сквозь мрак.

— Вы отчетливо представляете себе, что произойдет?

— Да.

— Когда я выстрелю в жестянку с газолином, он моментально воспламенится и взорвет кордит^[55]. Но еще раньше, чем это случится,

раньше даже, чем я подниму револьвер, вы должны отходить. Надо отойти достаточно далеко — взрыв будет чрезвычайно сильный, — он помолчал. — Ну, пойдём, если вы готовы. И ради вашего Господа Бога держите факел подальше от мешка.

Собравшись с духом, Фрэнсис вынул из кармана спички и поджег расщепленный тростник. Он ярко вспыхнул. Затем с высоко поднятым факелом, он вышел из-под укрытия, какое давала стена, и пошел, не таясь, к кипарисовой роще. Шон шел сзади в качестве слуги. Он нес мешок на спине и охал, словно ему было очень тяжело, стараясь производить побольше шума.

Идти было недалеко. На опушке рощи Фрэнсис остановился и закричал в настороженную тишину невидимых деревьев:

— Я пришел, как было приказано. Проводите меня к вашему командиру.

Некоторое время молчание не нарушалось. Потом, сразу за собой, он внезапно уловил какое-то движение. Обернувшись, Фрэнсис увидел двух солдат, стоявших в кругу дымного света.

— Тебя ждут, колдун, иди и не бойся.

Их провели через труднопреодолимый лабиринт неглубоких окопов и заостренных бамбуковых кольев к центру рощи. Здесь у священника вдруг остановилось на миг сердце. За земляным бруствером и кедровыми ветками стояла длинноствольная пушка, окруженная стерегущими ее солдатами.

— Вы принесли все, что требовалось?

Фрэнсис узнал голос своего вечернего посетителя. На этот раз он солгал с большей легкостью.

— Я принес вам много консервов... вы, конечно, будете довольны ими. Шон показал мешок и подвинулся ближе, чуть-чуть ближе к пушке.

— Не так-то уж много вы принесли, — капитан вышел на свет. — А деньги вы тоже принесли?

— Да.

— Где они? — капитан пощупал верхушку мешка.

— Они не здесь, — поспешно ответил Фрэнсис, вздрогнув. — Деньги у меня в кошельке.

Капитан отвлекся от мешка и смотрел на него загоревшимися алчностью глазами. Группа солдат собралась вокруг, уставясь на священника.

— Послушайте, послушайте меня все, — Фрэнсис неимоверным усилием овладел их вниманием. Ему видно было, как Шон незаметно

продвигается к краю тени, все ближе и ближе к пушке. — Я прошу, я умоляю вас... оставьте нас в покое... не трогайте нашей миссии...

На лице капитана выразилось презрение. Он иронически улыбнулся.

— Мы не тронем вас... до завтра. Сзади кто-то засмеялся.

— А потом мы позаботимся о ваших женщинах.

Фрэнсис ожесточил свое сердце. Шон, словно в изнеможении, сбросил мешок под затвор пушки. Делая вид, что вытирает пот со лба, он отступил немного назад к священнику. Толпа солдат увеличилась, они начинали проявлять нетерпение. Фрэнсис изо всех сил старался выиграть лишнюю минуту для Шона.

— Я не сомневаюсь в вашем слове, но мне было бы очень ценно получить какую-нибудь гарантию от генерала Вая.

— Генерал Вай в городе. Вы увидите его позднее, — капитан говорил грубо, отрывисто, он вышел вперед, чтобы взять деньги.

Уголкем глаза Фрэнсис видел, что рука Шона поползла под блузу. "Сейчас это случится", — подумал он и в тот же момент услышал громкий звук револьверного выстрела и стук пули, ударившей в жестянку внутри мешка. Фрэнсис весь подобрался в ожидании взрыва, но происходило что-то непонятное... взрыва не последовало. Шон стремительно выстрелил в жестянку еще три раза подряд. Фрэнсис видел, как газолин растекался по всему мешку. У него мелькнула мысль, опередившая глухой стук пуль: Шон ошибся, пули не воспламеняют газолин, а может быть, в жестянку налили керосин.

Он почувствовал тяжелое тошнотворное разочарование. Теперь Шон стрелял в толпу, стараясь высвободить свою винтовку, и безнадежно звал своих людей вступить в драку. Фрэнсис видел, что капитан и еще с дюжину солдат замыкают Шона в свой круг. Все это происходило с быстротой мысли. Он ощутил последнюю, все сметающую волну гнева и отчаяния. Медленно, словно закидывая удочку на семгу, Фрэнсис отвел руку назад и бросил свой факел. Его меткость была великолепна. Пылающий факел, изогнувшись дугой, пролетел как комета в ночи и попал прямо в середину пропитанного газолिनном мешка.

Мгновенно громадная волна звука и света ударила по нему. Он едва успел ощутить яркую вспышку, как земля содрогнулась, раздался ужасающий взрыв, и порыв опаленного воздуха отбросил его назад в грохочущую тьму.

Фрэнсис никогда раньше не терял сознания. Ему казалось, что он падает, падает куда-то в пустоту и черноту, стараясь за что-нибудь хватиться и не находя никакой опоры, падает в ничто, в забвение. Когда он

пришел в себя, то понял, что лежит на земле, слабый и обмякший, но целый и невредимый, а Шон таскает его за уши, чтобы привести в чувство. Фрэнсис смутно увидел над собой красное небо. Вся кипарисовая роща пылала с треском и ревом, как погребальный костер.

— Прикончили пушку?

Шон с облегчением прекратил мять его уши и сел.

— Да, прикончили. И с ней человек тридцать солдат Вая разнесло на куски, — белые зубы резко выделялись на его обожженном лице. — Мой друг, я поздравляю вас. В жизни своей не видал такого прелестного убийства. Еще одно такое и можете считать меня христианином.

Несколько следующих дней отец Чисхолм провел в ужасном смятении ума и духа. Физической реакцией на эти события была почти полная протрация.

Фрэнсис не был мужественным героем романа. Он был просто невысоким коренастым человеком далеко за сорок, страдающим одышкой. Теперь Фрэнсис плохо чувствовал себя и у него кружилась голова. Голова болела так, что приходилось несколько раз на день тащиться в свою комнату и погружать раскалывающийся от боли лоб в широкогорлый кувшин с холодной водой. Но эти физические страдания были ничем по сравнению со страшной душевной мукой. В нем беспорядочно мешались чувства торжества и раскаяния, и тяжелое неотступное чувство изумления, что он, священник, слуга Бога, должен был поднять руку на своих ближних и убивать их. Отец Чисхолм находил очень слабое оправдание в том, что спасал своих людей. Воспоминания об обмороке после взрыва причиняли ему очень странную пронзительную боль. Была ли смерть похожа на это? Полное забвение...

Никто, кроме Полли, не подозревал, что он выходил из миссии в ту ночь. Фрэнсис видел, как она переводила спокойный взгляд с его молчаливой и пришибленной фигуры на обугленные пни кедров, обозначавшие остатки оружейного окопа. В банальной фразе, которую Полли ему сказала, чувствовалось безграничное понимание:

— Кто-то оказал нам громадную услугу, убрав эту противную пушку.

Бои продолжались в предместьях и в предгорьях к востоку от города. На четвертый день до миссии дошли слухи, что Вай начинает проигрывать сражение.

Конец этой недели наступил серый и хмурый, на небе собирались тяжелые дождевые тучи. В субботу стрельба в Байтане почти прекратилась, изредка только то там, то здесь судорожно гремело несколько выстрелов. Наблюдая с балкона, отец Чисхолм видел вереницы людей в зеленой форме

Вая, отступающих через Западные ворота. Многие из них побросали оружие из страха попасть в плен и быть расстрелянными как бунтовщики. Фрэнсис знал: это признак того, что Вай потерпел поражение и не смог прийти к компромиссу с Наяном. За верхней стеной миссии, где бамбуковый тростник прятал их от наблюдения из города, собралось множество этих разбежавшихся солдат. Их нерешительные и откровенно испуганные голоса были слышны в миссии. Часа в три, когда отец Чисхолм, слишком обеспокоенный, чтобы отдохнуть, шагал по двору, к нему подошла взбудораженная сестра Клотильда.

— Анна бросает пищу через верхнюю стену, — запричитала она, жалуясь. — Я уверена, что ее солдат здесь... они разговаривали.

Его собственные нервы были напряжены до предела.

— Нет никакого вреда в том, чтобы дать пищу тем, кто в ней нуждается.

— Но это же один из этих головорезов. О Господи! Они же перережут нам глотки!

— А вы поменьше думайте о собственном горле, — он вспыхнул от досады. — Мученичество — легкий путь на небо.

С наступлением сумерек массы разбитых войск Вая повалили из всех городских ворот. В страшном беспорядке они шли через Маньчжурский мост, поднимались вверх по склону Холма Зеленого Нефрита и шли мимо миссии. На грязных лицах было отчетливо написано желание поскорее удрать.

Наступившая ночь была темной и полной беспорядочных криков и выстрелов, скачущих галопом лошадей и яркого блеска факелов вдалеке на равнине. Священник стоял у нижних ворот миссии и наблюдал происходящее с чувством странной подавленности. Вдруг он услышал за собой осторожные шаги. Отец Чисхолм обернулся и увидел Анну. Ее пальто было наглухо застегнуто, в руках она несла узел. Он почти не удивился.

— Куда ты идешь, Анна?

С подавленным криком она отпрянула назад, но тут же вновь обрела свою угрюмую дерзость.

— Это мое личное дело.

— Ты не скажешь мне?

— Нет.

Фрэнсис почему-то успокоился и взглянул на все иначе: бесполезно удерживать ее насильно.

— Ты решила уйти от нас, Анна. Это очевидно. И что бы я ни сказал

тебя нельзя заставить изменить твоё намерение.

Она сказала с горечью:

— Вы поймали меня сейчас. Но в следующий раз вам это не удастся.

— Тебе не придется ждать следующего раза, Анна, — он вынул ключ из кармана и отпер калитку. — Иди, ты свободна.

Фрэнсис почувствовал, что она вздрогнула от изумленья, и почти ощутил на себе взгляд ее сумрачных горячих глаз. Потом, без слова прощания или благодарности, Анна прижала к себе узел и бросилась бежать. Ее бегущая фигура скоро затерялась в толпе на дороге.

Он стоял с непокрытой головой, и толпа непрерывно текла мимо него. Теперь исход превратился в беспорядочное бегство.

Вдруг крики сделались громче, и священник увидел в качающемся блеске факелов группу всадников. Они быстро приближались, прокладывая себе дорогу сквозь медленный поток пешеходов, задерживавший их. Когда они поравнялись с калиткой, один из всадников осадил своего взмыленного коня. В свете факела отец Чисхолм увидел полное невероятной злобы, похожее на череп лицо с узкими щелками глаз и низким покатым лбом. Всадник выкрикнул полное ненависти оскорбление и угрожающе поднял руку с оружием. Фрэнсис не шевельнулся. Его полная неподвижность, безразличная и отрешенная, по-видимому, привела того в замешательство. Мгновение он колебался, а сзади раздались настойчивые крики: "Вперед, Ваи... в Доуэнлай... они догоняют!"

С каким-то странным фатализмом Ваи опустил руку, сжимавшую оружие. Пришпоривая своего маленького конька, он наклонился в седле и злобно плюнул в лицо священнику. Ночь поглотила его.

На следующее утро, ясное и солнечное, колокола миссии весело зазвонили. Фу по собственному почину забрался на колокольню. Он раскачивал длинную веревку, взмахивая от восторга жиденькой бородкой. Большинство беженцев готовы были отправляться по домам, на всех лицах было ликование, и они ждали только напутственного слова священника. Все дети были во дворе, они смеялись и прыгали. За ними присматривали Марта и Мария-Вероника, ухитрившиеся сгладить свои разногласия настолько, чтобы стоять на расстоянии не более шести футов друг от друга. Даже Клотильда играла с детьми и была веселее всех, она подбрасывала мяч, бегала с малышами и негромко смеялась. Полли, выпрямившись, сидела на своем любимом месте в огороде и разматывала новый клубок шерсти с таким видом, будто ее жизнь всегда течет гладко и спокойно.

Когда отец Чисхолм медленно спустился по ступенькам крыльца, его радостно встретил Иосиф со своим пухлым младенцем на руках.

— Все кончилось, господин. Наян победил. Новый генерал — замечательный человек. В Байтане больше не будет войны. Он это обещает. Для всех нас наступил мир, — он нежно, торжествующе подбросил малыша. — Моему маленькому Джошуа не придется сражаться, он не увидит ни слез, ни крови. Мир! Мир!

Сердце священника почему-то сжалось от невыносимой печали. Он ласково ущипнул крошечную щечку ребенка, мягкую и золотистую, подавил вздох и улыбнулся. Все они бежали к нему — его дети, его люди, которых он любил, которых он спас, предав свои самые дорогие убеждения.

10

Конец января принес Байтаню первые пышные плоды победы. И для Фрэнсиса было большим облегчением, что тетя Полли избавлена от их лицезрения. Она уехала в Англию неделю тому назад и хотя расставание было тяжелым, он знал в глубине души, что для нее лучше уехать.

В это утро, когда Фрэнсис шел в амбулаторию, он размышлял о протяженности рисовой очереди. Вчера она растянулась во всю длину стены миссии. Вай в ярости от понесенного поражения спалил весь хлеб до последнего колоска на много миль вокруг. Сладкий картофель уродился плохо. Рисовые поля, обработанные одними женщинами, (мужчины и буйволы были забраны в армию) дали меньше половины обычного урожая. Всего было мало, и все было очень дорого. В городе цена на консервы выросла в пять раз. Цены ежедневно повышались.

Отец Чисхолм поспешно прошел в переполненное людьми здание. Все три сестры были там. У каждой была деревянная мерка и покрытый черным лаком ларь с рисом. Они были поглощены бесконечным зачерпыванием трех унций зерна, которое ссыпали в подставляемые миски. Он постоял, наблюдая. Его люди были терпеливы, они хранили полное молчание, но движение сухих зернышек наполняло комнату непрерывным шелестящим звуком. Потом Фрэнсис тихо сказал Марии-Веронике:

— Мы больше не можем так продолжать. Завтра мы должны уменьшить паек вдвое.

Хорошо, — она кивнула в знак согласия.

Напряжение последних недель отразилось на ней. Он подумал, что преподобная мать необычайно бледна. Она же не отводила глаз от ларя с рисом. Фрэнсис несколько раз прошел к наружной двери и обратно и

пересчитал людей. Наконец, с облегчением увидев, что очередь редет, он снова пересек двор и спустился в подвал, где хранились их запасы, чтобы пересчитать их. К счастью, два месяца тому назад он сделал заказ господину Чиа, и тот был добросовестно доставлен. Но запас риса и сладкого картофеля, которые у них употреблялись в большом количестве, был угрожающе мал. Отец Чисхолм стоял в раздумье. Хотя цены и были непомерно высоки, все же в Байтане пока еще можно было купить продовольствие. Внезапно он решился и впервые за всю историю миссии отправил телеграмму Миссионерскому Обществу с просьбой о вспомоществовании ввиду их критического положения.

Неделю спустя он получил ответную телеграмму:

"Выделение каких-либо денежных сумм для вас совершенно невозможно. Пожалуйста, не забывайте, что мы воюем. У вас войны нет и, следовательно, вы находитесь в чрезвычайно благоприятных условиях. Я поглощен работой в Красном Кресте. Наилучшие пожелания.

Ансельм Мили".

С лицом лишенным всякого выражения Фрэнсис скомкал зеленый клочок бумаги. В этот день он собрал все имевшиеся в миссии деньги и пошел в город. Но теперь было слишком поздно — уже ничего нельзя было купить. Рынок зерна был закрыт. В самых больших магазинах было выставлено ничтожное количество скоропортящихся продуктов: несколько дынь, редиска и мелкие речные рыбешки. Расстроенный, Фрэнсис зашел в миссию на Улице Фонарей, где долго разговаривал с доктором Фиске.

Потом, на обратном пути, он посетил дом господина Чиа, который принял его, как всегда, радушно. Они выпили чаю в маленькой конторе с решетками на окнах, пропахшей пряностями, мускусом и кедром.

— Да, — серьезно согласился господин Чиа, когда они всесторонне обсудили вопрос о нехватке продовольствия. — Это, конечно, причинит нам некоторые небольшие затруднения. Господин Пао отправился в Чжэкоу, чтобы получить известные гарантии от нового правительства.

— Есть у него какие-нибудь шансы на успех?

— О, все шансы на успех у него есть. Но, — добавил мандарин, — гарантии ведь не продукты, — и впервые в его словах Фрэнсис услышал что-то очень похожее на цинизм.

— Говорили, что в зернохранилище лежит много тонн запасного зерна.

— Генерал Наян взял с собой все до последнего бушеля^[56]. Он выкачал из города все продовольствие.

— Но не может же он, — сказал Фрэнсис, хмурясь, — смотреть, как народ умирает с голода. Он ведь обещал людям всякие блага, если они будут воевать на его стороне.

— А теперь он деликатно выразил мнение, что некоторое незначительное сокращение населения может послужить на благо общества.

Они замолчали. Отец Чисхолм размышлял.

— Хорошо еще, что у доктора Фиске будут большие запасы. Ему обещали доставить их из миссии в Пекине три джонки провианта.

— А-а!

— Вы сомневаетесь?

Господин Чиа ответил, кротко улыбаясь:

— От Пекина до Байтаня две тысячи ли. А по дороге множество голодных людей. По моему недостойному мнению, мой весьма уважаемый друг, мы должны быть готовы к шести месяцам тягчайших лишений. Такие вещи случаются в Китае. Но какое это имеет значение? Мы можем исчезнуть — Китай останется.

На следующее утро отец Чисхолм был вынужден отказать всем пришедшим за рисом. Это причинило ему глубокую боль, но он вынужден был закрыть двери миссии. Он велел Иосифу написать объявление, что в случаях крайней нужды нужно сообщить свое имя в привратницкой, — он лично займется этими случаями. Вернувшись в дом, Фрэнсис принялся выработать план нормирования продуктов для миссии. Со следующей недели он ввел его в действие. Дети сначала недоумевали, потом капризничали и, наконец, впали в какую-то растерянную понурость. Они стали сонными и после каждой еды просили добавки. Больше всего дети, по-видимому, страдали от недостатка сахара и крахмалистых веществ. Они заметно теряли в весе.

Из методистой миссии ничего не сообщали об ожидавшемся грузе продовольствия. Джонки должны были бы прибыть уже три недели тому назад, и тревога доктора Фиске была так сильна, что он уже не мог скрывать ее. Его общественная рисовая кухня была уже больше месяца закрыта. В Байтане люди еле таскали ноги и погружались в тяжелую апатию. Их лица потухли, движения стали замедленными. А потом началось и постепенно все усиливалось бесконечное переселение, древнее, как сам Китай. Мужчины и женщины с детьми безмолвно покидали город и направлялись на юг. Когда отец Чисхолм заметил этот симптом, сердце

похолодело у него в груди. Ужасное видение стало преследовать его — он видел свою маленькую общину, изнуренную, ослабевшую, впавшую в окончательное бессилие, умирающую с голода. Глядя на медленную процессию, разворачивающуюся перед его глазами, Фрэнсис быстро понял, что надо делать. Как в дни чумы, он вызвал Иосифа, поговорил с ним и спешно отправил его со срочным поручением. На следующее утро после отъезда Иосифа отец Чисхолм пришел в столовую и приказал выдать детям по лишней порции риса. В кладовой оставался последний ящик винных ягод^[57].

Он прошел вдоль длинного стола, оделяя каждого ребенка липкими, сладкими комочками. Этот признак улучшения питания всех приободрил. Но Марта, кося одним глазом на почти пустую кладовку, а другим на отца Чисхолма, растерянно пробормотала:

— Вы что-то узнали, отец? Что-то случилось, я уверена.

— Вы узнаете все в субботу, Марта. А пока передайте, пожалуйста, преподобной матери, что мы будем выдавать лишнюю порцию риса всю эту неделю.

Марта пошла выполнять его приказание, но нигде не могла найти преподобную мать. Это было странно. Весь этот день Мария-Вероника не показывалась. Она пропустила урок плетения корзин, который всегда бывал по средам. В три часа ее не смогли найти. Может быть, это было просто оплошностью. Однако вскоре после пяти Мария-Вероника пришла, как всегда, на дежурство в столовую. Она была бледна и спокойна и не дала никаких объяснений по поводу своего отсутствия.

Но в эту ночь Марта и Клотильда проснулись от странных звуков, доносившихся, несомненно, из комнаты Марии-Вероники. На следующее утро они испуганно перешептывались в углу прачечной, смотря в окно на преподобную мать, проходившую через двор. Она шла прямо, полная достоинства, но гораздо медленнее, чем всегда.

— Она, наконец, сломилась, — слова, казалось, застревали у Марты в горле. — Пресвятая Дева! Вы слышали, Клотильда, как она плакала ночью?

Клотильда стояла, крутя в руках конец простыни.

— Может быть, она узнала о крупном поражении немцев, о котором мы еще не слышали?

— Да, да... это что-то ужасное, — лицо Марты вдруг сморщилось. — Если бы она не была проклятой немкой, мне, право, было бы жаль ее.

— Я никогда раньше не видала ее плачущей, — задумчиво сказала Клотильда, продолжая теребить простыню. — Она гордая женщина. Ей должно быть вдвойне тяжело.

— Гордыня до добра не доводит. Пожалела бы она нас, если бы мы сдались первыми? И все-таки я должна согласиться... Ба! Давайте-ка продолжим глаженье.

Рано утром в воскресенье маленькая кавалькада, спустившись с гор, приблизилась к миссии.

Предупрежденный Иосифом о ее прибытии, отец Чисхолм поспешил к привратницкой, чтобы встретить Лиучи и его трех спутников, которые прибыли из деревни Лиу. Он сжал руки старого пастуха так, словно никак не мог выпустить их.

— Вот это истинная доброта. Милосердный Бог благословит вас за нее.

Лиучи улыбался, простодушно радуясь теплomu приему.

— Мы бы приехали раньше, но нам пришлось долго собирать пони.

С ними было около тридцати низеньких лохматых горных пони, но не оседланных, с большими двойными корзинами, прикрепленными ремнями к их спинам. Пони с удовольствием жевали сено, которое для них набросали. На сердце у священника стало легче. Он заставил мужчин закусить тем, что жена Иосифа уже приготовила в привратницкой и сказал им, что после еды они должны отдохнуть. Потом Фрэнсис нашел в бельевой преподобную мать, где она молчаливо выдавала недельный запас белья — простыни, скатерти, полотенца — Марте, Клотильде и одной из старших учениц. Отец Чисхолм больше не пытался скрыть свое удовлетворение.

— Я должен подготовить вас к перемене. Так как нам грозит голод, мы отправляемся в деревню Лиу. Там, уверяю вас, вы найдете настоящее изобилие... — он улыбнулся. — А вы, сестра Марта, прежде чем вы вернетесь, вы узнаете там множество способов приготовления баранины. Я знаю, вам там понравится. А что касается детей... это будет для них чудесными каникулами.

Сначала они были совершенно ошеломлены. Потом Марта и Клотильда заулыбались, поняв, что это нарушит монотонность их жизни, — их уже влекло и захватывало предстоящее приключение.

— Вы уж, конечно, думаете, что мы соберемся за пять минут, — добродушно проворчала Марта, впервые за много недель поглядывая на преподобную мать, словно ища ее одобрения.

Это был первый слабый жест, зовущий к примирению, но Мария-Вероника, стоящая рядом, не сделала ответного жеста.

— Да, вы должны поторапливаться, — отец Чисхолм говорил почти весело. — Малышей упакуют в корзинки, а другие будут поочередно ехать

верхом и идти пешком. Ночи сейчас теплые и хорошие. Лиучи позаботится о вас. Если вы сегодня выедете, то через неделю уже будете в деревне.

Клотильда хихикнула:

— Мы будем похожи на какое-то египетское племя. Священник кивнул:

— Я дам Иосифу корзину моих голубей. Каждый вечер он должен выпускать одного, чтобы я получал сведения о вашем путешествии

— Как! — воскликнули одновременно Марта и Клотильда. — Разве вы не едете с нами?

— Я, может, приеду попозже, — Фрэнсис почувствовал себя счастливым оттого, что нужен им. — Но понимаете, кто-то же должен оставаться в миссии. Преподобная мать и вы обе будете пионерами.

Мария-Вероника медленно сказала:

— Я не могу поехать.

Сначала он подумал, что она все еще продолжает старую распрю и не хочет ехать с этими двумя, но взглянув в ее лицо, понял, что это что-то другое. Он сказал убеждающе:

— Это будет очень приятная поездка. Перемена пойдет вам на пользу.

Она покачала головой.

— Я должна буду, и очень скоро, предпринять более далекое путешествие.

Наступила длительная пауза. Потом, стоя очень тихо, она сказала без всякого выражения:

— Я должна возвратиться в Германию... чтобы распорядиться передачей нашему... ордену... моего имени, — она смотрела вдаль. — Мой брат убит в бою.

И до этого молчание было глубоким, теперь же стояла мертвая тишина. Ее нарушила Клотильда, разразившись неистовыми слезами. Потом Марта, словно зверь, пойманный в ловушку, невольно опустила голову в сочувствии. Отец Чисхолм в глубокой печали переводил взгляд с одной на другую. Потом он молча ушел.

Через две недели после прибытия путников в Лиу наступил день отъезда Марии-Вероники. Он все еще не мог в это поверить. По последним сведениям, полученным из деревни с голубиной почтой, дети были примитивно, но удобно размещены и ошалели от избытка здоровья и жизнерадостности на чистом горном воздухе. Отец Чисхолм имел все основания поздравить себя со своей находчивостью. Однако, когда они шли рядом с Марией-Вероникой к ступенькам причала, предшествуемые двумя носильщиками, которые несли ее багаж на длинных, положенных на плечи

шестах, он чувствовал отчаянное одиночество.

Пока укладывали ее вещи в сампан, они стояли на пристани. Сзади них лежал город с его приглушенно-унылым ропотом. Перед ними на середине реки стояла готовая к отплытию джонка. Серовато-коричневая вода, плещущаяся в ее борта, сливалась вдаль с серым горизонтом. Фрэнсис не мог найти слов, чтобы выразить свои чувства. Она так много значила для него, эта необыкновенная женщина, с его помощью, ободрением, дружбой.

Перед ними лежало будущее, которому не видно было конца, будущее, заполненное их общим трудом. А теперь она уходила от него, неожиданно, чуть не украдкой, уходила в дымку тьмы и тумана. Он, наконец, вздохнул и с усилием улыбнулся ей:

— Хоть моя страна и воюет с вашей, помните... я не враг вам...

Эти сдержанные слова, и то, что не было сказано, но скрывалось за ними, было так похоже на него, так напоминало ей все, чем она в нем восхищалась, что это поколебало ее решимость быть сильной. Она смотрела на его худощавую фигуру, худое лицо и редящие волосы, и слезы затуманили ее прекрасные глаза.

— Мой дорогой... дорогой друг... я никогда не забуду вас, — она сжала ему руку и быстро вошла в маленькую лодчонку, которая должна была доставить ее на джонку. Он стоял на месте, опираясь на свой старый зонтик из шотландки, сощурился от блеска воды, пока джонка не превратилась в пятнышко, уплывающее, исчезающее за краем неба.

Без ведома Марии-Вероники он сунул в ее багаж маленькую старинную статуэтку испанской мадонны, которую ему подарил отец Тэррент. Это была единственная ценная вещь, принадлежавшая ему. Мария-Вероника часто восхищалась ею. Он повернулся и медленно побрел домой. В саду, который она насадила и который так любила, Фрэнсис остановился, благодарный за мир и тишину, царившие здесь. Воздух был полон аромата лилий. Старый Фу, садовник, его единственный товарищ в покинутой миссии, подрезал кусты азалий, нежно ощупывая их руками. Фрэнсис почувствовал, что смертельно устал после всего, что ему пришлось пережить за последнее время. Еще одна глава его жизни закончилась: впервые он смутно почувствовал, что стареет. Фрэнсис сел на скамейку под индийской смоковницей, чьи вертикальные ветви укоренившись в земле, образовали шатер, и оперся локтями на сосновый стол, который тут поставила Мария-Вероника. Старый Фу, подрезая азалии, притворился, что не видит его, когда минуту спустя он опустил голову на руки.

Широкие листья индийской смоковницы по-прежнему укрывали его под своей тенью, когда он, сидя за садовым столом, перелистывал страницы своего дневника. Но руки, листавшие его, покрылись набухшими венами и слегка дрожали (ему это казалось странным обманом чувств). Конечно, старый Фу больше не наблюдал за ним, разве что сквозь какую-нибудь щелочку в небе. Вместо него два молодых садовника склонились над клумбой с азалиями, а отец Чжоу, его китайский священник — маленький, мягкий и скромный — шагал со своим молитвенником на почтительном расстоянии от него, следя за ним с сыновней любовью теплыми карими глазами. Августовское солнце пронизывало усадьбу миссии сухим светом, подобным искрящемуся золотому вину. С площадки для игр доносились счастливые крики играющих детей, возвещающие ему, что уже одиннадцать часов. Его дети или, вернее, поправился он с усмешкой, дети его детей...

Как несправедливо обошлось с ним время, пронеслось так быстро, нагромождая на него год за годом быстрее, чем он успевал распорядиться ими. Веселое красное лицо, пухлое и улыбающееся, всплыло перед ним над полным стаканом молока и нарушило его виденья. Отец Чисхолм притворно нахмурился, когда мать Мерси Мария приблизилась к нему, досадуя на это новое напоминание о его возрасте... опять ее хитрости и уловки и это нянченье...

Ему всего шестьдесят семь... ну, допустим, в следующем месяце будет шестьдесят восемь... это же пустяки... да он поздоровее многих молодых.

— Я же вам говорил, чтобы вы не носили мне эту гадость.

Она улыбнулась успокаивающе, — энергичная, суетливая, покровительственная.

— Вам необходимо это, отец, если вы упорствуете и собираетесь предпринять это длинное и ненужное путешествие, — она помолчала. — Я не понимаю, почему отец Чжоу и доктор Фиске не могут поехать одни?

— Не понимаете?

— Правда, не понимаю.

— Это весьма прискорбно, дорогая сестра, значит, ваш разум слабеет.

Она снисходительно рассмеялась и попыталась уговорить его.

— Я скажу Джошуа, что вы решили не ехать, да?

— Скажите ему, чтобы через час пони были готовы. Мерси Мария удалилась, сокрушенно качая головой. Отец Чисхолм снова улыбнулся, он

испытывал сдержанный триумф человека, поставившего на своем. Потом старый священник стал пить свое молоко — теперь, когда она ушла, незачем было делать гримасу — и снова принялся неторопливо перечитывать свой дневник. В последнее время у него вошло в привычку вызывать перед собой воспоминания, перевертывая наугад потершиеся, с загнутыми уголками страницы.

В это утро первой датой, почему-то открывшейся ему, был октябрь 1917.

"Несмотря на то, что жизнь в Байтане стала легче, рис уродился хорошо, и мои милые малыши благополучно вернулись из Лиу, все последнее время я чувствую себя очень подавленным; однако, сегодня совершенно незначительное происшествие до нелепости обрадовало меня.

Я уезжал на четыре дня на ежегодную конференцию, которую папский префект считал нужным проводить в Сэньсяне. Сидя в своем медвежьем углу, я воображал, что мне не грозят подобные "пикники". В самом деле, мы, миссионеры, разбросаны так далеко друг от друга и нас так мало — всего лишь отец Сюретт, бедный преемник Тибодо, три китайских священника из Чжэкоу и отец Ван Дуин, голландец из Ракай, — что, казалось бы, не стоит по такому поводу пускаться в долгое путешествие по реке. Но надо было "обменяться мнениями". И, естественно, я несдержанно высказался против "агрессивных методов обращения в христианство", рассердился и процитировал слова кузена господина Пао: "Вы, миссионеры, приходите к нам со своим Евангелием, а уходите с нашей землей".

Я впал в немилость у отца Сюретта, шумного священника, радующегося силе своих мускулов, которые он использовал для разрушения всех милых маленьких буддийских святынь, что были расположены на двадцать ли вокруг Сэньсяна, и который к тому же претендует на поразительный рекорд — он произносит пятьдесят тысяч благочестивых восклицаний за день!

Когда я возвращался домой, меня одолело раскаяние. Как часто приходилось мне писать в этом дневнике: "Опять не сдержался. Дорогой Господи, помоги мне обуздать мой язык!" И они там в Сэньсяне считают меня страшным чудаком! Чтобы наказать себя, я отказался от каюты. Рядом со мной на палубе был человек с клеткой первоклассных крыс, которых он постепенно съедал на обед у меня на глазах. Вдобавок шел сильный дождь, на меня низвергались целые потоки воды, и мне, как я того и заслуживал, было отчаянно плохо. Потом, когда ни жив ни мертв, я сошел с судна в Байтане, я обнаружил на мокрой пустой пристани старую женщину, ожидавшую меня. Она подошла ко мне и, я увидел, что это была моя давняя

приятельница, старая матушка Хсу, та самая, которая варила у нас во дворе бобы в жестянке из-под сгущенного молока. Она самая бедная, самая захудалая из моих прихожан. К моему удивлению, при виде меня ее лицо просветлело. Старушка быстро рассказала мне, что ей так не хватало меня, что она простояла тут на дожде последние три дня, ожидая моего приезда. Она преподнесла мне шесть маленьких церемониальных пирожных из рисовой муки и сахара, — не для еды, такие пирожные они кладут перед изображениями Будды, (подобные же реликвии и разрушает отец Сюретт). Трогательный жест... Какая это все-таки радость, когда знаешь, что хоть одному человеку ты дорог и необходим.

Май 1918. В это чудесное утро моя первая партия молодых колонистов отправилась в Лиу. Всего их двадцать четыре. Я могу добавить, что их по двенадцать человек обоего пола. Их отъезд сопровождался громадным энтузиазмом и множеством многозначительных замечаний и практических указаний нашей доброй матери Мерси Марии. Хоть я был страшно против ее приезда — все вспоминал Марию-Веронику и делал мрачные сравнения — она оказалась хорошей, умелой, жизнерадостной особой, к тому же для благочестивой монахини она изумительно разбирается во всем, что требуется молодоженам.

Старая Мэг Пэкстон, торговка рыбой из Кэннелгейта, бывало утешала меня и говорила, что я не такой уж дурак, каким кажусь; и я очень горд тем, что меня осенило заселить Лиу лучшей продукцией миссии святого Андрея. Здесь просто не хватает работы для моих становящихся взрослыми молодых людей. Было бы непростительной глупостью, если бы, вытащив их из канавы и дав им образование, мы снова с самыми благими намерениями толкнули бы их обратно. А Лиу тоже пойдет на пользу вливание свежей крови. Там обширные земли, живительный климат. Когда населения будет достаточно много, я дам им туда молодого священника. Ансельм должен будет прислать мне его — пока он этого не сделает, я прожужжу ему все уши своими приставаниями... Я устал сегодня и от волнений и от всех этих церемоний — эти массовые браки не шутка, а китайское церемониальное красноречие разрушает голосовые связки. Может быть, моя подавленность просто следствие физической усталости — мне очень нужно отдохнуть, я немного выдохся.

Фиске уехали в свой обычный шестимесячный отпуск. Они поехали к сыну, который теперь обосновался в Вирджинии. Мне не хватает их.

Как мне повезло, что у меня такие милые и деликатные соседи, я полностью осознал, узнав их заместителя, достопочтенного Эзру Солкинза. Шанфу Эзра не то и не другое. Это крупный человек с неизменно сияющей

физиономией, сокрушительным рукопожатием и улыбкой, похожей на тающий жир. Раздавливая мои пальцы, он заорал: "Я сделаю все, чтобы помочь вам, брат, решительно все".

Фиске будут моими почетными гостями в Лиу. Но не Эзра... Не прошло бы и минуты, как он заклеил бы могилу отца Рибьеру бумажками с надписями: "Брат, спасен ли ты?" О, чтоб!..

Я ворчлив и раздражителен, это все этот пирог со сливами, который Мерси Мария заставила меня съесть за свадебным завтраком...

Я был по-настоящему счастлив, получив длинное письмо, датированное 10-м июня 1922 г., от матери Марии-Вероники. После долгих превратностей судьбы, тягот войны и унижений перемирия она, наконец, вознаграждена назначением на пост игуменьи Сикстинского монастыря в Риме. Это прекрасный старый монастырь их ордена, расположенный на высоком склоне между Корсо и Квириналом^[58] и возвышающийся над Сапорелли и прелестной церковью святых Апостолов. Это очень большой пост, но она вполне достойна его. Мария-Вероника кажется довольной, умиротворенной... От ее письма на меня так повеяло благоуханием священного города — эта фраза вполне подошла бы Ансельму, который всегда был предметом моей нежной любви, — что я дерзнул составить некий план. В один прекрасный день, наконец, я получу уже дважды откладывавшийся отпуск для лечения, что тогда может мне воспрепятствовать съездить в Рим, вдоволь побродить по мозаичным полам святого Петра и в придачу повидать мать Марию-Веронику? Когда в апреле я писал Ансельму, поздравляя его с назначением ректором кафедрального собора в Тайнкасле, он в своем ответе заверил меня, что в ближайшие полгода я получу в помощь еще одного священника и что еще до конца этого года мне будет предоставлен отпуск, "в котором я так нуждаюсь".

Нелепая дрожь сотрясает мои выгоревшие на солнце кости, когда я думаю, что меня может ожидать такое счастье. Довольно! Я должен начать копить деньги, чтобы купить себе приличный костюм. Что подумает добрая настоятельница монастыря, если у безвестного коллеги, претендующего на знакомство с ней, сзади на штанах окажется заплатка?..

17 сентября 1923. Просто с ума сойти! Сегодня приехал мой новый священник. Наконец-то у меня есть товарищ по работе. Это так хорошо, что просто не верится, что это правда. Хотя поначалу объемистые послания Ансельма вселяли в меня надежду, что это будет молодой крепкий шотландец (предпочтительно, чтобы он был веснушчатый и с соломенными волосами), последние его сообщения подготовили меня к тому, что новым

отцом будет китаец из Пекинского колледжа. Мое извращенное чувство юмора побудило меня утаить от сестер приближающуюся развязку. Они целыми неделями готовились ухаживать за юным миссионером, приехавшим с родины, — Клотильда и Марта мечтали о чем-нибудь галльском с бородой, а бедная мать Мерси Мария молилась о том, чтобы он был ирландцем. Надо было видеть ее честное ирландское лицо, когда она влетела в мою комнату, вся багровая от ужаса.

— Новый отец — китаец!

Но отец Чжоу оказался замечательным человеком. Он не только спокоен и приятен, но в нем чувствуется необычайно напряженная внутренняя жизнь, что вообще является отличительной чертой китайцев. Во время моих редких паломничеств в Сэньсян я встречал нескольких китайских священников, и они всегда меня поражали. Если бы я не боялся быть напыщенным, я бы сказал, что хорошие китайские священники, по-видимому, сочетают в себе мудрость Конфуция с добродетелью и силой Христа.

И теперь в будущем месяце я еду в Рим... мой первый отпуск за девятнадцать лет. Я снова как холиуэллский школьник в конце семестра, колотящий по парте и распеваящий:

Еще две недели, всего две недели,

И я буду делать, что хочу-у-у!

Интересно, не разлюбила ли мать Мария-Вероника имбирные палочки. Отвезу ей, рискуя, что она скажет, что теперь предпочитает макароны.

Хей-хо! Как восхитительна жизнь! В мое окно я вижу молодые кедры, в бурной радости раскачивающиеся на ветру. И теперь я должен написать в Шанхай и заказать себе билет. Ура!

Октябрь 1923. Вчера пришла телеграмма, отменяющая мою поездку в Рим, и я только что вернулся с вечерней прогулки по берегу реки, где я долго стоял в мягком тумане и наблюдал ловлю рыбы большими бакланами. Это очень грустный способ ловить рыбу, а может быть, это просто мне было грустно смотреть на него. Большим птицам надевают на шею кольца, чтобы они не могли проглотить рыбу. Они лениво распластываются на бортах лодки, словно им смертельно надоела вся эта процедура. Вдруг нырок, летящие брызги... и вот появляется большой клюв, из которого торчит извивающийся хвост рыбы. Потом начинаются мучительные волнообразные движения шеи. Когда у птиц отнимают их добычу, они трясут головами, безутешные, но ничуть не наученные горьким опытом. Затем они снова припадают к лодке, мрачно | размышляя и накапливая силы для нового поражения.

Богу известно, что мое собственное настроение было достаточно мрачным и безнадежным. Когда я стоял у серо-свинцовой воды, и ночной ветер швырял волны на кудрявые, как волосы, водоросли на берегу, мои мысли были, как это ни странно, не о Риме, но о реках Твидсайда и о себе, босоногом, стоящем в журчащей хрустальной воде и забрасывающем удочку из ивовой лозы на форель.

Последнее время я все больше и больше погружаюсь в воспоминания детства, они встают передо мной так живо, будто все было только вчера — верный признак приближающейся старости. Я даже уношусь в мечтах, с нежностью и тоской, к моей детской любви — кто бы мог подумать! — к моей дорогой любимой Норе. Видите, я уже достиг сентиментальной стадии разочарованности, значит, скоро я покончу с ней, но, когда пришла телеграмма, то, выражаясь словами старой Мэг, "выгрести было тяжело".

Теперь я почти примирился с бесповоротной окончательностью моего изгнания. В принципе, может быть, это и правильно, потому что возвращение в Европу выбивает из колеи священников- миссионеров. В конце концов, мы отдаем себя целиком, и отступления для нас нет. Я здесь на всю жизнь. И я улягусь, наконец, в тот маленький кусочек Шотландии, где покоится Уилли Таллох.

Более того, несомненно, логично и справедливо, что поездка Ансельма в Рим гораздо нужнее моей. Средства общества не позволяют двух таких экскурсий. И он лучше сможет рассказать папе римскому об успехах "его войск", как он нас называет. Там, где я буду косноязычен и неуклюж, он будет пленять и... "собирать в житницу" деньги и помощь для всех иностранных миссий. Он обещал подробно писать мне обо всех своих деяниях. Я должен наслаждаться Римом в его лице, вообразить себя на приеме у папы и встретиться с Марией-Вероникой мысленно. Я не мог заставить себя принять предложение Ансельма провести короткий отпуск в Маниле. Его веселье тяготило бы меня, и я сам смеялся бы над маленьким одиноким человечком, бродящим по гавани и воображающим, что он находится на Понтийском холме.

Через месяц... Отец Чжоу благополучно обосновался в Лиу, и наши голуби, обгоняя друг друга, носятся в поднебесье.

Какая радость, что мой план так чудесно осуществляется. Хотелось бы мне знать, упомянет ли Ансельм, когда увидит папу римского — может же он сказать всего словечко — об этой крошечной драгоценности, возникшей среди диких просторов и забытой когда-то всеми... кроме Бога...

22 Ноября 1928. Как можно выразить нечто возвышенное словами — одной убогой, сухой фразой? Прошлой ночью умерла сестра Клотильда. Я

не часто говорил о смерти в этом моем отрывочном отчете о моей незавершенной жизни. Когда год тому назад тетя Полли скончалась во сне в Тайнкасле, тихо и мирно, просто от доброты своей и от старости, и я узнал об этом из письма Джуди с пятнами от слез, я просто записал здесь:

"Полли умерла 17 октября 1927 г."

Есть какая-то неизбежность в смерти близких нам хороших людей. Но бывают иные смерти... иногда они поражают нас, сырых, выдавших виды священников, как откровение.

Клотильда несколько дней слегка, как нам казалось, приболела. Когда они позвали меня вскоре после полуночи, я был потрясен тем, как она изменилась. Я сейчас же послал сказать Джошуа, старшему сыну Иосифа, чтобы он бежал за доктором Фиске. Но Клотильда, со странным выражением лица, остановила меня. Улыбнувшись, она сказала, что не стоит затруднять Джошуа этим путешествием. Она сказала очень мало, но достаточно.

Когда я вспоминал, как годы назад я язвительно упрекал ее за пристрастие к хлородину, я мог бы заплакать над своей глупостью. Я всегда слишком мало думал о Клотильде: ее натянутость, с которой она ничего не могла поделать, ее болезненная боязнь покраснеть, страх перед людьми, перед своими собственными слишком напряженными нервами делали ее внешне непривлекательной, даже смешной. Следовало бы поразмыслить об усилиях такой природы для преодоления себя, подумать о незримых победах. Вместо этого думали только о зримых поражениях.

Полтора года она страдала от опухоли в желудке, выросшей в результате хронической язвы. Когда она узнала от доктора Фиске, что сделать ничего нельзя, она взяла с него слово, что он сохранит это в тайне и вступила в бой, в никем не воспетый бой. Прежде чем меня к ней позвали, первое сильное кровотечение совершенно обессилило ее. В шесть часов утра у нее было второе кровотечение, и она умерла совершенно спокойно. А в промежутке между ними мы говорили... но я не смею записать этот разговор. Прерывистый и бессвязный, он покажется бессмысленным... над ним легко можно надсмеяться... но, увы, мир нельзя переделать глумлением...

Мы все страшно расстроены, особенно Марта. Она вроде меня — сильна, как мул, и проживет до ста лет. Бедная Клотильда! Она была кротким и нежным созданием. В своей жертвенности Клотильда напоминала скрипку, струны которой были слишком сильно натянуты и иногда издавали неприятный звук. Видеть, как на лицо ложится мир, спокойное приятие смерти, отсутствие страха... это облагораживает

человеческое сердце.

30 Ноября 1929. Сегодня у Иосифа родился пятый ребенок. Как летит жизнь! Никому и присниться не могло, что в моем застенчивом, храбром, болтливом, обидчивом мальчике скрываются задатки патриарха! Может быть, его пристрастие к сахару должно было послужить мне предостережением?! В самом деле, теперь он стал прямо-таки важной персоной — он во все вмешивается, очень любит свою жену, несколько напыщен и довольно грубо обходится с нежелательными, по его мнению, посетителями. Я и сам немного побаиваюсь его...

Через неделю. У нас тут еще новости... Парадная обувь господина Чиа вывешена на Маньчжурских воротах. Здесь это считается огромной честью... и я очень рад за моего старого друга. По своей аскетической, созерцательной, великодушной натуре он всегда тяготел ко всему разумному и прекрасному, к тому, что вечно.

Вчера пришла почта. Я понял уже давно, гораздо раньше его громадного успеха в Риме, что Ансельм должен достичь высокого положения в Церкви. И вот, наконец, его труды на благо иностранных миссий принесли ему надлежащую награду Ватикана. Он теперь новый епископ Тайнкасла. Возможно, что самым тяжелым испытанием для нашего духовного зрения является созерцание чужого успеха. Его блеск причиняет нам боль. Но теперь, на пороге старости, я стал близорук. Меня не трогает слава Ансельма. Я, пожалуй, даже рад, потому что знаю, что он сам вне себя от радости. Зависть — такое отвратительное чувство! Надо помнить, что потерпевший поражение, все еще обладает всем, если он обладает Богом. Мне хотелось бы приписать это своему великодушию. Но это вовсе не великодушие, а просто понимание разницы между Ансельмом и мной... понимание того, как смешно было бы мне домогаться crozier^[59].

Хоть мы и стартовали вместе, Ансельм далеко обогнал меня. Он полностью развил свои таланты и теперь, насколько я могу судить по газете "Тайнкасл кроникл", является "великолепным лингвистом, выдающимся музыкантом, покровителем литературы и искусства в епархии и имеет широкий круг влиятельных друзей". Вот это удача! У меня за всю мою небогатую событиями жизнь было не больше шести друзей, да и те, за исключением одного, были простыми людьми. Я должен написать Ансельму и поздравить его, дав ему, однако, понять, что я вовсе не собираюсь использовать нашу дружбу и просить о повышении.

Viva Anselmo! Мне грустно, когда я думаю, как много ты сделал из своей жизни и как мало сделал я из своей. Я так часто и так больно разбивал себе голову в своем стремлении к Богу.

30 декабря 1929. Вот уже почти месяц, как я ничего не записывал в этот дневник... с тех самых пор, как пришло известие о Джуди. Мне и сейчас еще трудно, кроме как в самых общих чертах, написать о том, что случилось там, дома... и о том, что происходит здесь, у меня в душе. Я льстил себя мыслью, что я достиг блаженной отрешенности и примирился с окончательностью моего изгнания. Две недели назад я был особенно благодушно настроен. Осмотрев свои недавние приобретения: четыре рисовых поля у реки, купленные в прошлом году, расширенный скотный двор за тутовой рощей и новый табун пони, я направился в церковь, чтобы помочь детям устраивать рождественские ясли. Это занятие доставляет мне какую-то особую радость. Отчасти это объясняется, наверное, той одержимостью, которая неотступно завладела мною на всю жизнь, — любовью к детям. Злые языки, вероятно, назвали бы это подавленным отцовским инстинктом. Я люблю детей, всех детей, начиная с младенца Христа и кончая самым плохеньким маленьким желтеньким беспризорником, какой когда-либо ползал на четвереньках по миссии святого Андрея.

Мы сделали великолепные ясли с занесенной снегом крышей (снег был из настоящей ваты) и сзади пристраивали к стойлу быка и осла. У меня была припасена всякая всячина, разноцветные свечи и прекрасная прозрачная звезда, которая должна была повиснуть в небе и светить сквозь еловые ветки.

Я смотрел на сияющие личики вокруг меня и слушал возбужденную ребячью болтовню — это ведь один из тех случаев, когда развлечения в церкви дозволены, — и у меня было удивительное чувство легкости. Мне представлялись рождественские ясли во всех христианских церквях мира, где величают этот милый праздник Рождества, который даже для тех, кто не может верить, не может не быть прекрасным, как праздник всякого материнства. В этот момент один из старших мальчиков, посланный матерью Мерси Марией, поспешно вбежал с телеграммой. Поистине, злые вести и так достаточно быстро доходят до нас, без помощи телеграмм, которые разносят их вокруг земли. Наверное, я изменился в лице, когда читал. Одна из самых маленьких девочек начала плакать. Вся радость в душе у меня погасла. Может быть, скажут, что с моей стороны глупо так близко принимать это к сердцу. Фактически я потерял Джуди, когда она была подростком, при моем отъезде в Байтань. Но в мыслях я прожил с ней всю ее жизнь. То, что она писала редко, делало ее письма более выпуклыми, как бусинки на четках. Сила наследственности безжалостно влекла Джуди за собой. Она никогда не знала, чего она хочет или куда идет.

Но пока около нее была Полли, она не могла стать жертвой своего каприза.

Во время войны Джуди процветала, как и множество других молодых женщин, работающих на военных заводах и получающих большое жалование. Она купила себе меховое пальто и пианино — как хорошо я помню то письмо, в котором мне сообщались эти радостные новости — и была намерена продолжать в том же духе, сама атмосфера тех лет благоприятствовала ее усилиям. Это была пора ее расцвета. Когда война окончилась, ей было за тридцать, благоприятных возможностей для работы было мало, Джуди постепенно оставила всякую мысль о карьере и вновь погрузилась в спокойную жизнь с Полли, разделяя с ней тихую квартиру в Тайнкасле и обретая, как я надеялся, вместе со зрелостью большую уравновешенность. Она, казалось, всегда относилась к представителям другого пола со странной подозрительностью, и ее никогда не привлекало замужество. Ей было сорок, когда умерла Полли, и невозможно было помыслить, что она изменит своей холостой жизни. Однако через восемь месяцев после похорон Джуди вышла замуж... и позднее была брошена. Не к чему скрывать тот грубый факт, что женщина часто делает страшные вещи в критическом возрасте. Но не этим объяснялась эта жалкая комедия. Полли оставила Джуди в наследство около двух тысяч фунтов — достаточно, чтобы обеспечить ей скромный годовой доход. Только получив письмо Джуди, я догадался, как ее убедили реализовать свой капитал и передать его ее рассудительному, честному и воспитанному мужу, которого она встретила впервые, по-видимому, в пансионе в Скарборо. Можно было бы, без сомнения, написать целые тома на эту основную житейскую тему... драматичные... аналитические... в возвышенном викторианском стиле... может быть, с самодовольной иронией тех, кто находит смешное в легковерии человеческой природы.

Но эпилог был очень краток, написан в десяти словах на телеграфном бланке, который я держал в руке, стоя у рождественских ясель. От этого запоздалого мимолетного союза у Джуди родился ребенок. И она умерла от родов.

Теперь, когда я размышляю об этом, я вижу, что через всю непоследовательную жизнь Джуди проходила какая-то темная нить. Она была наглядным свидетельством не греха, — как я ненавижу это слово и как не доверяю ему, — но человеческой слабости и глупости. В них причина и объяснение того, чем мы являемся здесь на земле, в них трагедия всех смертных.

И теперь, в другом варианте, но с все той же печалью, эта трагедия снова увековечивается. Я не могу заставить себя подумать о судьбе этого

несчастливого ребенка, о котором некому позаботиться, кроме женщины, что ухаживала за Джуди, — она и прислала мне телеграмму. Очень легко ее себе представить: это одна из тех мастериц на все руки, которые берут к себе жить будущих матерей, находящихся в стесненных и несколько сомнительных обстоятельствах. Я должен немедленно ей ответить... и послать денег... то небольшое, что у меня есть. Когда мы принимаем обет святой бедности, мы как-то странно эгоистичны, забывая о тех ужасных обязательствах, которые может наложить на нас жизнь. Бедная Нора... бедная Джуди... бедный маленький безымянный ребенок...

19 июня 1930. Великолепный, сияющий, солнечный день раннего лета, и на душе у меня полегчало после письма, полученного сегодня днем.

Ребенка окрестили Эндрию в честь нашей имеющей дурную репутацию миссии, и эта новость тешит мое старческое тщеславие, словно я сам дедушка этого маленького бедняги. А может быть, хочу я того или нет, мне все-таки придется быть ему дедушкой. Отец исчез, и мы не станем делать попыток разыскать его. Но если я буду посылать каждый месяц некоторую сумму денег, то эта женщина, миссис Стивене, — а она, кажется, хорошая, — будет заботиться о нем. Вот я опять не могу удержаться от улыбки... моя карьера священника была такой мешаниной всяких странностей... что вырастить младенца на расстоянии восьми тысяч миль будет ее достойным завершением.

Минуточку! Эти слова — "моя карьера священника" — задели меня за живое. Как-то во время одной из наших перепалок, — кажется, речь шла о чистилище, — Фиске заявил очень запальчиво, так как я брал верх над ним: "Вы рассуждаете так, будто вы и последователь секты святого Роллера^[60] и представитель высокой англиканской церкви одновременно". Это сразу заставило меня остановиться. Я полагаю, что мое воспитание и то неподдающееся измерению влияние, которое оказал на меня, когда я был ребенком, милый старый Дэниел Гленни, сделали меня чрезмерно либеральным. Я люблю свою религию, в которой я родился, которой я учу, как могу, других вот уже больше тридцати лет и которая неизменно приводила меня к источнику всякой радости, к источнику вечной доброты. Но здесь, в моем уединении, мои взгляды упростились, стали яснее с годами. Мысленно я связал и тщательно упрятал все сложные, не имеющие существенного значения догматические придирики. Откровенно говоря, я не могу верить, что какое-нибудь Божье создание будет осуждено на вечные муки из-за съеденной в пятницу бараньей котлеты. Если у нас есть основное — любовь к Богу и к ближнему — то с нами все в порядке. И не пора ли церквам всего мира отказаться от взаимной ненависти... и

объединиться?

Мир — это единое живое дышащее тело, здоровье которого зависит от множества, составляющих его клеток... и каждая крошечная клетка — сердце человека...

15 декабря 1932. Сегодня новому патрону этой миссии исполнилось три года. Я надеюсь, что он хорошо провел свой день рождения и не объелся конфетами, которые по моему письменному заказу ему должны были доставить из Твидсайда.

1 сентября 1935. О Господи, не дай мне стать старым глупцом... этот дневник все больше и больше превращается в бессмысленное повествование о ребенке, которого я никогда не видел и никогда не увижу. Я не могу вернуться, а он не может приехать сюда. Даже мое упрямство отступает перед нелепостью мысли о его приезде... хотя, если говорить начистоту, я спрашивал об этом у доктора Фиске, и он сказал мне, что здешний климат смертелен для английского ребенка в таком нежном возрасте. Однако, должен признаться, что я беспокоюсь. Читая между строк, я вижу из писем миссис Стивене, что ей, кажется, не везет в последнее время. Она перебралась в Керкбридж. Насколько я помню, это город текстильных фабрик недалеко от Манчестера, отнюдь не производящий хорошего впечатления. Тон ее писем тоже изменился, и я подозреваю, что ее начинают больше интересовать деньги, которые она получает за Эндрью, чем он сам. Но приходской священник дал ей прекрасную характеристику, и до сих пор она была замечательной. Конечно, я сам во всем виноват. Я мог бы до известной степени обеспечить будущее Эндрью, поручив его какому-нибудь из наших превосходных католических учреждений для детей. Но как-то... он мой единственный "кровный родственник", живое воспоминание о моей дорогой потерянной Норе... я не могу и не хочу быть таким безличным... ...это, наверное, потому, что у меня вечно все не как у людей... все во мне восстает против казенщины. Ну, что ж... если это так... мне... и Эндрью... придется отвечать за последствия... мы в руках Божиих, и Он..."

Тут отец Чисхолм стал переворачивать страницу, но его сосредоточенность была нарушена стуком копыт пони во дворе. Он поколебался, прислушиваясь, — ему не хотелось расставаться с охватившей его задумчивостью. Но стук копыт становился все громче, к нему примешались оживленные голоса. Он поджал губы, выражая покорность. Потом перечитал последнюю запись в дневнике, взял перо и добавил еще одну.

"30 апреля 1936. Я собираюсь уезжать в селение Лиу с отцом Чжоу и

четой Фиске. Отец Чжоу прибыл вчера из деревни. Он обеспокоен болезнью одного молодого пастуха — опасаются, не оспа ли у него. Отец Чжоу изолировал его и приехал ко мне за советом. Я решил отправиться туда вместе с ним. На наших хороших пони, по новой дороге это займет всего два дня. А потом мне пришло в голову, что я уже несколько раз обещал доктору Фиске и его жене показать им нашу образцовую деревушку, и я решил, что мы могли бы совершить эту поездку вчетвером. Тем более, что это моя последняя возможность выполнить давно обещанное. В конце этого месяца они возвращаются в Америку.

Вот, я слышу, что они пришли. Я знаю, они с нетерпением ждут этой экскурсии... А уж я не премину по дороге как следует отделать Фиске за его отъявленную наглость... Сказать, что я сектант! Тоже мне!.."

12

Солнце уже склонялось к голым вершущкам гор, окаймлявших узкую долину. Отец Чисхолм ехал во главе своего небольшого отряда, погрузившись в мысли о Лиу, где они оставили отца Чжоу и лекарство для больного пастуха. Священник примирился с мыслью, что им придется еще раз заночевать в пути. Тут он увидел на изгибе дороги трех человек в грязной бумажной форме, которые брели, ссутулясь и опустив винтовки на бедра. Это была привычная картина: провинция кишела бродячими шайками солдат, разбежавшихся из своих частей. Он проехал мимо них, пробормотав: "Мир вам", и придержал своего пони в ожидании остальных своих спутников. Однако, когда отец Чисхолм повернулся к ним, то с удивлением увидел выражение ужаса на лицах двух носильщиков из методистской миссии и внезапную тревогу в глазах своего слуги.

— Похоже, что это люди Вая, — Джошуа показал на дорогу впереди. — А вон и другие.

Священник резко обернулся. Около двадцати серо-зеленых фигур приближалось по дороге, поднимая клубы медленно оседающей белой пыли. По покрытой тенью горе вытянувшаяся извилистой линией шла еще дюжина солдат. Он переглянулся с Фиске:

— Поехали вперед.

Минуту спустя обе группы встретились. Отец Чисхолм, улыбаясь и произнося свое обычное приветствие, продолжал непрерывно продвигаться вперед на своем пони. Солдаты с глуповато-изумленным видом

автоматически расступались. Единственный конный среди них — молодой человек в фуражке со сломанным козырьком — выглядел начальником, это подчеркивалось капральской повязкой, съехавшей на обшлаг рукава. Он нерешительно придержал своего лохматого пони и спросил:

— Кто вы? И куда едете?

— Мы миссионеры, возвращаемся в Байтань.

Отец Чисхолм ответил спокойно, даже не оборачиваясь в седле и продолжая увлекать за собой всех остальных. Теперь они уже почти миновали грязную, изумленную, глазевшую на них толпу: миссис Фиске и доктор сразу за ним, а следом за ними Джошуа и двое носильщиков. Капрал колебался, но был до некоторой степени удовлетворен. Встреча уже теряла свою опасность, сводилась к чему-то заурядному, как вдруг старший из двух носильщиков потерял голову. Когда он проезжал между солдатами, то наткнулся на винтовку и, пронзительно закричав от панического страха, бросил свой тюк и помчался под укрытие кустарника на горе. Отец Чисхолм подавил резкое восклицание. В сгущающихся сумерках на секунду все замерло в неподвижности. Потом прозвучал выстрел, другой, третий. Эхо прокатилось вниз по горам. Когда синяя фигура носильщика, согнувшаяся пополам, исчезла в кустах, раздались громкие крики солдат. Выйдя из оцепенелого удивления, они толпой окружили миссионеров, неистовыми криками выражая свое возмущение.

— Вы должны идти с нами.

Как и предвидел отец Чисхолм, реакция капрала была немедленной.

— Мы всего только миссионеры, — возбужденно запротестовал доктор Фиске, — у нас ничего нет, мы честные люди.

— Честным людям нечего убегать. Вы должны пойти с нами к нашему предводителю Ваю.

— Но, уверяю вас...

— Уилбур! — спокойно вмешалась миссис Фиске. — Ты только сделаешь хуже. Не трать слова понапрасну.

Их сбили в кучу, окружили солдатами и, грубо подталкивая, повели по дороге, которую они только что пересекли. Они прошли назад около пяти ли, потом молодой офицер повернул на запад в сухое русло реки, извилистое и каменистое, уходящее в горы. В начале глубокого оврага они остановились. Здесь, развалившись в самых непринужденных позах, с сотню солдат курили, жевали бетель^[61], искали вшей подмышками и выковыривали комочки грязи, застрявшей между пальцами босых ног. На плоском камне, скрестив ноги и ужиная перед маленьким костром, прислонившись к стене ущелья, сидел Вайчу.

Ваю теперь было лет пятьдесят пять. Огромный, толстобрюхий, он был еще более неподвижен, чем раньше, и эта неподвижность стала еще более зловещей. Его намазанные топленным маслом длинные волосы были разделены посередине пробором и падали на лоб, постоянно нахмуренный, отчего косые глаза стали узкими, как щелочки. Три года тому назад пуля снесла ему верхнюю губу и выбила передние зубы. Шрам был ужасен. Несмотря на это, Фрэнсис сразу узнал в нем того всадника, который плюнул ему в лицо у ворот миссии в ночь отступления. До сих пор он довольно спокойно относился к их задержанию. Но теперь, под этим нечеловеческим пустым взглядом исподлобья, в котором он увидел, что и его тоже узнали, священник почувствовал, как у него больно сжалось сердце. Пока капрал многословно докладывал Ваю обстоятельства, при которых он задержал пленников, тот продолжал есть с непроницаемым видом, отправляя в глотку двумя палочками струю жидкого риса и куски свинины из миски, зажатой у него под подбородком. Внезапно два солдата бегом ворвались в ущелье. Они тащили убежавшего носильщика. Последним рывком они бросили его в круг, освещенный огнем костра. Несчастный упал на колени около Вая, со скрученными за спиной руками, тяжело дыша и бормоча что-то нечленораздельное, совершенно вне себя от страха. Вай продолжал есть. Затем небрежным жестом вытащил револьвер из-за пояса и выстрелил. Застигнутый в умоляющей позе, носильщик упал вперед. Тело его продолжало дергаться на земле. Розоватая жирная масса медленно вытекала из раздробленного черепа. Оглушительный раскат выстрела еще не замер в воздухе, как Вай снова принялся за ужин. Миссис Фиске слабо вскрикнула. Но отдохавшие солдаты, на секунду поднявшие головы, не обратили никакого внимания на происшедшее. Те двое, которые приволокли сюда носильщика, теперь оттащили его труп в сторону и методично снимали с него сапоги, одежду и связку медных монет.

Отец Чисхолм был ошеломлен, ему стало тошно и омерзительно. Доктор Фиске, очень бледный, стоял рядом с ним.

— Спокойно... не показывайте вида... иначе нам не останется никакой надежды... — шепнул ему Фрэнсис.

Они ждали. Холодное и бессмысленное убийство зарядило воздух ужасом. По знаку Вая второго носильщика вытащили вперед и бросили на камни. Ужасное предчувствие охватило священника, ему казалось, что сейчас его стошнит. Но Вай только сказал им всем, не обращаясь ни к кому в отдельности:

— Этот человек, ваш слуга, немедленно отправится в Байтань и уведомит ваших друзей, что вы временно находитесь на моем попечении.

За такое гостеприимство обычно приносят добровольные дары. Послезавтра в полдень двое моих людей будут ждать его за пол-ли от Маньчжурских ворот. Он подойдет к ним один, — Вай равнодушно помолчал. — Надо надеяться, что он принесет эти добровольные дары.

— Вам совершенно невыгодно делать нас своими гостями, — сказал доктор Фиске дрожащим от негодования голосом. — Я уже говорил вам, что у нас нет никакого имущества.

— За каждого человека нужно внести пять тысяч долларов. Только и всего.

Фиске вздохнул с облегчением. Эта сумма, хотя и большая, не была недоступной для такой богатой миссии, как их.

— Тогда позвольте моей жене вернуться вместе с посыльным. Она обеспечит уплату денег.

Вай пропустил его слова мимо ушей. Священник со страхом ждал, что его не владеющий собой товарищ сейчас устроит сцену. Но Фиске отошел назад и встал около жены. Носильщика отправили, предварительно растолковав ему еще раз, что от него требуется. Потом Вай встал и, пока его люди готовились к отъезду, пошел к своему привязанному пони. Он вел себя так буднично, что вывернутая голая нога мертвеца, торчавшая из-за земляничного дерева, воспринималась как галлюцинация. Миссионеров заставили сесть на пони, затем связали их всех вместе длинными пеньковыми веревками. Кавалькада тронулась в надвигающуюся ночь. Разговор при этом неровном галопе был невозможен. Отец Чисхолм предался своим мыслям, которые сосредоточились на человеке, задержавшем их ради выкупа.

В последнее время могущество Вая сошло на нет. Это привело его ко многим эксцессам. Прошло то время, когда он был традиционным военачальником, повелевающим всем районам в провинции Чжэкоу при помощи своей трехтысячной армии, от которого откупались разные городки и поселки, платя ему подати и налоги, и который жил в феодальной роскоши в своей обнесенной стенами крепости в Доуэнлай. Когда-то, на вершине своей славы, Вай заплатил 50000 талей за наложницу из Пекина. Теперь настали черные дни. Теперь он жил со дня на день, кормясь мелкими набегами. После сокрушительного поражения в двух заранее подготовленных сражениях с соседствующими наемниками, Вай сначала связал свою судьбу с Миндуаном, а потом, в приступе злобы, с враждующей стороной — с Юцзиду. В действительности же ни тот, ни другой не желали его сомнительной помощи. Порочный дегенерат, он боролся только за себя. Его люди непрерывно дезертировали. По мере того,

как сокращался масштаб его операций, возрастала его жестокость. Когда его унижение достигло предела и под его командой осталось всего сотни две последователей, его грабежи и поджоги стали темой страшных рассказов. Этот падший Люцифер питал свою ненависть воспоминаниями о минувшей славе и ненавидел весь род людской.

Ночь тянулась бесконечно. Они пересекли цепь низких гор, переправились вброд через две речки, ехали целый час, разбрызгивая воду и грязь, по низменной болотистой топи.

Кроме этих признаков и того, что, судя по положению Полярной звезды, они ехали на запад, у отца Чисхолма не было никакого представления о том, в каких местах они проезжали. Ему, в его годы привыкшему к спокойной иноходи своего пони, казалось, что от этой быстрой езды и тряски все его кости сотрясаются и гремят друг о друга. Но он подумал с состраданием, что чета Фиске переносит то же самое ни за что, ни про что. А Джошуа, бедный мальчик, хоть он и достаточно силен, наверное, страшно перепуган. Священник подумал, что, когда они вернутся в миссию, он непременно подарит Джошуа чалого пони, который вот уже полгода был предметом его молчаливого вождения.

Закрыв глаза, отец Чисхолм коротко помолился о спасении их всех. Рассвет застал их среди дикого нагромождения скал и песчаных наносов, совершенно необитаемого, без всякой растительности, кроме разбросанных там и сям пучков желтой травы. Но через час они услышали звук журчащей воды и за откосом увидели разрушенную крепость Доуэнлай. На склоне крутого холма располагалась беспорядочная куча старых домов из глиняного кирпича, окруженная зубчатой стеной, поцарапанной и опаленной многими осадами. На берегу реки стоял старый буддистский храм с покрытыми глазурью колоннами, но без крыши.

Внутри крепостных стен все спешили, и Вай, не говоря ни слова, вошел в свой дом — единственное пригодное для жилья строение. Утренний воздух был холоден. Пока миссионеры, дрожа, все еще связанные вместе, стояли на твердо утоптанном дворе, из маленьких пещер, что лепились подобно сотам, в скале, высыпало множество женщин и стариков, которые все время громко переговаривались и вместе с солдатами разглядывали пленников.

— Мы были бы благодарны за пищу и отдых, — обратился отец Чисхолм ко всем вместе.

"Пища и отдых" — эти слова передавались друг другу зрителями, как забавная шутка. Священник терпеливо продолжал:

— Вы же видите, как измучена женщина-миссионерка. — (Миссис

Фиске, и правда, стояла в полуобмороке). — Может быть, какой-нибудь добрый человек даст ей горячего чаю.

"Чаю... горячего чаю..." эхом отозвалась толпа, сдвигаясь теснее вокруг. Они были уже на расстоянии вытянутой руки от миссионеров. Вдруг старик в переднем ряду с обезьяньей жадностью ухватился за часовую цепочку доктора.

Это послужило сигналом к началу грабежа — деньги, молитвенник, Библия, обручальное кольцо, старый карандаш священника в серебряной оправе — через три минуты маленькая группа лишилась всего, кроме ботинок и одежды. Когда эта свалка прекратилась, взгляд одной из женщин был привлечен неярким блеском черной пряжки на шляпе у миссис Фиске. Она тут же вцепилась в нее. Понимая, какая страшная опасность ей угрожает, миссис Фиске издала пронзительный крик и с храбростью отчаяния вступила в борьбу. Но все было напрасно. Пряжка, шляпа и парик, — все вместе, — были сорваны с ее головы и цепко зажаты в руках нападающей стороны. В мгновение ока ее лысая голова, беспощадно выставленная напоказ, засияла во всей своей гротескной и ужасной наготе. Все затихли. Потом раздался взрыв смеха, пронзительных криков, насмешек и издевательств. Миссис Фиске закрыла лицо руками и разразилась горючими слезами. Доктор робко попытался прикрыть череп жены носовым платком, но кусочек цветного шелка был немедленно сорван и исчез у него на глазах. Бедная женщина, подумал отец Чисхолм, сострадательно отводя глаза в сторону.

Внезапное появление капрала прекратило веселье столь же быстро, сколь быстро оно возникло. Толпа рассеялась, когда миссионеров увели в одну из пещер, отличавшуюся от других тем, что она была снабжена тяжелой решетчатой дверью, которая тут же захлопнулась за ними.

— Ну, — сказал отец Чисхолм, помолчав, — по крайней мере здесь мы уже будем одни.

Они долго молчали. Маленький доктор, усевшийся на земляной пол и обнявший одной рукой свою плачущую жену, уныло сказал:

— Это после скарлатины. Она схватила ее в первый год нашего пребывания в Китае. Агнес болезненно относилась к этому). Мы так старались, чтобы никто не узнал.

— Никто и не узнает, — не задумываясь, соврал священник. — Джошуа и я будем молчать, как могила. Когда мы вернемся в Байтань, все можно будет исправить.

— Ты слышишь, Агнес, дорогая моя? Умоляю, перестань плакать, моя любимая.

Заглушённые рыдания стали слабее, потом совсем затихли. Миссис Фиске медленно подняла заплаканные глаза с покрасневшими веками.

— Вы очень добры, — сказала она, с трудом подавляя слезы.

— Между прочим, они, кажется, оставили мне это, вот... если это может вам пригодиться... — отец Чисхолм извлек из внутреннего кармана большой цветной носовой платок.

Она смиренно и благодарно взяла его и завязала наподобие чепца с кокетливым узлом за ухом.

— Ну вот, ну полно, моя милая, — Фиске похлопал ее по спине. — Ты опять выглядишь очаровательно.

— Правда, милый? — она даже слегка улыбнулась чуть-чуть кокетливо. Ее настроение поднялось. — Ну, а теперь посмотрим, что можно сделать, чтобы хоть немного привести в порядок этот несчастный яофан.

Сделать почти ничего нельзя было: в пещере, размером не более девяти футов в глубину, не было ничего, кроме какой-то разбитой посуды и насыщенного влагой мрака. Свет и воздух проникали в нее только через щели в забаррикадированном входе. В пещере было уныло, как в могиле. Но измученные пленники тут же растянулись на полу и сразу заснули. В полдень их разбудил скрип открывающейся решетки. В яофан проник луч солнца. Затем туда вошла женщина средних лет. Она принесла кувшин горячей воды и два караваея черного хлеба. Остановившись, женщина наблюдала, как отец Чисхолм протянул один хлеб доктору Фиске, а затем молча разломил второй пополам и дал половину Джошуа. Что-то в ее позе, в ее смуглом и каком-то угрюмом лице заставило священника внимательно взглянуть на нее.

— Да ведь это же Анна! — воскликнул он, вздрогнув от изумления. — Ведь вы Анна?

Она не ответила. Дерзко выдержав его взгляд, женщина повернулась и вышла.

— Вы знаете эту женщину? — быстро спросил Фиске.

— Я не уверен... Хотя нет, я уверен, что это она. Когда она была девочкой, она жила у нас в миссии... и она убежала.

— Это не делает большой чести вашему воспитанию, — впервые в голосе Фиске послышалось раздражение.

— Ну, это мы еще увидим.

В эту ночь они спали плохо. Неудобства возрастали с каждым часом заключения. Они по очереди ложились у решетки ради возможности подышать ночным влажным воздухом. Маленький доктор непрерывно стонал:

— Этот ужасный хлеб! О, Господи! У меня все кишки от него завязались узлом.

В полдень Анна снова пришла и принесла опять горячую воду и миску пшенной каши. На этот раз отец Чисхолм был осмотрительнее и не назвал ее по имени.

— Как долго нас будут держать здесь?

Сначала она будто и не собиралась отвечать, потом равнодушно сказала:

— Два человека отправились в Байтань. Когда они вернутся, вас освободят.

Неугомонный доктор Фиске вмешался:

— Не могли бы вы раздобыть для нас пищу получше и одеяла? Мы заплатим.

Женщина испуганно покачала головой. Но, уходя и опуская решетку, она сказала:

— Заплатите, если хотите, мне. Ждать вам теперь недолго. Это ерунда.

— Ерунда! — опять застонал доктор Фиске после ее ухода. — Пусть бы у нее так болели все внутренности, как у меня.

— Не отчаивайся, Уилбур, — убеждала его из темноты миссис Фиске. — Вспомни, что мы уже бывали в таких переделках.

— Мы тогда были молодыми, а не такими старыми клячами, как сейчас... еще чуть-чуть и мы бы уехали домой... А этот Вай... он особенно зол на миссионеров... они мешают ему... Он хочет вернуться к старым добрым временам, когда преступления приносили доход.

Она настаивала:

— Мы все должны сохранять бодрость. Слушайте, нам надо отвлечься. Только не разговорами, а то вы оба сейчас же начнете ссориться из-за религии. Давайте поиграем. В самую глупую игру, какую только можно придумать! Давайте играть в "животное, овощ или минерал". Джошуа, ты не спишь? Хорошо. Теперь слушайте, я объясню вам как играть.

Они с героическим усердием занялись отгадыванием. Джошуа проявил неожиданные способности. Вдруг веселый смех миссис Фиске прервался, и все затихли. Потом на них навалилась тягучая апатия, перемежающаяся прерывистым сном. Бессмысленные, беспокойные движения выдавали их тревогу.

— О, Господи! Они уж, конечно, должны были бы вернуться, — весь следующий день Фиске твердил эту фразу.

Его лицо и руки стали горячими на ощупь. Отсутствие сна и воздуха вызвало у него лихорадку. Только к вечеру громкие крики и лай собак

возвестили о позднем прибытии посланных. Потом наступила гнетущая тишина. Наконец послышались приближающиеся шаги, и решетчатая дверь распахнулась. Повинуясь команде, они выползли на четвереньках из своей пещеры. Свежесть ночного воздуха, ощущение свободы и пространства принесли им несказанное облегчение, опьянили, довели чуть не до исступления.

— Благодарение Богу! — вскричал Фиске. — Теперь все будет хорошо.

Конвой отвел их к Вайчу, он сидел в своем жилище на циновке из пальмовых волокон. Возле него стояла лампа и лежала длинная трубка. Высокая неопрятная комната была пропитана горьким запахом мака. Около Вая стоял солдат, с обвязанной грязной окровавленной тряпкой рукой. Пятеро других, среди которых был и капрал, ожидали у стен, держа в руках трости из ротанга^[62].

Пронзительное молчание встретило пленников. Вай изучал их с какой-то глубокой задумчивой жестокостью. Это была жестокость скрытая, которую можно было скорее почувствовать, чем увидеть по его бесстрастному, как маска, лицу.

— Доброхотный дар не был уплачен, — в его ровном голосе не было никаких эмоций. — Когда мои люди приблизились к городу, чтобы получить его, один из них был убит, другие ранены.

Отец Чисхолм содрогнулся. Случилось то, чего он так боялся. Он сказал:

— Может быть, ваше поручение не было выполнено. Носильщик был напуган и мог сбежать к себе домой в Шаньси, не заходя в Байтань.

— Вы слишком разговорчивы. Десять ударов по ногам. Священник ожидал этого. Наказание было жестоким: длинный твердый прут, которым орудовал один из солдат, был квадратного сечения и особенно больно терзал его голени и бедра.

— Посланный был нашим слугой, — заговорила миссис Фиске, подавляя негодование. На ее бледных щеках выступила краска. — Шанту не отвечает за его бегство.

— Вы тоже слишком разговорчивы. Двадцать оплеух.

Ее сильно били по щекам, а доктор дрожал и рвался к ней.

— Теперь, если уж вы такие умные, скажите мне, почему, если ваш слуга сбежал, посланных мной людей ожидали и устроили им засаду?

Отец Чисхолм хотел сказать, что по нынешним временам гарнизон Байтаня всегда находится в боевой готовности и пристрелит любого из солдат Вая, которого увидит. Он знал, что этим и объясняется то, что произошло, но счел за благо придержать свой язык.

— Ну, теперь вы что-то не так разговорчивы. Десять ударов по плечам за странную молчаливость.

Его снова избили.

— Позвольте нам вернуться в наши миссии, — Фиске жестикулировал руками, как взволнованная женщина. — Я заверяю вас торжественной клятвой, что вам будет заплачено немедленно.

— Я не дурак!

— Тогда пошлите другого солдата на Улицу Фонарей с письмом, которое я напишу. Пошлите его сейчас, немедленно.

— Чтобы его тоже убили? Пятнадцать ударов за то, что считает меня дураком.

Под ударами доктор разразился слезами.

— Мне жалко вас, — твердил он сквозь слезы, — я вас прощаю, но мне жалко вас, жалко.

Наступило молчание. В сужившихся зрачках Вая мерцал слабый проблеск удовлетворения. Он повернулся к Джошуа. Мальчик был здоров и силен. Ваю отчаянно нужны были новые солдаты.

— Ну-ка, скажи, готов ли ты, заслужить прощение, вступив в мою армию?

— Я очень благодарен за честь, — твердо сказал Джошуа, — но это невозможно.

— Отрекись от своего иностранного бога-дьявола — и тебя не тронут.

Отец Чисхолм пережил мгновение страшной неизвестности, готовясь перенести боль и унижение, если мальчик сдастся.

— Я с радостью умру за истинного Бога.

— Тридцать ударов этому упрямому негодяю!

Джошуа не издал ни звука. Он принял наказание молча, опустив глаза. Ни одного стога не вырвалось у него. Но каждый удар, наносимый ему, заставлял вздрагивать отца Чисхолма.

— Ну, теперь вы посоветуете своему слуге раскаяться?

— Никогда, — ответил священник твердо, его душа ожила и просветлела от мужества мальчика.

— Двадцать ударов по ногам за достойное порицания упорство.

На двенадцатом ударе по голени раздался резкий треск ломающейся кости. Страшная боль пронзила сломанную ногу. "О Господи, — подумал Фрэнсис, — вот чем так плохи старые кости".

Вай рассматривал пленников, и было видно, что он уже решил все бесповоротно.

— Я не могу больше давать вам кров и пищу. Если завтра я не получу

денег, то боюсь, с вами может случиться что-то нехорошее. У меня дурные предчувствия.

Он равнодушно отпустил их. Отец Чисхолм еле-еле смог проковылять через двор. Когда они снова очутились в своем яофане, миссис Фиске усадила его, сняла с него ботинок и носок. Доктор, уже немного успокоившийся, вправил сломанную ногу.

— У меня нет шины... у меня нет ничего, кроме этих тряпок... — он говорил высоким, дрожащим голосом, — это очень скверный перелом. Если вы не будете лежать неподвижно, будут осложнения. Посмотрите, как трясутся у меня руки, чувствуете? Боже милостивый, помоги нам! Ведь в будущем месяце мы собираемся домой... Мы уже не так...

— Пожалуйста, Уилбур...

Она успокоила его легкими прикосновениями. Он молча закончил перевязку. Тогда миссис Фиске сказала:

— Мы должны постараться не падать духом. Если мы сломимся сейчас, то что же будет с нами завтра?

Может быть, это было к лучшему, что она подготавливала их...

Утром всех четверых вывели во двор, где собралось все население Доуэнлая. В ожидании предстоящего зрелища все тихонько гудели и жужжали. Руки пленников связали за спиной, между ними просунули бамбуковые палки.

Затем два солдата ухватились за концы каждой жерди и заставили узников прошествывать процессией шесть раз вокруг двора, они быстро сужали круги и подвели их к изрешеченному пулями фасаду дома, где сидел Вай.

Мучительно страдая от боли в сломанной ноге, отец Чисхолм в течение всей этой глупой и унижительной церемонии чувствовал глубокое уныние, граничащее с отчаянием, оттого что создания Божий так беззаботно устраивают себе празднество из слез и крови других, подобных себе Божиих созданий. Он вынужден был подавлять тихий голос, твердящий ему, что Бог никогда не мог сотворить таких людей... что Бог не существует...

Отец Чисхолм видел, что у нескольких солдат были в руках винтовки и надеялся на скорый конец. Но после некоторой паузы по знаку Вая их повернули кругом и протащили лицом вниз, схватив с четырех сторон за руки и за ноги^[63], по крутой дорожке мимо вытащенных на узкую полосу гальки сампанов, к реке. Здесь, на глазах у перекочевавшей сюда толпы, их проволокли через отмель и привязали каждого веревкой к колу, погруженному в воду на пять футов. Избавление от угрозы быстрой

расправы было так неожиданно, контраст с отвратительной грязью их пещеры так резок, что они не могли не почувствовать облегчения. Соприкосновение с водой восстановило их силы. Река была холодна от горных ручьев и чиста, как кристалл. Нога священника перестала болеть. Миссис Фиске слабо улыбнулась. Ее мужество было поистине душераздирающе. Она выговорила с трудом:

— По крайней мере, мы омоемся от грязи.

Но через полчаса они начали чувствовать себя иначе. Отец Чисхолм не решался взглянуть на своих товарищей. Вода, поначалу так освежавшая их, становилась все холоднее и холоднее. Она перестала нежно убаюкивать и погружать в приятное оцепенение, — теперь она безжалостно сжимала их тела и ноги своими ледяными тисками. Каждый удар сердца, с усилием проталкивающий кровь через застывшие артерии, каждое биение пульса причиняло сильнейшую боль. Голова, к которой прилила кровь, казалось, плавает отделенная от туловища и погружается в красноватый туман. Сознание священника мутилось, но он все еще силился понять, почему их подвергают этой пытке. Он смутно припоминал, что она была введена тираном Чангом и называлась "испытанием водой" — садизм, поощряемый традицией. Это наказание вполне соответствовало целям Вая, так как вероятно, он выражал таким способом свою медленно умирающую надежду на уплату выкупа.

Фрэнсис подавил стон. Если это так, то конца их страданиям не видно.

— Это просто удивительно... — стуча зубами, доктор пытался говорить. — Эта боль... это типичнейшее проявление грудной жабы... прерывающееся кровоснабжение по сжатым сосудам. О Господи Иисусе! — он начал ныть. — О Господи Сил! Почему Ты покинул нас? Моя бедная жена... Благодарение Богу, она потеряла сознание. Где я? Агнес... Агнес... — он тоже терял сознание.

Священник с мучительным усилием посмотрел на Джошуа. Его налитые кровью глаза едва различали голову мальчика... Он казался обезглавленным... А голова его походила на голову молодого Иоанна Крестителя, лежащую на большом плоском струящемся блюде. Бедный Джошуа... и бедный Иосиф! Как он будет оплакивать своего первенца. Фрэнсис сказал ласково:

— Сын мой, твое мужество и твоя вера очень порадовали меня.

— Не стоит говорить об этом, учитель.

Наступило молчание. Глубоко тронутый, священник громадным усилием воли поборол овладевающее им оцепенение.

— Я хотел сказать тебе, Джошуа, что, когда мы вернемся в миссию, ты

получишь чалого пони.

— Учитель думает, что мы когда-нибудь вернемся в миссию?

— Если мы не вернемся туда, Джошуа, то добрый Бог даст тебе пони еще лучше, чтобы ты катался на нем на небесах.

Они снова замолчали. Потом Джошуа сказал чуть слышно:

— Я думаю, отец, что я, пожалуй, предпочел бы того маленького пони в миссии.

Громадные волны нахлынули на Фрэнсиса, оглушили его, погрузили в темноту...

Когда священник снова пришел в себя, они все опять были в пещере, поваленные друг на друга в одну мокрую грудку. Он пролежал так с минуту, собираясь с мыслями, и услышал Фиске, который говорил с женой ворчливо-жалобным тоном, ставшим теперь для него обычным:

— По крайней мере, мы теперь вылезли из этой ужасной реки.

— Да, Уилбур, милый, мы вылезли из нее. Но если я правильно понимаю этого негодяя, то завтра мы снова будем в ней, — она говорила совершенно обыденным деловым тоном, словно обсуждала меню обеда. — Не будем обманывать себя, дорогой мой. Если мы все еще живы, то это только потому, что он хочет убить нас как можно мучительнее.

— И ты не... ты не боишься, Агнес?

— Ничуть. И ты тоже не должен бояться. Ты должен показать этим бедным язычникам и отцу тоже... как умирают добрые христиане из Новой Англии.

— Агнес... дорогая моя... ты мужественная женщина.

Священнику казалось, что он чувствует, как ее рука сжала руку мужа. Он был потрясен. Страстная жалость к товарищам, огромное беспокойство за этих трех людей, таких различных, но таких дорогих ему, охватили его. Неужели не было никакого выхода? Никакой возможности бежать? Отец Чисхолм напряженно думал, стиснув зубы, прижавшись лбом к земле. Часом позднее, когда в пещеру вошла женщина с блюдом риса, он встал между ней и дверью.

— Анна! Нет, не отрицай, что ты Анна! Неужели в тебе нет ни капли благодарности за все, что для тебя делали в миссии? Нет...

Она попыталась протиснуться мимо него.

— Я не пропущу тебя, пока ты не выслушаешь меня. Ты все еще дитя Божие. Ты не можешь смотреть на то, как нас будут медленно убивать. Я приказываю тебе именем Бога помочь нам.

— Я ничего не могу сделать.

В темной пещере невозможно было увидеть ее лицо. Но голос ее, хотя

и угрюмый, смягчился.

— Ты многое можешь сделать. Оставь запор открытым. Никому не придет в голову обвинить тебя.

— К чему? Всех пони стерегут.

— Нам не нужны пони, Анна.

Искорка интереса сверкнула в ее глазах.

— Если вы уйдете из Доуэнлая пешком, вас поймают на другой же день.

— Мы уйдем на сампане и поплывем вниз по реке.

— Это невозможно, — она отчаянно затрясла головой. — Там слишком большие пороги.

— Лучше утонуть на порогах, чем здесь.

— Какое мне дело до того, где вы утонете! — она заговорила с неожиданной страстью. — И я вовсе не обязана помогать вам.

Вдруг доктор Фиске высунулся из темноты и схватил ее за руку.

— Послушай, Анна. Возьми меня за пальцы и выслушай меня внимательно. Ты должна помочь нам. Понимаешь? Оставь сегодня вечером дверь незапертой.

Наступило молчание.

— Нет, — она заколебалась и медленно отняла руку. — Я не могу сегодня.

— Ты должна.

— Я сделаю это завтра... завтра... завтра...

В ее поведении произошла какая-то странная перемена, появилась какая-то стремительность. Она нагнула голову и ринулась из пещеры. Решетка тяжело стукнула за ней. В яофане воцарилось еще более гнетущее молчание. Никто не верил в то, что женщина сдержит свое слово. И даже, если она намеревалась выполнить свое обещание, то чего оно стоило по сравнению с тем, что принесет им завтрашний день.

— Я совсем болен, — пробормотал Фиске раздраженно, кладя голову на плечо жены. В темноте было слышно, как он выстукивает себе грудь.

— Моя одежда промокла насквозь. Вот послушайте... слышите какой глухой звук... это означает уплотнение легочной доли... О, Господи! А я-то думал, что нет пыток страшнее тех, что были при инквизиции.

Прошла как-то и эта ночь. Утро было холодное и серое. Когда свет просочился в пещеру и двор огласился криками, миссис Фиске выпрямилась. Ее осунувшееся, бледное лицо, над которым все еще возвышался измятый головной убор, приняло выражение крайней решимости.

— Отец Чисхолм, вы здесь старший священник. Я прошу вас помолиться за нас, прежде чем мы выйдем отсюда и, может быть, встретим мученический конец.

Священник опустился на колени рядом с ней. Они все взяли за руки, и он начал молиться. Он так молился, как не молился еще никогда в жизни...

Потом солдаты пришли за ними. Они очень ослабели, и река казалась им еще холоднее, чем раньше. Когда Фиске загоняли в нее, он истерически закричал. Отец Чисхолм видел реку смутно, как в тумане. Его мысли путались... "Погружение... — думал он... — очищение водой... одна капля и вы спасены... А сколько здесь капель? Миллионы и миллионы... четыреста миллионов китайцев, и все ждут спасения... каждого можно спасти каплей воды..."

— Отец! Милый, хороший отец Чисхолм! — его звала миссис Фиске с внезапно загоревшимися лихорадочной веселостью глазами. — Они все смотрят на нас с берега. Давайте покажем им пример... Давайте споем. Какой есть общий гимн у вас и у нас? Ну, конечно же, рождественский гимн. Там прелестный припев. Давай, Джошуа... Уилбур... давайте все вместе...

Она затянула высоким дрожащим голосом:

Приидите, все верные,

Радуясь и ликуя...

Он присоединился к ним:

Приидите, приидите в Вифлеем.

Время шло к вечеру. Они снова были в своей пещере. Доктор лежал на боку. Он шумно и хрипло дышал; потом заговорил с видом победителя:

— Пневмония легких. Я знал это еще вчера. Притупление верхушек и хрипы. Прости, Агнес... но я, пожалуй, рад этому.

Все промолчали. Миссис Фиске начала гладить побелевшими от воды пальцами его горячий лоб. Она все еще гладила его по лбу. когда в пещеру вошла Анна. Однако, на этот раз женщина не принесла с собой еды. Она просто стояла у входа и смотрела на них с какой-то сумрачной недоброжелательностью. Наконец, она заговорила:

— Я отдала ваш ужин солдатам. Они считают это очень забавной шуткой. Уходите скорее, пока они не поняли своей ошибки.

Наступила абсолютная тишина. Отец Чисхолм чувствовал, как неистово стучит его сердце в истерзанном, измученном теле. Ему казалось невозможным покинуть эту пещеру по своей доброй воле. Он сказал:

— Бог благословит тебя, Анна. Ты не забыла Его, и Он не забыл тебя.

Женщина ничего не ответила. Она смотрела на него мрачными, непроницаемыми глазами, которые он никогда не умел читать, даже в ту первую ночь в снегу. Однако отец Чисхолм испытал жгучее удовлетворение от того, что она оправдала его учение, перед доктором Фиске. Анна постояла так несколько мгновений, потом молча выскользнула из пещеры.

Снаружи было темно. Он мог слышать смех и тихие голоса из соседнего яофана. Через двор был виден свет в доме Вая. Прилегающие к нему конюшни и солдатские казармы были слабо освещены. Внезапно раздавшийся лай собак резко ударил по напряженным нервам. Эта слабая надежда походила на новую боль, такую интенсивную, что от нее можно было задохнуться.

Отец Чисхолм осторожно попробовал встать на ноги, но это оказалось невозможным, и он тяжело упал, капли пота выступили у него на лбу. Его нога, распухшая так, что стала в три раза больше, была совершенно непригодна. Священник шепотом велел Джошуа поднять на спину доктора, который находился в полубессознательном состоянии, и очень тихо отнести его к сампанам. Он видел, как они ушли, сопровождаемые миссис Фиске. Мальчик согнулся под своей мешкообразной ношей. Он благоразумно держался в густой тени, отбрасываемой скалами. До Фрэнсиса донесся слабый звук сорвавшегося камня, он показался ему таким громким, что и мертвого можно было бы пробудить. Отец Чисхолм перевел дыхание. Никто ничего не услышал, кроме него. Через пять минут вернулся Джошуа. Опираясь на плечо мальчика, он медленно, преодолевая мучительную боль, побрел вниз по тропинке.

Фиске уже был уложен на дне сампана, его жена, скорчившись, сидела около него. Священник уселся на корму. Подняв обеими руками свою недействующую ногу, он уложил ее, как кусок дерева, чтобы она не мешала, потом облокотился локтем на планшир^[64]. Когда Джошуа взобрался на нос и начал отвязывать причальную веревку, Фрэнсис схватил единственное кормовое весло и держал его наготове, собираясь оттолкнуться. Вдруг с вершины горы раздался крик, за ним другой, послышался топот бегущих ног. Поднялась суматоха, неистово залаяли собаки. Потом в темноте наверху вспыхнули два факела и стали быстро спускаться вниз к реке, сопровождаемые пронзительными взволнованными голосами и топотом ног. Губы священника шевелились, тело же застыло в мучительной неподвижности. Однако Фрэнсис молчал. Джошуа, который неумело вертел и тянул спутанную веревку, сам знал о грозящей им опасности. Незачем было еще больше приводить его в замешательство бесполезными указаниями. Наконец, задыхающийся от испуганных

усилий мальчик высвободил веревку и повалился назад на сиденье. Отец Чисхолм мгновенно почувствовал, что сампан плывет свободно; собрав последние силы, он погнал его в течение. Выйдя из стоячей воды, они бесцельно закрутились на месте, потом сампан заскользил вниз по реке. В ярких вспышках света на берегу теперь стали видны фигуры бегущих людей. Протрещал одинокий выстрел из винтовки, за ним посыпался град пуль, которые звучно зашлепали по воде. Сампан все быстрее и быстрее скользил по течению. Беглецы были уже почти вне пределов досягаемости. Отец Чисхолм смотрел в темноту, стеной поднимавшуюся перед ним, и испытывал почти лихорадочное облегчение. Вдруг среди беспорядочной стрельбы что-то очень тяжелое нанесло ему удар из темноты. От этого удара у него покачнулась голова, ему показалось, что он наткнулся на летящий камень. Никакой другой боли он не почувствовал. Фрэнсис поднял руку к мокрому лицу. Пуля, пробив верхнюю челюсть, вышла через правую щеку. Он молчал. Стрельба прекратилась. Больше никто не пострадал. Теперь река несла их вперед с устрашающей быстротой. Отец Чисхолм в душе был совершенно уверен, что, в конце концов, она впадет в Хуанхэ, — это был единственный возможный для нее выход. Он наклонился к доктору и, видя, что тот в сознании, попытался подбодрить его.

— Как вы себя чувствуете?

— Довольно прилично, принимая во внимание, что я умираю, — он подавил сухой кашель. — Мне очень жаль, Агнес, что я вел себя, как старая баба.

— Пожалуйста, не разговаривай, дорогой мой. Священник выпрямился, ему было очень грустно. Жизнь

Фиске угасала. Его собственная сопротивляемость была почти исчерпана. Он поборол почти непреодолимое желание заплакать.

Вскоре все усиливающийся шум реки возвестил, что они приближаются к се бурной части. Этот шум, казалось, начисто лишал его зрения. Он не мог ничего видеть.

Орудя своим единственным веслом, Фрэнсис старался вести сампан прямо по течению. Когда их стремительно понесло вниз по реке, он вручил их души Богу. Отец Чисхолм уже ни о чем не беспокоился и не пытался понять, каким образом их судно еще цело в этом невидимом грохоте. Рев воды отуплял и ошеломлял его. Он не видел падений и взлетов сампана, но судорожно цеплялся за бесполезное весло. Временами ему казалось, что они падают в пустоту, словно дно их лодки проваливалось. Когда от стремительного удара замедлилось их движение, он оцепенело подумал, что уж теперь-то они должны пойти ко дну. Но они снова вынырнули, и

кипящая вода ринулась на них, закружила и понесла. Каждый раз, когда ему казалось, что сейчас должно наступить избавление, снова рев воды надвигался спереди, захватывал и поглощал их. В узкой излучине реки беглецы с ошеломляющей силой ударились о скалистый берег, срывая низкие ветви с нависших над водой деревьев, затем подпрыгнули, завертелись, закружились, снова налетели на что-то... Его мозг, захваченный этим кружением, казалось, расплющивается, сотрясается и падает куда-то вниз... вниз... вниз... Тишина спокойной воды далеко впереди немного привела его в себя. Перед ним лежала слабая полоска рассвета, в которой вырисовывалась широкая поверхность ласковых идиллических вод. Он не мог представить себе, какое расстояние они прошли, хотя смутно догадывался, что они должны были проплыть много ли. Фрэнсис знал только то, что они достигли Хуанхэ и теперь спокойно плыли по ее лону к Байтаню. Он попытался пошевелиться, но не смог — слабость сковала его по рукам и ногам. Сломанная нога казалась ему тяжелее свинца, боль в разбитом лице походила на жестокую зубную боль. И все же невероятным усилием Фрэнсис повернулся и медленно подтянулся на руках вдоль лодки. Стало светлее. Джошуа согнулся дугой, его тело обмякло, но он был жив. Он спал. На дне сампана лежали рядом Фиске и его жена. Она рукой поддерживала его голову, а телом защищала его от воды, которая начерпалась в лодку. Женщина не спала и была спокойна и благоразумна. Глядя на нее, священник испытал громадное изумление. Она оказалась самой выносливой из всех. На его невысказанный вопрос ее глаза ответили чуть заметным отрицанием. Он мог видеть, что муж ее почти мертв. Фиске дышал короткими отрывистыми спазмами, а были перерывы, когда он не дышал вовсе.

Доктор непрерывно бормотал что-то, но глаза его, хоть и устремленные в одну точку, были открыты. И вдруг в них появился смутный неуверенный проблеск сознания. Тень какого-то движения прошла по его губам, всего лишь тень, почти ничего, но в этом ничто мелькнул намек на улыбку. Его бормотанье стало членораздельным.

— Вы не очень-то гордитесь... дорогой мой... вашей Анной... — он слегка задохнулся, — я подкупил ее, — его голос слабо затрепетал, в нем прозвучало какое-то подобие смеха, — пятидесятидолларовой бумажкой, которую я всегда носил в ботинке, — последовало недолгое молчание. — Но тем не менее, да благословит вас Бог, дорогой мой.

Теперь, когда последнее слово осталось за ним, Фиске казался счастливее. Он закрыл глаза. Когда взошло солнце и вдруг залило их светом, они увидели, что доктор мертв. Вернувшись на корму, отец

Чисхолм наблюдал, как миссис Фиске складывала руки покойника. Испытывая головокружение, он посмотрел на свои руки. Тильные стороны обеих запястий были покрыты какими-то странными выпуклыми красными пятнами. Когда Фрэнсис потрогал их, то почувствовал, что они перекатываются у него под кожей, как крупные дробины. Он подумал, что во время сна его искусило какое-то насекомое.

Позднее сквозь поднимающийся утренний туман отец Чисхолм увидел в отдалении, вниз по реке плоскодонки рыбаков, которые ловили рыбу большими бакланами. Он закрыл воспаленные глаза.

А сампан в золотистой дымке плыл и плыл по течению, приближаясь к ним.

13

Шесть месяцев спустя, как-то днем, два новых священника-миссионера, отец Стивен Манси и отец Джером Крейг, сидя за кофе и сигаретами, серьезно обсуждали свои планы.

— Все должно быть сделано безупречно. Слава Богу, погода, кажется, хорошая.

— Да, погода установилась, — кивнул ему отец Джером. — Какое счастье, что у нас есть оркестр.

Они были молоды, полны жизни и обладали громадной верой в себя и в Бога.

Отец Манси, американский священник, получил медицинскую степень в Балтиморе. Из них двоих он был немного выше, прекрасный экземпляр человека шести футов ростом, но зато плечи отца Крейга обеспечили ему место в боксерской команде Холлиуэлла. Хотя Крейг был англичанином, но в его характере был приятный оттенок американской энергичности, так как он два года проучился на подготовительных курсах при колледже святого Михаила в Сан-Франциско. Здесь-то он и встретился с отцом Манси. Они оба инстинктивно потянулись друг к другу и скоро стали просто "Стивом" и "Джерри" друг для друга за исключением, конечно, тех случаев, когда внезапная вспышка чувства собственного достоинства побуждала их принимать более формальный тон: "Эй, Джерри, старина, вы сегодня днем будете играть в баскетбол?"

— Да, кстати, отец, когда вы завтра служите мессу? То, что они были вместе посланы в Байтань, скрепило их дружбу печатью общего дела.

— Я попросил мать Мерси Марию заглянуть к нам. — отец Стив налил себе свежего кофе, — просто для того, чтобы обсудить последние штрихи. Она такая веселая и любезная и будет большой подмогой для нас.

Он был чисто выбрит, мужествен, на два года старше Крейга, считался старшим в их товариществе.

— Да, она грандиозная личность. Честно, Стив, мы разоведем тут такую деятельность, когда останемся одни!

— Тшшш... Не говори так громко, — предостерег отец Стив. — Старик вовсе не так глух, как можно было бы подумать.

— Ну, он и тип! — грубоватые черты отца Джерри смягчились улыбкой при воспоминании. — Я знаю, конечно, что это ты его вытащил. Но в его возрасте перенести сломанную ногу, раздробленную челюсть, да еще и оспу в придачу... это, знаешь ли, говорит кое-что о его мужестве.

— Но он все-таки страшно слаб, — сказал Манси серьезно. — Это его совсем доконало. Я только надеюсь, что долгое путешествие домой пойдет ему на пользу.

— Забавный старый гриб... Простите, отец, я хотел сказать чудак. Помнишь, когда он был так болен, а миссис Фиске перед отъездом домой прислала ему свою кровать с пологом на четырех столбиках? Какого труда нам стоило уложить его в эту кровать? Помнишь, как он все твердил: "Как я могу отдыхать, если мне так удобно?" — Джерри засмеялся.

— А в тот раз, когда он запустил в голову матери Мерси Марии крепким бульоном? — отец Стив подавил смешок.

— Нет, нет, отец, мы не должны давать волю своим языкам. В конце концов, он не так уж плох, надо только найти правильный подход к нему. Всякий немного свихнется, пробыв здесь в одиночестве больше тридцати лет. Слава Богу, что нас здесь двое. Войдите.

Вошла мать Мерси Мария, улыбающаяся, краснощекая, с веселыми дружелюбными глазами. Она была счастлива со своими новыми священниками, которых она инстинктивно считала маленькими мальчиками. Она будет лелеять их и ухаживать за ними по-матерински. И миссии пойдет на пользу приток молодой крови. Так приятно будет сдавать в стирку и чинить настоящее, приличное, плотное белье, какое подобает носить священникам.

— Добрый день, преподобная мать. Не соблазнитесь ли вы выпить чашечку бодрящего, но не опьяняющего напитка? Отлично. Два куска? О! Нам придется поприжать вас Великим постом, раз вы такая сладостенка. Ну, а теперь поговорим о проводах отца Чисхолма.

И они добрых полчаса обсуждали очень серьезно и по-дружески

завтрашнюю прощальную церемонию. Потом мать Мерси Мария наострила уши. Выражение ее лица стало еще более матерински-покровительственным. Напряженно прислушиваясь, она озабоченно прищелкнула языком.

— Вы слышите его? Я не слышу. Боже мой, я уверена, что он удрал куда-нибудь потихоньку, — она встала. — Извините меня, отцы. Я должна узнать, что он затеял. Если он уйдет и промочит ноги, то все испортит.

Опираясь на свой старый закрытый зонтик, отец Чисхолм совершал последнее паломничество по миссии святого Андрея. Легкое напряжение утомило его чрезвычайно. Внутренне вздохнув, он понял, каким никудышным стал после своей долгой болезни. Теперь он был стариком. Эта мысль потрясла его — ведь в душе Фрэнсис чувствовал себя совершенно неизменившимся. И вот завтра он должен покинуть Байтань. Невероятно! А ведь он твердо решил сложить свои старые кости в саду миссии рядом с Уилли Таллохом. Ему снова пришли в голову отдельные фразы из письма епископа: "...ты уже не годишься для этого... очень озабочен твоим здоровьем, очень высоко ценю твои труды на миссионерском поприще, но пора уже положить им конец..."

Ну, что ж... Да будет воля Господня!

Теперь отец Чисхолм стоял в маленьком церковном дворе, и на него потоком нахлынули нежные призрачные воспоминания...

Вот перед ним деревянные кресты — крест Уилли, сестры Клотильды, садовника Фу, еще с дюжину крестов, каждый из них отмечает начало и конец, каждый является вехой их совместного странствия. Он покачал головой, как старая лошадь, которую на залитом солнцем лугу с жужжанием облепили слепни: нет, он не должен предаваться воспоминаниям. Его взгляд остановился на новом пастбище, видимом через низкую стену. Там Джошуа объезжал своего чалого пони, а четверо младших братьев восторженно смотрели на него. Иосиф тоже был неподалеку. Толстый, благодушный, уже сорокапятилетний, он присматривал за остальными детьми (всего их было у него девятеро), возвращавшимися с прогулки, и медленно толкал плетеную детскую коляску к привратницкой. Священник чуть улыбнулся при мысли, что более яркого примера порабощения мужчины, пожалуй, не найти. Он совершил большое турне по миссии, стараясь остаться незамеченным, так как предвидел, что предстоит ему завтра. Школа, спальня, столовая, мастерские для плетения сетей и циновок, маленькая пристройка, где в прошлом году начали обучать слепых детей делать корзины. Ну что ж... к чему продолжать этот скучный перечень? Когда-то давно ему казалось, что он

сделал кое- что. Теперь, отдавшись охватившему его чувству тихой грусти, он считал это ничем.

Отец Чисхолм с трудом повернулся. Из нового холла доносилось угрожающее хрипенье духовых инструментов. Он опять согнал с лица кривую улыбку... или, может быть, он не улыбнулся, а нахмурился?.. Ох, уж эти молодые священники с их взрывными идеями! Только вчера вечером, когда он пытался (и, конечно, тщетно!) дать им представление о топографии прихода, тот, который доктор, прошептал: "А аэроплан на что?" Вот до чего дошло! Два часа в воздухе — и вы окажетесь в деревне Лиу. А его первое путешествие туда, сделанное пешком, заняло две недели!

Ему не следовало идти дальше — вечер становился прохладным. Но хотя Фрэнсис и знал, что непослушание навлечет на него вполне заслуженный нагоняй, он крепче оперся на зонтик и стал медленно спускаться с Холма Блестящего Зеленого Нефрита по направлению к заброшенной и забытой старой миссии. Все тут теперь заросло бамбуком, и нижний конец участка превратился в грязное болото, но глиняный хлев еще стоял. Наклонив голову, священник прошел под провисшей крышей.

Немедленно целый сонм новых воспоминаний нахлынул на него — он увидел перед собой молодого священника, темноволосого, пылкого и настойчивого... вот он скорчился возле жаровни... с ним рядом китайский мальчик, его единственный сотоварищ. Отец Чисхолм вспомнил первую мессу, отслуженную здесь на лакированном оловянном чемоданчике, без колокольчика и без прислужника, он один, один-одинешенек... Как пронзительно зазвучали натянутые струны его памяти... Он неловко опустился на колени — негнущаяся, неуклюжая фигурка — и обратился к Богу, он умолял судить его не столько по делам его, сколько по его намерениям.

Вернувшись в миссию, священник вошел через боковое крыльцо и тихонечко поднялся наверх. Ему повезло — никто не видел его возвращения. Фрэнсису не хотелось "великого переполоха", как он называл суматоху, поднимаемую топотом ног, хлопаньем дверей, бутылки с горячей водой и заботливо-настойчивые просьбы съесть горячего супу...

Но, открыв дверь своей комнаты, он был удивлен, увидев там господина Чиа. Обезображенное, посеревшее от холода лицо отца Чисхолма внезапно озарилось теплым светом. Пренебрегая формальностями, он взял руку старого друга и пожал ее.

— Я надеялся, что вы придете.

— Как я мог не придти? — ответил господин Чиа грустно. Голос его был странно взволнован. — Мой дорогой отец, мне нет надобности

говорить вам, как глубоко я сожалею о вашем отъезде. Наша долголетняя дружба очень много значила для меня.

Священник ответил спокойно:

— Мне тоже будет недоставать вас. Ваша доброта и щедрость были поразительны.

— Это просто ерунда по сравнению с той неоценимой услугой, которую вы оказали мне, — отмахнулся от благодарности господин Чиа. — И разве не наслаждался я всегда красотой и миром вашего сада? Без вас там станет очень грустно, — у него прервался голос... — Впрочем, может быть, вы поправитесь и... вернетесь в Байтань?

— Нет, — священник помолчал, чуть улыбаясь. — Нам придется ждать встречи в будущем, на небе.

Наступило долгое молчание. Господин Чиа с усилием нарушил его.

— Поскольку нам уже недолго осталось быть вместе, может быть, стоило бы поговорить немного об этом будущем?

— Все мое время предназначено для таких разговоров. Господин Чиа колебался, охваченный необычайной неловкостью.

— Я никогда не размышлял углубленно над тем, что ожидает нас после смерти и существует ли загробная жизнь. Но если она существует, мне было бы очень приятно сохранить и там вашу дружбу.

Несмотря на свой долгий опыт, отец Чисхолм не уловил всего значения сказанного. Он улыбнулся, но ничего не ответил. И господин Чиа, к своему великому смущению, был вынужден говорить прямо:

— Мой друг, я часто говорил: на свете существует много религий, и у каждой из них есть свои врата, ведущие на небо, — слабая краска проступила под его смуглой кожей. — Теперь, по-видимому, мною овладело необычайно сильное желание войти на небо через ваши врата.

Наступило мертвое молчание. Согнутая фигура отца Чисхолма застыла в полной неподвижности.

— Я не могу поверить, что вы говорите серьезно.

— Однажды, много лет тому назад, когда вы вылечили моего сына, я действительно был несерьезен. Но тогда я еще не знал о том, какую жизнь вы ведете... я не знал о вашем терпении, спокойствии, мужестве... Ценность религии лучше всего определяется качествами ее последователей. Друг мой... Вы покорили меня своим примером.

Отец Чисхолм поднес руку ко лбу — это был его обычный жест, когда он пытался скрыть душевное волнение. Он часто испытывал угрызения совести за то, что когда-то отказался принять господина Чиа, пусть даже у того и были несерьезные намерения. Медленно священник сказал:

— Весь день я чувствовал во рту горький привкус неудачи. Ваши слова снова зажгли огонь в моем сердце. Одна эта минута вознаградила меня за все мои труды... И все-таки, несмотря на это, я говорю вам... не делайте этого дружбы ради... только если вы верите.

Господин Чиа ответил твердо:

— Я решил. Я делаю это и ради дружбы, и ради веры. Мы с вами братья, вы и я, ваш Бог должен быть и моим Богом. И тогда, хоть вы и уедете завтра, я буду радоваться, зная, что в саду нашего Господина наши души когда-нибудь встретятся.

Сначала Фрэнсис был не в состоянии говорить, изо всех сил стараясь скрыть глубину своих чувств. Потом он протянул руку господину Чиа и тихо сказал дрожащим голосом:

— Пойдемте в церковь.

Утро наступило теплое и ясное. Отец Чисхолм, разбуженный звуками пения, выбрался из простыней на кровати миссис Фиске и поковылял к открытому окну. Под его балконом двадцать маленьких девочек из младшего класса, не старше девяти лет, в белых платьях с голубыми кушаками, исполняли для него песню:

"Приветствуем тебя, улыбающееся утро..."

Он скорчил им веселую рожу. В конце десятой строфы Фрэнсис не выдержал и закричал:

— Хватит, довольно! Идите завтракать.

Девочки остановились и улыбнулись ему, но нот не опустили.

— Вам нравится, отец?

— Нет... Да. Но пора завтракать.

Они опять начали сначала, и пока он брился, пропели все до конца, добавив еще несколько стихов. При словах "на твоей свежей щеке" он порезался. Всматриваясь в свое отражение в маленьком зеркале и глядя на свое изуродованное оспой и шрамами лицо, которое сейчас было к тому же и окровавлено, отец Чисхолм подумал: "Боже милостивый, на кого я похож! Настоящий бандит. Я в самом деле должен сегодня вести себя примерно."

Прозвучал гонг, зовущий к завтраку. Отец Манси и отец Крейг ждали его, оживленные, почтительные, улыбающиеся. Один бросился подставлять ему стул, другой снимать крышку с дымящегося кеджери^[65]. Они так старались угодить ему, что почти не могли сидеть спокойно. Фрэнсис нахмурился:

— Послушайте, юные идиоты, перестаньте обращаться со мной так, будто я ваша прабабушка в день ее столетия.

"Надо ублажать старика", — подумал отец Джерри и мягко улыбнулся:

— Что вы, отец! Мы обращаемся с вами точь-в-точь как друг с другом. Однако, вы не можете избавиться от почестей, воздаваемых вам, как пионеру, проложившему новые пути. Да Вы и сами этого не хотели бы. Это вполне заслуженная награда, так что бросьте всякие сомнения на этот счет.

— Тем не менее у меня очень много сомнений.

Отец Стив сказал сердечно:

— Не беспокойтесь, отец. Я знаю, что вы сейчас чувствуете, но мы вас не подведем. Да ведь у нас с Джерри — я хочу сказать с отцом Крейгом — такие планы о расширении нашей миссии и об улучшении ее работы. Мы собираемся набрать человек двадцать катехизаторов (мы, разумеется дадим им хорошее жалованье), потом мы откроем раздачу горячего риса на Улице Фонарей, как раз напротив ваших друзей методистов. Уж мы покажем им себя, будьте уверены! — он добродушно рассмеялся и сказал успокаивающе: — Но это будет настоящий честный, добропорядочный католицизм. Подождите, дайте нам только заполучить самолет! Вы увидите, какие цифры обращений мы начнем вам посылать... Подождите до...

— После дождичка в четверг, — произнес отец Чисхолм мечтательно.

Два молодых священника обменялись понимающими взглядами. Отец Стив заметил доброжелательно:

— Не забудьте взять лекарство в дорогу, отец. Надо принимать его по столовой ложке с водой три раза в день. В вашем чемодане лежит большая бутылка.

— Нет, ее там нет. Я выбросил ее перед тем, как спуститься сюда, — отец Чисхолм вдруг начал смеяться. Он весь сотрясался от смеха. — Дорогие мои мальчики, не обращайтесь на меня внимания. Я скверный, сварливый старик. Вы поработаете здесь великолепно, если не будете слишком самоуверенными... если будете добрыми и терпимыми и, в особенности, если не будете пытаться научить уму- разуму каждого старого китайца.

— Ну, да... да... конечно, отец.

— Послушайте, у меня нет лишних самолетов, которые я мог бы вам отдать, но я хотел бы вам оставить полезный маленький сувенир, который мне подарил один старый священник. Он был моим спутником почти во всех моих странствиях, — отец Чисхолм встал из-за стола и протянул им зонтик из шотландки, который когда-то подарил ему Рыжий Мак. — Он занимает определенное общественное положение среди самых важных зонтиков Байтаня. и может принести вам удачу.

Отец Джерри осторожно, как реликвию, взял зонтик в руки.

— Большое, большое спасибо, отец. Какие чудесные краски. Это китайские?

— Боюсь, что гораздо хуже, — старый священник улыбнулся и покачал головой. Больше он ничего не скажет.

Отец Манси положил салфетку и сделал тайный знак своему товарищу. Его глаза заговорщицки блеснули, он встал.

— Ну, отец, вы извините нас с отцом Крейгом. Время идет, и мы с минуты на минуту ждем отца Чжоу...

И они быстро ушли.

Отъезд был назначен на одиннадцать часов. Покамест Фрэнсис вернулся в свою комнату. Когда он закончил свои скромные сборы, у него в распоряжении оставался еще час времени... и он мог еще побродить по миссии. Отец Чисхолм спустился вниз — его инстинктивно влекло к церкви. Выйдя из дома, он остановился. Старый священник был искренне тронут — вся его паства, почти пятьсот человек, собралась во дворе, ожидая его, все были чинные и молчаливые. Те, что прибыли из деревни Лиу с отцом Чжоу, стояли на одном фланге, старшие девочки и ремесленники — на другом, а его любимые дети, опекаемые матерью Мерси Марией, Мартой и четырьмя китайскими сестрами, стояли впереди. Было что-то такое во всех глазах, неотрывно, с любовью смотрящих на его невзрачную фигуру, что его вдруг пронзила острая боль. Тишина стала еще глубже. По нервозности Иосифа было очевидно, что ему доверена честь произнести прощальную речь.

Как по мановению руки фокусника, появились два стула. Когда отец Чисхолм уселся на один из них, Иосиф неуверенно взобрался на другой, чуть не потеряв равновесие, и развернул ярко красный свиток.

"Многоуважаемый и достойный апостол Царя Небесного, с величайшей скорбью мы, твои дети, видим, что ты уезжаешь от нас за широкие моря и океаны..."

Речь отличалась от сотен других хвалебных речей только тем, что была полна слез и вздыханий. Несмотря на многократные тайные репетиции перед женой, речь, произносимая Иосифом, очень теряла на открытом воздухе. Он начал потеть, и его живот колыхался, как желе. Бедный милый Иосиф, подумал священник, глядя на свои ботинки и вспоминая тоненького мальчугана, неотступно бегущего у его поводьев тридцать лет назад. Когда речь, наконец, была кончена, все запели (и очень хорошо) *Gloria laus*^[66]. Чистые голоса неслись ввысь, а он все не отрывал взгляда от своих ботинок и чувствовал, что вот-вот может расплакаться "Дорогой Господи, — молился он, — не дай мне свалить дурака".

Для подношения подарка была выбрана самая младшая из слепых девочек, которые обучались в миссии плести корзины. Она вышла вперед, в черной юбочке и белой кофточке, и неуверенно, но

безошибочно направилась к нему, руководимая своим инстинктом и шепотом матери Мерси Марии. Когда девочка опустилась перед ним на колени, протягивая ему богато разукрашенную позолоченную чашу с ужасающе безвкусным рисунком (её заказали по почте из Нанкина), глаза отца Чисхолма были так же незрячи, как и ее.

— Благослови тебя Бог, деточка моя, — пробормотал он.

Больше он ничего не мог сказать. Перед его затуманенным взором появился паланкин господина Чиа... Чьи-то лишённые туловища руки помогли ему сесть в него. Процессия построилась и двинулась вперед, сопровождаемая треском шутих и хлопушек и внезапным громом нового школьного оркестра, где особенно выделялась своим ревом "sousa"^[67]. Паланкин, покачиваясь, медленно спускался с холма на плечах мужчин, которые несли его торжественно и благоговейно. Фрэнсис старался сосредоточить свое внимание на оркестре, казавшемся ему смешным в своей мишурной роскоши: двадцать школьников в небесно-голубых формах дудели так, что, чудилось, их щеки вот-вот лопнут от натуги; впереди важным церемониальным шагом, вращая жезлом и высоко задирая коленки, выступала тамбур-мажор^[68] — китаяночка лет восьми в меховом кивере и высоких белых сапогах. Но почему-то у него совершенно атрофировалось чувство юмора. В городе изо всех дверей на него смотрели дружеские лица. На каждом перекрестке новые хлопушки приветствовали его появление. Когда шествие приблизилось к пристани, перед ним стали бросать на землю цветы. Катер господина Чиа с тихо работающими моторами ждал его у причала. Носилки опустили. Отец Чисхолм вышел из них. И вот, наконец, этот час настал. Люди окружили его. Они прощались с ним. Два молодых священника, отец Чжоу, преподобная мать, Марта, господин Чиа, Иосиф, Джошуа... все, все... некоторые женщины, его прихожанки, плача становились на колени, чтобы поцеловать ему руку. Он собирался сказать им что-нибудь на прощанье, но не смог выжать из себя ни одного внятного слова. Его душа была переполнена. Вслепую Фрэнсис взошел на катер. Когда он повернулся, чтобы еще раз взглянуть на них, все смолкло. По условному знаку детский хор запел его любимый гимн: они приберегли его напоследок.

Veni Creator, Veni Creator Spiritus.

Mentes Tuorum visita...

(Приди, о Дух Творец.
Посети души принадлежащих Тебе...)

Он всегда любил возвышенные слова, написанные Карлом Великим^[69] в IX веке, любил этот прекраснейший из церковных гимнов. Теперь все на пристани пели:

Accende lumen sensibus,
In funde amorem cordibus...

(Пусть Твой свет озарит наши души,
Пусть Твоя любовь переполнит наши сердца...)

"О Господи, — подумал он, сдаваясь, наконец. — Как это сердечно, как это мило с их стороны, но, ох, как ужасно жестоко!" Его лицо исказилось судорогой.

Когда катер отчалил от пристани и отец Чисхолм поднял руку для благословения, слезы ручьем текли из его глаз.

V.

Возвращение

1

Его Милость епископ Мили чрезвычайно запаздывал. Уже дважды симпатичный молодой священник из домашних епископа заглядывал в дверь приемной, чтобы объяснить, что Его Светлость и секретарь Его Светлости задерживаются по независящим от них причинам на Совете. Отец Чисхолм грозно моргал поверх номера "Таблет" и изрекал:

— Точность — вежливость прелатов.

— Его Светлость очень перегружен, — с робкой улыбкой молодой священник ретировался.

Он не был уверен в этом старике, приехавшем из Китая, и его беспокоил вопрос о том, можно ли ему доверить находившееся в приемной серебро.

Прием был назначен на одиннадцать. Сейчас часы показывали половину первого. Это была та же комната, в которой он когда-то ожидал разговора с Рыжим Маком. Как давно это было?! Боже мой... прошло уже тридцать шесть лет! Отец Чисхолм печально покачал головой. Хотя Фрэнсис забавлялся, пугая этого хорошенького юнца, но настроен он был отнюдь не воинственно.

В это утро старый священник чувствовал себя как-то шатко и отчаянно нервничал. Ему нужно было получить кое-что от епископа. Он терпеть не мог просить об одолжениях, но на этот раз он должен выпросить то, что ему надо. Когда в скромную гостиницу, где он остановился по прибытии парохода в Ливерпуль, пришел вызов на прием к епископу, у него екнуло сердце.

Отец Чисхолм храбро расправил свою помятую сутану, привел в порядок не первой свежести воротничок. Он еще вовсе не так стар. Он еще полон энергии. Теперь, когда время перевалило далеко за полдень, Ансельм, несомненно, пригласит его к завтраку. Он, Фрэнсис, будет оживленным, обуздает свой отвратительный язык, будет слушать рассказы Ансельма и смеяться его шуткам, он не пренебрежет и тем, чтобы немножко, (а может быть, и очень) польстить Ансельму. Фрэнсис от всего

сердца надеялся, что нерв в его поврежденной щеке не начнет дергаться, а то он будет выглядеть прямо как помешанный. Было без десяти час. Наконец, в коридоре поднялась какая-то довольно сильная суматоха, и епископ Мили решительным шагом вошел в комнату. Может быть, он спешил, — он был очень оживлен, быстр, его глаза излучали сияние на Фрэнсиса, но и не упускали из виду часов.

— Мой дорогой Фрэнсис! Как чудесно снова увидеть тебя! Ты должен простить это маленькое опоздание. Нет, нет, не вставай, прошу тебя. Мы поговорим здесь. Здесь... здесь как-то интимнее, чем у меня в комнате.

Он проворно подтянул стул и с непринужденной грацией уселся у стола рядом с отцом Чисхолмом. Ласково положив свою мясистую холеную руку на рукав священника, он подумал: "Боже милостивый! Каким он стал старым и хилым!"

— А как поживает милый Байтань? Монсеньор Слит говорит, что он процветает. Я очень живо помню, как я был в этом городе, пораженном чумой и обреченном на смерть и опустошение. Поистине рука Бога легла на него. Ах, это были мои первые шаги, Фрэнсис. Я тоскую иногда по тем временам. А теперь, — улыбнулся он, — я всего-навсего епископ. Как по-твоему, я очень изменился с тех пор, как мы расстались с тобой там, на Востоке?

Фрэнсис рассматривал своего старого друга с каким-то странным восхищением. Годы, несомненно, пошли на пользу Ансельму Мили. Зрелость пришла к нему поздно. Его пост придал ему достоинство, заставил сменить былую экспансивность на обходительность. У него была прекрасная осанка, и он высоко держал голову. Мягкое, полное лицо епископа освещалось теми же бархатистыми глазами. Он хорошо сохранился, у него все еще были свои зубы и тонкая упругая кожа. Фрэнсис сказал просто:

— Я никогда не видел, чтобы ты выглядел лучше.

Ансельм, довольный, наклонил голову.

— O tempora! O mores!^[70] Все мы уже не так молоды, как были когда-то. Но я выгляжу не очень старым. Откровенно говоря, я считаю, что нужно быть совершенно здоровым для того, чтобы сохранить работоспособность. Если бы ты знал, что мне приходится выносить. Они посадили меня на диету. И у меня есть массажист — здоровенный швед, который буквально вколачивает в меня страх Божий... Боюсь, — сказал он с внезапной искренней заботливостью, — что ты-то совсем не заботился о себе.

— Я чувствую себя рядом с тобой настоящей старой развалиной, и это истинная правда. Но сердцем я молод... во всяком случае стараюсь быть. И

я еще годен кое на что. Я... Я надеюсь, ты не очень недоволен моей работой в Байтане?

— Мой дорогой отец, твои усилия были поистине героическими. Конечно, мы несколько разочарованы цифрами... монсеньор Слит мне только вчера показал... — голос звучал вполне благосклонно. ... За все тридцать шесть лет твоего пребывания там у тебя меньше обращенных, чем у отца Лоулера за пять лет. Не подумай, пожалуйста, что я тебя упрекаю — это было бы слишком жестоко. Как-нибудь на досуге мы поговорим об этом обстоятельно. А пока... — его глаза задержались на часах, — можем ли мы что-нибудь сделать для тебя?

Наступило молчание. Потом совсем тихо Фрэнсис ответил:

— Да... Да... Ваша Милость... Я хочу получить приход. Епископ чуть не потерял свой милостивый, ласковый вид.

Он медленно поднял брови, а отец Чисхолм продолжал с тихой настойчивостью:

— Дай мне Твидсайд, Ансельм. В Рентоне есть вакансия... тот приход больше, лучше. Переведи туда с повышением священника из Твидсайда. И дай мне... Дай мне вернуться домой.

Улыбка застыла на красивом лице епископа, потеряв свою непринужденность.

— Ты, милый Фрэнсис, кажется, хочешь управлять моей епархией.

— У меня есть особые причины просить тебя. Я буду так благодарен тебе...

К своему ужасу отец Чисхолм обнаружил, что голос не повинуется ему. Он оборвал разговор, потом добавил хрипло:

— Епископ Мак-Нэбб обещал дать мне приход, если я когда-нибудь вернусь домой, — он начал шарить во внутреннем кармане. — У меня есть его письмо...

Ансельм поднял руку.

— Ну, нельзя же думать, что я буду руководствоваться посмертными письмами моего предшественника.

Оба молчали. Потом с доброжелательной учтивостью Его Светлость продолжал:

— Конечно, я буду иметь в виду твою просьбу, но я ничего не могу обещать. Твидсайд всегда был дорог мне. У меня была мысль, что, когда я освобожусь от бремени обязанностей по собору, я создам себе там пристанище — нечто вроде маленького Кастель Гандольфо^[71].

Он помолчал. Его слух, все еще острый, уловил звук подъехавшего автомобиля, а за ним голоса в вестибюле. Глаза дипломатически

устремилась к часам, приятные жесты стали более быстрыми.

— Ну... все, однако, в руках Божьих. Посмотрим, посмотрим.

— Если бы ты позволил мне объяснить, — робко возразил Фрэнсис.— Видишь ли, мне очень нужно создать дом... для кого-то.

— Ты должен рассказать мне все как-нибудь в другой раз.

Еще один автомобиль подъехал, и новые голоса слышались снаружи. Епископ подобрал свою фиолетовую сутану и сказал тоном сладким и полным сожаления:

— Страшно досадно, Фрэнсис, что я должен уйти. Я так предвкушал долгий и интересный разговор с тобой. У меня официальный завтрак в час. Я принимаю лорд-мэра^[72] и членов муниципалитета. Увы, опять политика... дела школьные, водопроводные, финансовые... какое-то *qui pro quo*^[73]... мне приходится быть биржевым маклером... но мне это нравится, Фрэнсис, мне это нравится!

— Я займу у тебя не больше минуты... — Фрэнсис резко замолчал и опустил глаза.

Епископ вежливо встал. Легко положив руку на плечо отца Чисхолма, он ласково, потихоньку подталкивал его к двери.

— Не могу выразить, с какой радостью я приветствовал тебя дома. Мы будем поддерживать связь с тобой, не беспокойся. А теперь я должен покинуть тебя. До свиданья, Фрэнсис... и да благословит тебя Бог.

На улицах поток черных больших лимузинов несся вверх по дороге, ведущей к высокому портику епископского дворца. Перед старым священником промелькнуло багровое лицо под бобровой шапкой, потом еще и еще лица, суровые и обрюзгшие ... горностаевые меха... золотые цепочки... Дул сырой ветер, пронизывая его старые кости, привыкшие к солнцу и прикрытые только тонким тропическим костюмом.

Когда он уходил, колесо проезжавшего мимо автомобиля занесло вбок около тротуара и струя грязи взлетела вверх и залепила ему глаза. Фрэнсис вытер грязь рукой и, заглянув мысленно в давно прошедшие времена, угрюмо ухмыльнулся, подумав: теперь Ансельм отомщен за свое тогдашнее купанье в грязи.

В душе у него был холод, но сквозь разочарование, сквозь охватившую его смертельную слабость пробивалось неугасимое белое пламя. Он должен найти церковь, сейчас же, немедленно. Через улицу неясно вырисовывалась сводчатая громада нового собора — миллион фунтов стерлингов, превращенный в тяжелый камень и мрамор. Священник быстро заковылял к нему. Он дошел до ступенек широкой лестницы, ведущей в

собор, поднялся по ним и вдруг остановился. Перед ним, на мокром камне верхней ступеньки, скорчился на ветру одетый в лохмотья калека. На груди у него был приколот кусок картона с надписью: "Старый солдат. Пожалуйста, помогите!" Фрэнсис долго смотрел на сломленную фигуру. Он вытащил из кармана свой единственный шиллинг и положил его в жестянку. Два никому ненужных солдата в молчании смотрели друг на друга, потом оба отвели глаза.

Отец Чисхолм вошел в собор, — это был pro-cathedral^[74]. — полный красоты и молчанья, с гулко отдающимся эхом. В этом устремленном ввысь храме сложной архитектуры, с мраморными колоннами, богато отделанном дубом и бронзой, церковь его миссии уместилась бы в углу нефа и стояла бы там незаметная и забытая. Неустрашенный, он прошел прямо к главному алтарю, опустился на колени и начал молиться, молиться неистово, с непоколебимым мужеством и верой:

— О Господи! только один раз, один раз только, пусть исполнится не Твоя воля, но моя.

2

Спустя пять недель отец Чисхолм совершил, наконец, долго откладываемую экспедицию в Керкбридж. Когда он выходил из вокзала, хлопкопрядильные фабрики этого большого индустриального центра изрыгали своих рабочих на обеденный перерыв. Сотни женщин с обмотанными шальями головами спешили под проливным дождем, уступая дорогу только редким трамваям, с резким звоном проходившим по скользким и грязным булыжникам. В конце главной улицы Фрэнсис спросил о дороге, затем повернул направо мимо громадной статуи, воздвигнутой какому-то местному текстильному магнату, и оказался в более неприглядном месте: перед ним стиснутая высокими доходными домами простиралась грязная запущенная площадь. Он пересек её и углубился в узкий переулок, полный зловония и такой темный, что и в самый ясный день ни один луч солнца не смог бы в него проникнуть. Несмотря на его радость, на приподнятое настроение, сердце священника ёкнуло и упало. Он ожидал увидеть бедность, но это... Отец Чисхолм подумал: "Что я наделал из-за своей глупости и небрежности! Здесь так, будто находишься на дне колодца". Он взгляделся в номера над входными дверями домов, нашел нужный номер и начал подниматься по лестнице, на

которой было темно и нечем дышать, — окна заросли грязью, газовые рожки не светили. Лопнувшая канализационная труба затопила одну из площадок. Поднявшись на три пролета, Фрэнсис споткнулся и чуть не упал. На ступеньках сидел ребенок, мальчик. Сквозь туманный мрак священник всмотрелся в маленькую рахитичную фигурку. Мальчик подпирал рукой тяжелую голову, упираясь острым локтем в костлявое колено. Кожа его была цвета свечного сала. Он был почти прозрачен и походил на утомленного старика. Ему могло быть лет семь. Вдруг мальчик поднял голову так, что луч света, проникший через разбитую застекленную крышу, упал на него. Впервые Фрэнсис увидел лицо ребенка. У него вырвалось приглушенное восклицание, и страшное потрясение волной обрушилось на него, он почувствовал его, как мог бы чувствовать корабль удары тяжелых волн. Это мертвенно-бледное лицо, поднятое к нему, поражало своим несомненным сходством с лицом Норы. Особенно глаза, громадные глаза на туго обтянутом кожей лице нельзя было не узнать.

— Как тебя зовут?

Молчание. Потом мальчик ответил:

— Эндрию.

Дверь с площадки вела в единственную комнату, где, скрестив ноги на грязном матрасе, брошенном на голые доски, сидела женщина и быстро шила, игла ее летала со страшной автоматической скоростью. Около нее на перевернутой яичной коробке стояла бутылка.

В комнате не было никакой мебели, ничего, кроме большого металлического чайника, какой-то мешковины и треснутого кувшина. Поперек коробки лежала кучка полусшитых грубых штанов из саржи.

Раздираемый болью, Фрэнсис едва смог выговорить:

— Вы миссис Стивенс?

Она кивнула.

— Я пришел... насчет мальчика.

Она испуганно уронила работу на колени — несчастное создание, еще не старая, вовсе не порочная, но истощенная, вымотанная невзгодами и отупевшая.

— Да, я получила ваше письмо.

Женщина начала ныть, пытаясь оправдаться своим бедственным положением, приводя какие-то бессвязные доказательства тех напастей, которые постигли ее и довели до такого жалкого состояния.

Он спокойно остановил ее: вся история была написана у нее на лице. Затем сказал:

— Я заберу его сегодня с собой.

Его спокойствие подействовало на нее больше, чем любые упреки. Она опустила глаза на свои распухшие руки с бесчисленными синими следами игольных уколов на пальцах и начала плакать.

— Не думайте, что я не люблю его. Он очень мне помогает. Я неплохо с ним общалась, но мне так тяжело приходилось, — миссис Стивенс взглянула на него с внезапным молчаливым вызовом.

Через десять минут священник вышел из дома. Около него, прижимая к своей куриной грудке бумажный сверток, шел Эндрю. Трудно описать, что чувствовал отец Чисхолм. Он ясно ощущал безмолвное смятение ребенка от этой небывалой экскурсии, но понимал, что лучше всего его успокоит молчание. Фрэнсис думал с глубокой и тихой радостью: "Бог сохранил мне жизнь, вернул меня из Китая... для этого!"

Они дошли до вокзала в полном молчании. В поезде Эндрю сидел, глядя в окно, почти не шевелясь, свесив ноги со скамьи. Мальчика давно не мыли. Глубоко въевшаяся грязь покрывала крапинками его бледную шею. Один или два раза он искоса взглянул на Фрэнсиса и тут же отвел глаза. Невозможно было угадать его мысли, но в глубине глаз у него затаились страх и подозрительность.

— Не бойся, — сказал Фрэнсис.

— Я не боюсь, — нижняя губа мальчика дрогнула.

Как только поезд вышел из дыма Керкбриджа, набрал скорость и понесся вдоль берега реки, на лице мальчика стало появляться удивленное выражение. Он никогда не думал, что краски могут быть такими яркими, такими непохожими на свинцовое убожество трущоб. Открытые поля и фермы сменились лесами, с множеством зеленых папоротников, со стремительными ручьями, сверкающими в лощинах.

— Это сюда мы едем?

— Да, мы уже почти приехали.

Они приехали в Твидсайд около трех часов. Старый город на берегу реки, так мало изменившийся будто он покинул его только вчера, лежал, нежась в ярких лучах солнца. Знакомые места проплывали перед пристальным взглядом Фрэнсиса, и горло его сжималось от сладостной и мучительной боли. Они вышли из маленького вокзала и пошли вместе к дому священника прихода святого Колумба.

VI.

Конец начала

Из окна своей комнаты монсеньор Слит, хмурясь, смотрел в сад, где мисс Моффат с корзинкой в руке стояла с Эндрью и отцом Чисхолмом, наблюдая, как Дугал собирает овощи к обеду. Молчаливое товарищество, царившее в маленькой группе, еще больше усиливало его раздражение и чувство отчужденности и укрепляло в принятом решении. Сзади него на столе лежал законченный и отпечатанный на его портативной пишущей машинке отчет — сжатый, ясный документ, изобилующий убийственными уликами. Через час он уедет из Тайнкасла. Отчет будет в руках епископа сегодня же вечером. Несмотря на глубокое острое чувство удовлетворения от завершения этого дела, неоспоримо было, что вся прошлая неделя в приходе святого Колумба была очень тягостной. Многие вызывало досаду и даже приводило его в смущение.

Если не считать ту группу, центром которой была набожная, но тучная миссис Гленденнинг, все прихожане относились к своему эксцентричному пастырю с уважением и даже, можно сказать, с любовью. Вчера он вынужден был строго обойтись с делегацией, ожидавшей его, чтобы заявить о своей лояльности к приходскому священнику. Будто ему неизвестно, что у каждого местного уроженца бывают свои приверженцы! Но до высшей точки раздражения Слит дошел в тот же вечер, когда к нему зашел местный пресвитерианский^[75] священник и, запинаясь, промямлил, что он "смеет надеяться, что отец Чисхолм не покинет их" (последнее время в городе такая замечательная "атмосфера")...

Замечательная! Вот уж поистине так!

Пока он предавался этим размышлениям, группа, стоявшая внизу, распалась и Эндрью побежал в беседку за своим змеем. У старика была мания делать змеев, громадные бумажные штуковины с развевающимися хвостами, которые летали — Слит неохотно признавал это — как исполинские птицы.

Во вторник он наткнулся на двух таких, весело устремившихся к облакам на гудящей бечевке. Он рискнул заметить:

— Право отец, неужели вы думаете, что это достойное времяпровождение?

Старик улыбнулся — он никогда, будь он проклят, не возмущается: всегда эта спокойная, доводящая до бешенства, мягкая улыбка.

— Китайцы так думают, а они очень достойные люди.

— Я полагаю, что это один из их языческих обычаев.

— Ну, во всяком случае, это вполне безвредный обычай! Монсеньор Слит все стоял поодаль, наблюдая за ними, и нос у него синел на резком ветру. По-видимому, старый священник объединял обучение с удовольствием. Время от времени, пока старик держал бечевку, мальчуган садился в беседке и писал что-то под диктовку на полосках бумаги. Когда он кончал, каракули, написанные с таким трудом, нанизывались на бечевку и при общем ликовании обоих посылались высоко в небо. Слит не смог преодолеть порыва любопытства и взял последнее послание из рук взволнованного мальчика. Оно было написано отчетливо и довольно грамотно. Он прочел: "Я твердо обещаю всегда бороться со всем глупым, фанатичным и жестоким. Подписано: Эндрью."

P.S. Терпимость — высшая добродетель. За ней идет смирение".

Прежде чем вернуть эту записку, Слит долго смотрел на нее с мрачным видом. Он даже дождался, стоя с застывшим лицом, пока не была изготовлена следующая: "Наши кости могут истлеть и превратиться в землю на полях, но Дух останется и будет жить в свете и славе небесной. Бог — Отец всего человечества".

Слит, смягченный, смотрел на отца Чисхолма.

— Это великолепно. Это сказал святой Павел, не правда ли?

— Нет, — старик покачал головой с извиняющимся видом. — Это сказал Конфуций.

Слит был ошеломлен. Не сказав ни слова, он удалился.

В тот вечер монсеньор Слит неосмотрительно начал спор, от которого старик уклонился с поразительной легкостью. Под конец Слит разозлился и вспылил.

— У вас очень странное представление о Боге.

— У кого из нас есть какое-то представление о Боге? — улыбнулся отец Чисхолм. — Наше слово "Бог" — это чисто человеческое слово... оно выражает наше поклонение Создателю. Если оно у нас есть, мы увидим Бога... не беспокойтесь.

К своей досаде, Слит почувствовал, что краснеет.

— По-видимому, вы не очень-то считаетесь со святой Церковью.

— Напротив... всю свою жизнь я радовался, чувствуя ее руки, поддерживающие меня. Церковь — наша великая Мать, ведущая нас вперед... нас, кучку пилигримов, идущих сквозь ночь. Но может быть, есть и другие матери. А может быть, есть и какие-то бедные, одинокие пилигримы, которые одни, спотыкаясь, идут к дому.

Эта сцена не на шутку расстроила Слита: ночью ему приснился страшный, безобразный кошмар. Ему снилось, что, пока дом был погружен в сон, его ангел-хранитель и ангел-хранитель отца Чисхолма оставили на часок свои обязанности и спустились в столовую выпить по стаканчику. Ангел Чисхолма был хрупким созданием херувимского вида с розовыми щечками, но его, Слита, ангел был уже пожилой с недовольными глазами и сердито взъерошенными крыльями. Уложив крылья на подлокотники кресел и потягивая свои напитки, они обсуждали своих теперешних подопечных. Чисхолм, хоть и был обвинен в сентиментальности, отделался легко, но он, Слит, был буквально разорван в клочья. Он обливался потом во сне, слушая, как его ангел расправлялся с ним, и предал, наконец, заключительному проклятию:

— Из всех, которые у меня когда-нибудь были, это один из худших... он полон предрассудков, педант, слишком тщеславен, а хуже всего то, что он — зануда.

Слит проснулся в своей темной комнате от испуга. Какой мерзкий, отвратительный сон. Он дрожал, голова болела. Он не так глуп, чтобы верить подобным кошмарам, совершенно непохожим на хорошие добрые сны, вроде сна фараоновой жены; не больше доверяет он и гнусным извращениям мыслей, приходящим в голову. Слит яростно отмахнулся от этого сна, как от нечистой мысли. Но сейчас, когда он стоял у окна, сон снова преследовал и изводил его: "...полон предрассудков, педант, слишком тщеславен, а хуже всего то, что он зануда".

По-видимому, он неправильно истолковал намерения Эндрью, так как мальчик вышел из беседки не со змеем, а с большой плетеной корзинкой. С помощью Дугала он начал укладывать в нее свежесорванные сливы и груши. Когда это было сделано, мальчик двинулся к дому, неся длинную корзину на руке. Слит почувствовал непреодолимое желание скрыться. Он чувствовал, что корзина была предназначена для него. Ему это претило, он испытывал какое-то смущение, смутное и нелепое. Стук в дверь заставил его встряхнуться и собраться с мыслями.

— Войдите.

Эндрью вошел в комнату и поставил фрукты на комод. Со стыдливой застенчивостью человека, знающего, что ему не доверяют, он передал слова, которые ему поручили сказать и которые он всю дорогу старался запомнить:

— Отец Чисхолм надеется, что вы примете эти фрукты. Сливы очень сладкие, а груши уже самые последние у нас.

Монсеньор Слит пристально посмотрел на мальчика, пытаясь понять

была ли последняя фраза намеренно двусмысленной.

— Где отец Чисхолм?

— Внизу. Он ждет вас.

— А моя машина?

— Дугал только что подал ее к парадной двери.

Наступило молчание. Эндрию начал нерешительно двигаться к выходу.

— Подожди! — Слит выпрямился. — А ты не думаешь, что было бы вежливее... если бы ты отнес фрукты вниз и поставил их в мою машину?

Мальчик вспыхнул и послушно повернулся. Когда он поднимал корзину с комода, одна слива упала и закатилась под кровать. Побагровев, он наклонился и неуклюже достал ее оттуда. Гладкая кожица лопнула, и тонкая струйка сока потекла у него по пальцам. Слит смотрел на него, холодно улыбаясь.

— Эта слива уже не годится... не так ли? Ответа не последовало.

— Я сказал, эта слива не годится, да?

— Нет, сэр.

Странная бледная улыбка Слита стала явственнее.

— Ты необычайно упрямый ребенок. Я наблюдал за тобой всю неделю. Ты упрям и плохо воспитан. Почему ты не смотришь на меня?

С громадным усилием мальчик оторвал глаза от пола. Встретив взгляд Слита, он задрожал, как нервный жеребенок.

— Если ты не можешь смотреть прямо на человека, значит, у тебя нечиста совесть. К тому же это невежливо. Им придется переучивать тебя в Рэлстоуне.

Снова наступило молчание. Лицо мальчика побелело. Монсеньор Слит, все еще улыбаясь, облизал губы.

— Почему ты не отвечаешь? Потому что ты не хочешь ехать в приют, да?

Мальчик ответил, запинаясь:

— Я не хочу туда ехать.

— О! Но ведь ты хочешь делать, как надо?

— Да, сэр.

— Тогда ты туда поедешь, и очень скоро поедешь, это я могу тебе сказать точно. Ну, а теперь можешь поставить фрукты в мою машину. Если, конечно, ты сумеешь сделать это, не рассыпав их все.

Когда мальчик ушел, монсеньор Слит остался недвижимым, губы его застыли, твердые и прямые, словно отлитые из металла. Кулаки опущенных рук сжались. С тем же окаменевшим лицом он двинулся к столу. Слит сам не мог поверить, что способен на такой садизм. Но именно эта жестокость

очистила его душу, изгнала из нее тьму. Не колеблясь, как что-то неизбежное, он взял составленный отчет и порвал его в клочки. Его пальцы быстро, с какой-то методичной яростью рвали полоски бумаги. Он отбросил разодранные и скрученные обрывки, безжалостно разбросал их по полу. Потом застонал и упал на колени.

— О Господи! — он говорил просто и умоляюще. — Господи, дай мне научиться чему-нибудь у этого старика. И, Господи, милый... Не давай мне быть занудой!

В тот же день, когда монсеньор Слит уехал, отец Чисхолм и Эндрью, крадучись, вышли через черный ход. Глаза мальчика, все еще опухшие от слез, светились ожиданием; лицо его, наконец, опять стало спокойным.

— Осторожно, мальчуган, не повреди настурции, — Фрэнсис подгонял мальчика и шептал с видом заговорщика: — Видит Бог, довольно с нас волнений на сегодня: не хватает еще чтобы Дугал набросился на нас.

Пока Эндрью копал червей в цветочной клумбе, старик пошел в сарай, вынес оттуда удочки для ловли форелей и стоял у калитки, ожидая. Когда запыхавшийся мальчик пришел с жестяной извивающихся червей, он радостно засмеялся:

— Ну, разве ты не счастливый мальчишка? Ведь ты идешь ловить форель с лучшим рыбаком во всем Твидсайте. Добрый Бог сделал маленьких рыбок, Эндрью... и послал сюда нас, чтобы мы ловили их.

Оба рука об руку стали спускаться по тропинке к реке. Они становились все меньше, меньше и, наконец, совсем скрылись из вида.

notes

Примечания

1

Шениль — махровая ткань с неразрезанными волокнами.

2

Ковенантор (англ.) — ист. сторонник "Ковенанта" (соглашение между шотландскими и английскими пресвитерианами).

3

Картезианцы (латин.) — иначе картузианцы — члены католического монашеского ордена, первый мужской монастырь которого основан в 1084 г. во Франции в местности Шартрез (лат. Cartusia).

4

Латинский гимн, исполняемый при обряде поклонения Святым Дарам.

5

Асафетида (перс. *aza* смола и латин. *foetida* — дурно пахнущая) — растительная смола, используемая в медицине.

6

Ингерсолл Роберт (1833-1899) — американский юрист и лектор, защищал научные идеи Ч Дарвина и Т. Хаксли.

7

Акминстерский ковер — тонко простеганный, с бархатистым ворсом.

8

Тодди (англ.) — напиток из ликера, горячей воды и сахара, часто с добавлением горькой настойки гвоздики или лимона.

9

Скэнти (англ. scanty) — значит недостаточный.

10

Снэпдрегон (англ.) — святочная игра, в которой хватают изюминки с блюда с горящим спиртом.

11

Парнелл Чарлз Стюарт (1846—1891) — ирландский политический деятель, лидер движения за автономию Ирландии (home rule) в 1877—1890 гг., "некоронованный король Ирландии".

12

Аспидистра — род многолетних стебельчатых трав семейства лилейных.

13

Новиции (латин. novicius — новичок), (рел.) — новообращенные, послушники.

Сакристия (от латин. *sacrum* — священная утварь) — в католических храмах — ризница особое помещение в котором хранятся принадлежности культа (священнические облачения, утварь и проч.)

15

Стоун (англ.) — мера веса, равен 6,35 кг.

16

Пинта (англ. pint) — единица объема в США. Великобритании и ряде других стран; в Великобритании 1 пинта — $1/8$ галлона — 0,568 л.

17

Скамеечка для коленопреклонения во время молитвы (фр.).

18

Сладкое красное вино (латин.)

Молитва Божьей Матери ("Святая Царица").

20

Новена — молитва, читаемая в течение 9-ти дней за кого-нибудь или о чем-нибудь.

21

Криббидж (англ.) — карточная игра.

Игра слов фли (flea) — блоха, Ли (lee) — защита (англ.)

23

Лансье (фр. *lancier*) — английский бальный танец. Получил распространение в Европе в середине 19 в. Исполняется 4-мя парами, расположенными крест-накрест в карре.

Симония (от имени легендарного Симона-волхва, просившего апостолов продать ему дар творить чудеса) — в Ср. века — приобретение церковных должностей путем покупки. Здесь — приобретение спасения за церковные деньги.

Уэлл (англ.) — источник.

Мэриуэлл — источник Марии.

Стигматы (греч.) — искусственно вызванные раны или клейма, покраснение кожи и язвы, произвольно появляющиеся в тех местах, где были раны от тернового венца и гвоздей у Христа. Появляются у больных истерией и у некоторых святых.

Ньюмен Джон Генри (1801-1890) — английский теолог и публицист, католический кардинал. Один из руководителей "Оксфордского движения" (1833) Защищал теорию "развития догматов" и принцип свободной от схоластических рамок "открытой теологии".

Базилика (греч.) храм в виде продолговатого четырехугольника с портиками.

Игра слов, drive — пробурить, совершить (англ.)

Молитвы Богородице. Читаются по четкам.

В минуту кончины (латин.)

Сампан (кит. саньбань) — деревянное плоскодонное одномачтовое судно в Юго-Восточной Азии, передвигающееся с помощью весел и паруса.

Катехизатор (греч. церк.) — учитель-туземец в миссионерской школе.

Ли — в ряде стран Дальнего Востока единица длины. Размер меняется от долей миллиметра до 500 м.

Гинкго — декоративное дерево с веерообразными листьями.

Покаянная молитва (латин.)

Верую (латин.)

Даодэ (кит.) — религиозно-философское учение даосизм основанное Лаоцзы (604—531 гг. до н.э.). Одна из основных религий Китая.

Несторианство — течение в христианстве, основанное в Византии Несторием, константинопольским патриархом в 428-31 гг. утверждавшим, что Христос, будучи рожден человеком, лишь впоследствии стал сыном Божьим (мессией). Осуждено как ересь на Эфесском соборе 431 г.

41

Овечий сыр — сыр, запеченный в овечьем желудке.

Канталупа (musk melon) — мускусная дыня.

Монахини.

Господи, помилуй (ответствие в просительной молитве (ектенье) и напев этого ответствия) — (греч. церк. Kyrie eleison).

Апостольник — плат-покрывало на голове монахини.

Остия — освященная облатка (хлебец) для причастия.

Катальпа — декоративное растение семейства бегониевых.

Игра слов: chow-mein — кушанье и "chewed mine" — "сжевал мою" произносится почти одинаково (англ.).

Стипендиат Родеса — обладатель одной из стипендий в Оксфордском университете им. Сесла Дж. Родеса, присуждаемой на 2- 3 года отобранным кандидатам из США и стран Британского содружества.

Имеется в виду Родриго Борджиа — папа Александр VI (1431- 1503). Римский папа с 1492г Политических противников устранял с помощью яда и кинжала.

51

Му (кит.) — земельная мера в Китае (в разных районах меняется от 0,015 до 0,32 га, наиболее распространено значение 0,067 га).

Тушеная говядина с овощами (франц).

"Вперед, сыны отчизны милой..." (франц.).

Катакомбы (латин.) — системы подземных помещений, обычно искусственного происхождения, служившие в древности для отправления культа и захоронений (в том числе в Риме, Керчи, Киеве).

Кордит — бездымный нитроглицериновый порох.

Бушель (англ.) — единица вместимости и объема сыпучих веществ и жидкостей в странах с английской системой мер; в Великобритании бушель равен 36,37 л., в США — 35,24 л.

Винные ягоды — сушеные плоды инжира.

Квиринал (латин. Quirinalis) — один из семи холмов Рима, расположенный на нем дворец Квиринал был в 1871—1946 гг. главной резиденцией итальянских королей.

Crozier (crosier) — епископский посох.

Имеется в виду особая эмоциональная и религиозная выразительность служб в этой секте.

61

Бетель — пряная смесь для жевания из листьев, орехов, семян мальмы и извести.

Ротанг — лианы семейства пальмовых. Стебли используются для изготовления легкой мебели и плетения корзин.

Прием подавления сопротивления при аресте.

Планшир (мор.) — брус, проходящий по верхнему краю бортов.

Кеджери — англо-индийское кушанье из риса яиц и лука.

Слава в вышних Богу (молитва).

Sousa — большая бас-туба, спиральной формы, названная по имени Джона Филипа Суса (1854—1932), американского композитора и дирижера военного оркестра, "короля маршей".

Тамбур-мажор (фр.) — унтер-офицер, руководивший в полку командой барабанщиков и горнистов.

Карл Великий (742—814) — король франков (с 768 г.). Первый император "Священной Римской империи (с 800). Покровительствовал церкви.

"О времена! О нравы!" — восклицание Цицерона в его речи против Катилины (латин.)

71

Один из 13 небольших городов в окрестностях Рима, выросших из средневековых замков (ит.).

Лорд-мэр — глава местных органов власти в Лондоне и некоторых других городах.

Путаница, неразбериха (латин., букв. "кто вместо кого").

Церковь, временно служащая собором (латин.)

Пресвитериане (греч.) — последователи протестантского вероучения, возникшего в Англии в 16 в., выступают за независимую от государства "дешевую церковь", отвергают власть епископа и признают лишь пресвитера.

Table of Contents

Ключи Царства

I. Начало конца

II. Призвание

III. Неудачливый священник

IV. Китай

V. Возвращение

VI. Конец начала

Примечания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

[28](#)
[29](#)
[30](#)
[31](#)
[32](#)
[33](#)
[34](#)
[35](#)
[36](#)
[37](#)
[38](#)
[39](#)
[40](#)
[41](#)
[42](#)
[43](#)
[44](#)
[45](#)
[46](#)
[47](#)
[48](#)
[49](#)
[50](#)
[51](#)
[52](#)
[53](#)
[54](#)
[55](#)
[56](#)
[57](#)
[58](#)
[59](#)
[60](#)
[61](#)
[62](#)
[63](#)
[64](#)
[65](#)
[66](#)

[67](#)
[68](#)
[69](#)
[70](#)
[71](#)
[72](#)
[73](#)
[74](#)
[75](#)